

БОГАДЕЛЬНЯ Г.Л. ОЛДИ

Г.Л. ОЛДИ



БОГАДЕЛЬНЯ

ЭКСМО

БОГАДЕЛЬНЯ



“Философский боевик” Г. Л. Олди — всегда поиск нового, взгляд под неожиданным углом, с непривычной точки зрения. В то время как по страницам кочуют набившие оскомину звездолеты и отупевшие от рыцарской диеты драконы, Олди идут непроторенными путями, ломая привычные стереотипы. Ведь за экзотическими декорациями стоят люди, знакомые-незнакомые, для кого любовь остается любовью, дружба — дружбой, верность — верностью, предательство — предательством. Всякий раз герои “философских боевиков” Олди встают перед мучительным выбором, и читателю приходится делать этот выбор вместе с ними — ибо Добро и Зло никогда не бывают абсолютными, то и дело меняясь местами, если не смешиваясь в безумном коктейле. Нет Главного Злодея, чья смерть спасет мир, нет Главного Героя в белом фраке... есть мы с вами, которым здесь жить, потому что если не мы — то кто же?

Д. Левин

БЕЗДНА ГОЛОДНЫХ ГЛАЗ. Книга 1. ДОРОГА

БЕЗДНА ГОЛОДНЫХ ГЛАЗ. Книга 2. ОЖИДАЮЩИЙ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ

БЕЗДНА ГОЛОДНЫХ ГЛАЗ. Книга 3. ВИТРАЖИ ПАТРИАРХОВ

БОГАДЕЛЬНЯ

ГЕРОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН

ГРОЗА В БЕЗНАЧАЛЬЕ

ДАЙТЕ ИМ УМЕРЕТЬ

ИДИ КУДА ХОЧЕШЬ

МАГ В ЗАКОНЕ. Книга 1. ДА БУДЕТ ПУТЬ ИХ ТЕМЕН И СКОЛЬЗОК...

МАГ В ЗАКОНЕ. Книга 2. И ГРЕХ МОЙ ВСЕГДА ПРЕДО МНОЮ...

МЕССИЯ ОЧИЩАЕТ ДИСК

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ

(в соавторстве с А. Валентиновым)

НОПЭРАПОН, ИЛИ ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

ПАСЫНКИ ВОСЬМОЙ ЗАПОВЕДИ

ОДИССЕЙ, СЫН ЛАЭРТА. Книга 1. ЧЕЛОВЕК НОМОСА

ОДИССЕЙ, СЫН ЛАЭРТА. Книга 2. ЧЕЛОВЕК КОСМОСА

ПУТЬ МЕЧА

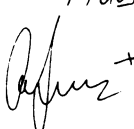

РУБЕЖ

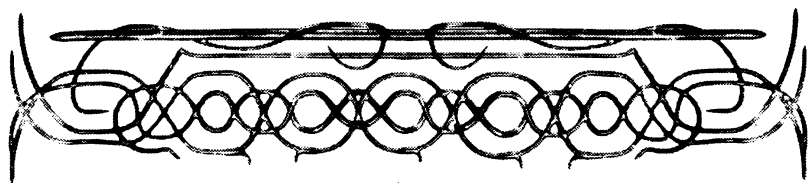
(в соавторстве с А. Валентиновым, М. и С. Дяченко)

СЕТЬ ДЛЯ МИРОДЕРЖЦЕВ

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Я ВОЗЬМУ САМ

Нашему читателю
 +  = H. L. Oldie



ГЕНРИ ЛАЙОН ОЛДИ

БОГАДЕЛЬНЯ

ЭКСМО-ПРЕСС

2001

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)-445
О 53

Серийное оформление художника
Ангу и Николая Симкина

Олди Г. Л.
О 53 **Богадельня: Роман.** — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 480 с., илл. (Серия «Нить времен»).

ISBN 5-04-008457-9

Бывший фармацевт-отравитель при дворе Фернандо Кастильского становится ревностным монахом. Смешной подросток из села Запруды — сперва бродягой, а потом и наследником короны. Дочь Гаммельнской Пророчицы — талисманом хенинского Дна. Влиятельная Гильдия Душегубов творит Обряды, без которых плохо придется сильным мира сего. Благородные рыцари безоружны, зато простолюдины вооружены до зубов, согласно казенным предписаниям. И, этаж за этажом, воздвигается новый Столп Вавилонский взамен разрушенного однажды.

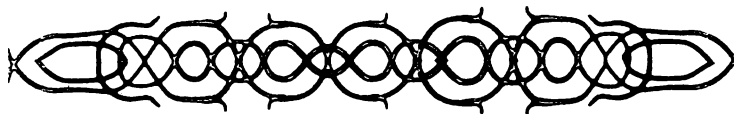
А все потому, что иранский врач Бурзой, прозванный Змеиным Царем, шесть веков назад решил изменить мир к лучшему...

Новый роман Г. Л. Олди наверняка сможет поспорить по популярности с культовыми романами «Мессия очищает диск» и «Путь меча».

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)-445

ISBN 5-04-008457-9

© Олди Г. Л., 2001
© Оформление. ЗАО «Издательство
«ЭКСМО-Пресс», 2001
© Иллюстрации. А. Семякин, 2001



Итак, мы в общих чертах проследили разные методы воспроизведения чудесного и сверхъестественного в художественной литературе; однако приверженность немцев к таинственному открыла им еще один литературный метод, который едва ли мог бы появиться в какой-либо другой стране или на другом языке. Этот метод можно было бы определить как *фантастический*, ибо здесь безудержная фантазия пользуется самой дикой и необузданной свободой, и любые сочетания, как бы ни были они смешны или ужасны, испытываются и применяются без зазрения совести. Другие методы воспроизведения сверхъестественного даже эту мистическую сферу подчиняют известным закономерностям, и воображение в самом дерзновенном своем полете руководствуется поисками правдоподобия. Не так обстоит дело с методом *фантастическим*, который не знает никаких ограничений, если не считать того, что у автора может наконец иссякнуть фантазия. <...> Внезапные превращения случаются в необычайнейшей обстановке и воспроизводятся с помощью самых неподходящих средств; читателю только и остается, что взирать на кувыркание автора, как смотрят на прыжки или нелепые переодевания арлекина, не пытаясь раскрыть в них что-либо более значительное по цели и смыслу, чем минутную забаву.

Английский строгий вкус нелегко примирится с появлением этого необузданно-фантастического направления в нашей собственной литературе; вряд ли он потерпит его и в переводах. <...> Мы искренне полагаем, что в этой области литературы «tout genre est permis hors les genres ennuyeux»¹, и, несомненно, дурной вкус нельзя критиковать и преследовать столь же ожесточенно, как порочный моральный принцип, ложную научную гипотезу, а тем более религиозную ересь. <...> Но самое большее, с

¹ «...разрешены все жанры, кроме скучных» (фр.).

чем мы можем примириться, когда речь идет о фантастике, — это такая ее форма, которая возбуждает в нас мысли приятные и привлекательные. <...> Нет никакой возможности критически анализировать подобные повести. Это не создание поэтического мышления, более того — в них нет даже той мнимой достоверности, которой отличаются галлюцинации сумасшедшего, это просто горячечный бред, которому, хоть он и способен порой взволновать нас своей необычностью или поразить причудливостью, мы не склонны дарить более чем мимолетное внимание.

*Сэр Вальтер Скотт, баронет.
«О сверхъестественном в литературе».
Журнал «Форейн кюотерли ревью», 1827 г.*

PRELUDIUM

I

— Значит, чем более важно дело стражей, тем более оно несовместимо с другими занятиями — ведь оно требует мастерства и величайшего старания.

— Думаю, что это так.

— Для этого занятия требуется иметь соответствующие природные задатки.

— Конечно.

— Пожалуй, если только мы в состоянии, нашим делом было бы отобрать тех, кто по своим природным свойствам годеи для охраны государства.

— Конечно, это наше дело.

Платон. «Государство».



ушегуб задерживался. Солнце плавилось в тигле оконных витражей. Злое солнце февраля, жгучая ледышка зимы. Капли стекали в тронную залу, брызжа радугой на настенные шпалеры с оленями и трубадурами. Дерзко пятнали — пурпур! зелень! лазури!.. — ослепительно белые сорочки рыцарей. Вассалы Дома Хенинга стояли рядами: ноздреватые сугробы, готовые скорей растаять под напором света, чем пошевелиться. У многих, чей род древностью соперничал с герцогским, были до локтей закатаны рукава, и ладони, много поколений не знавшие позорной тяжести оружия, гордо лежали на кожаных поясах.

Орден Колесованной Рыбы ждал.

Еще прадед нынешнего герцога Густава учредил орденский устав, огласив его во дворе замка. И он же, в качестве командора, преломил меч на плече первого из рыцарей Колесованной Рыбы — своего наследника, тогда еще молодого графа Вальриха цу Бальзенан. Осколки двуручного фламберга звонко ударились о плиты, которыми был вымощен двор, дружина выдохнула здравицу, и с тех пор цвет Хе-

нинга готов был рискнуть головой в бою или на турнире, лишь бы обрести право вышить на правом плече знак: рыба, заключенная в колесо.

Левое плечо — для фамильного герба.

Семья — к сердцу, орден — к силе.

Сегодня никто не дерзнул явиться, закутавшись в плащ, подбитый октябрьским бобром, или блистая пряжками камзола. Галапский атлас? ассагаукский бархат?! парча из Клеркуэлла, искусно шитая канителью?! — ничуть. Полосатые штаны до колен, перечеркнутые по талии тисненой кожей поясов, и белизна сорочек делали рыцарей похожими на странных шершней-альбиносов. Гордецы, сердцееды, *maistres de corteisie*¹, юные сорвиголовы и седые паладины, успевшие вдоволь навоеваться в Святой Земле, — не умеющие ждать, они стояли молча, потому что Душегуб задерживался.

— *Nemo contra Deum nisi Deus ipse!*² — донеслось снаружи, от замковой часовни св. Юста.

На возвышении, в левом из двух кресел, сидела герцогиня Амальда, урожденная баронесса Лафарг. Тронный балдахин сходил над ней, блистая позолотой картуша. Бесстрастной статуей, уронив руки на точеные подлокотники, она смотрела поверх непокрытых голов, и солнце зимы тонуло в аспидно-черных омутах глаз. У ног Амальды Хенингской дремала ее любимица, борзая по кличке Лэ, и неподвижность собаки казалась вихрем в сравнении с неподвижностью герцогини. Пройдя Обряд около полувека назад (супруга дворянина, в чьей семье однажды родился Ответчик, не знала отказа), она мало изменилась с того дня. Рядом с дочерьми — старшей, ожидавшей внизу со своим супругом, бароном цу Ритерзиттен, и младшей, вдовствующей виконтессой Зигрейн, — мать выглядела сверстницей,

¹ Учителя рыцарского этикета.

² Противиться Богу не волен никто, кроме самого Бога! (*лат.*).



хотя младшая была тридцатилетней, а старшей в прошлом году сравнялось сорок пять.

Волосы цвета спелой ржи уложены башней. Бледная, слишком бледная кожа туго обтянула скулы. Бритва переносицы. Рослые, сильные, надменно-спокойные дамы: мать и дочери. Словно вековые липы в парке, опоясанные каждая прочной каменной изгородью. Мало кто допускался внутрь отдохнуть на скамье под деревом, и еще меньшее количество людей могло похвастаться, что было допущено за незримую стену, отгораживавшую герцогиню Амальду от прочих творений Господа нашего.

Борзая подняла голову.

Распахнулась в зевке острая щучья пасть.

Но Душегуб задерживался, и это стало единственным движением в зале.

— *Beati quorum tecta sunt peccata!*¹ — ударило в окна, подкрепленное россыпью хрусталя с малой звонницы.

Правое кресло, украшенное зубчатым венцом, пустовало. Человек, занимавший его по праву рождения, стоял у крайнего окна, легко опершись на подоконник. Цветные стекла изображали спелые гроздья винограда, перевитые лозами, и сиреневый отблеск ложился на лицо человека, превращая наследственную худобу в изможденность. Сирень впа-
лых щек. Сиреневые борозды морщин. Складки у красиво, может быть, слишком красиво очерченного рта. И ночь глубоко посаженных глаз. Такие лица обычно называют птичьими, но здесь скорее подходило сравнение с муравьем или «травяным монаш-
ком». Густав-Хальдред, прозванный Быстрым, XVIII герцог Хенингский, был знаком с ожиданием понаслышке. Всего дважды ему довелось томиться в предвкушении желаемого. Первый раз — почти шесть-
десять лет тому назад, во время собственного Обря-

¹ Блаженны те, чьи грехи сокрыты! (лат.).

да. Но тогда Душегуб опоздал на минуту-другую, так что первый раз, пожалуй, не в счет.

И вот — сейчас.

Герцог Густав машинально дернул плечом. Жест не уловил никто: так, легкая рябь воздуха, шутка сквозняка. Впрочем, даже вспрыгни Густав Быстрый на подоконник и вернись обратно, вряд ли многие успели бы заметить вольность господина. Наверняка — жена. Баронский род Лафарг стар... да, конечно, жена заметила бы. На миг раньше, чем ее любимица борзая. Скорее всего — гюрвенал наследника, *шатлен* Эгмонт Дегю, как называли не обремененных титулами владельцев собственных замков. Очень вероятно — старший зять и десяток вассалов из самых знатных. И все. Самому герцогу это было прекрасно известно, иначе он никогда не позволил бы себе проявления чувств на людях. Как не позволил бы вслух, в лицо или при посторонних, вульгарно назвать Душегубом уважаемого мастера Филиппа ван Асхе. Укорить за опоздание, разгневаться или мимоходом велеть слугам повесить долгожданного мастера Филиппа на воротах — нет. Для Густава Быстрого существо, носящее имя «Филипп ван Асхе», было сегодня сродни дождю или радуге в небе. Придет в свой срок, сколько ни подгоняй, и нелепо досадовать на опоздание ливня. Еще нелепей велеть слугам повесить радугу на воротах, называя ее разными оскорбительными словами.

Ожидание Душегуба на пороге Обряда — не ожидание. Дождь явится вовремя, когда бы ни пришел. А завтра, после дождя, даже владыкам следует помнить, что жизнь не заканчивается нынешним днем. Что рассудительность — опора трона.

Густав-Хальдред, XVIII герцог Хенингский, был очень рассудительным человеком.

Это спасало, ибо жизнь становилась все более пресной.

— Anima mea laudabit te, et indicia tua me adjuva-

bunt!¹ — Замковый капеллан сегодня превзошел сам себя. Ангельский напев. Звучный и трепетный. Отцы церкви, ничем не подчеркивая двойственное отношение к Обряду, тем не менее старались избежать прямого присутствия. Рассыпались в извинениях, ссылались на занятость, болезни, назначали службы и молебны именно в это время. Даже «Медная булла» Его Святейшества, папы Иннокентия II, где Обряд объявлялся делом сугубо светским и (косвенно) богоугодным, мало что изменила. Просто одновременные службы стали назначаться с завидным постоянством, и прелаты взывали к небесам истово, с душой, то ли освящая таким образом сомнительное действо, то ли замаливая невольный грех.

Впрочем, после сожжения еретика и хулителя Якоба Соломинки, в числе прочих своих ересей проклявшего Обряд на площадях Гента, Лиможа и Хеннинга, уже двое митрофорных аббатов ответили согласием на приглашение его высочества Вильгельма Фландрского посетить семейный Обряд.

А папский престол в Авиньоне одобрил костер соответствующим декреталием.

Двери распахнулись, и четверо невольников-нубийцев внесли крытый паланкин. Стараясь двигаться как можно тише, они прошествовали до середины залы, где опустили ношу на пол. Старший нубиец откинул полог, благоговейно склонился и подставил плечо. Спустя минуту дряблая рука, вся в буграх и складках, явилась из недр паланкина. На обнаженном, глянцево-темном плече невольника она смотрелась чуждой опухолью.

Сьер Томазо Бенони, придворный астролог и хиромант, начал выбираться наружу.

Был он чудовищно жирен, с кожей мучнисто-белого цвета, наводившей на мысли о проказе. Широ-

¹ Душа моя восхвалит Тебя, и Твои указания мне помогут! (лат.).

кие одежды не могли скрыть уродства астролога, да сьер Томазо и не пытался его спрятать. Ноги плохо служили звездочету, дрожа в коленях от непомерной тяжести, но все-таки астролог целых пять шагов сделал самостоятельно, прежде чем нубийцы подхватили его под локти. Дальше он скорее висел, нежели шел, хотя Густав Быстрый соизволил обернуться к сьеру Томазо, ободряюще улыбаясь. Герцог давно привык к телосложению и болезненности верного пророка, точно так же, как привык к силе и здоровью собственных домочадцев.

Обряд есть Обряд, и у каждой полновесной монеты имеются две стороны. Ведь звезды небес и линии ладоней, певшие хором для Томазо Бенони, молчали для XVIII герцога Хенингского.

«Достойным — по заслугам».

Этот двусмысленный девиз украшал герб Хенинга.

Признавая за астрологом множество высоких достоинств, герцог двигался сейчас нарочито медленно, дабы сьер Томазо мог уследить за господином и оценить расположение. Это искусство — укрощать порывы тела, неудержимого в бою, — Густав-Хальдред освоил с детства. Впрочем, в данном случае его высочество действовал, скорее подчеркивая благоволение, нежели по необходимости. Скорбный телом звездочет успевал подмечать и делать выводы куда быстрее, чем большинство вполне здоровых людей.

— Ваше высочество! — неожиданно высоким голосом, напоминающим флейту-пикколо, заговорил астролог. — Покорнейше молю простить задержку, но лишь сейчас мне удалось внести в Обрядовый гороскоп последние изменения. Осмелюсь сообщить, что звезды предвещают удачу, но в ближайший месяц... атизар Сатурна, иначе неблагоприятное влияние планеты Трех Колец... а также состоя-

ние анахибазона, то есть восходящего узла лунной орбиты... я хотел бы!..

Сьер Томазо задохнулся и долгое время пытался, не в силах продолжить.

— Ваши преданность и мудрость хорошо известны нам, — Густав Быстрый отвернулся, продолжив смотреть в окно. Словно надеялся высмотреть зловещий «атизар» планеты Трех Колец. — Говорите спокойнее, сьер Томазо, берегите дыхание. Иначе черная желчь смешает течение ваших жизненных соков, и мы опять утратим удовольствие внимать вам. Лучше просто отвечайте на мои вопросы. Коротко и ясно. Вы увидели дурное влияние звезд на нынешний Обряд?

По-прежнему лишенный возможности говорить, астролог отрицательно мотнул головой.

— Значит, все завершится к вящей славе Дома Хенинга?

Утвердительный кивок. Стоя к сьеру Томазо спиной, герцог тем не менее кивнул в свою очередь, будто прекрасно видел жест звездочета.

— Превосходно, друг мой. — Всякий, хорошо знавший Густава Быстрого, понял бы, что в этот миг можно просить о любой милости: отказа не будет. — Значит, черная тень затемняет не настоящее, но будущее? Дальнее будущее? Ближайшее?

— Не тень, ваше высочество! — Голос вернулся к астрологу, но флейта превратилась в пастушью дудку, визгливую и захлебывающуюся. Нубийцы встали теснее, позволив хозяину опереться на них всем телом и обмякнуть, сберегая силы. — Отнюдь еще не тень, но возможность тени в будущем!

— Возможность? Дом Хенинга не первое столетие живет бок о бок с тенями и возможностями будущего. Сохраняя свое место под солнцем настоящего.

Сегодня герцог был в прекрасном расположении духа.

Сегодня он шутил.

— Ваше высочество, — астролог потянулся вперед, едва не упав, и невольники шагнули ближе к окну, позволяя вести разговор шепотом. Вряд ли кто-то из рыцарей или герцогиня Амальда решились бы подслушивать, но предусмотрительный идет прямо в рай, а опрометчивым гореть в геенне огненной. — Речь идет о праве наследования и продолжении рода! Ваш благородный сын...

Губы Густава Быстрого дрогнули:

— Мой сын? Ты ведь сказал, что Обряд ждет удача!

— Да!

— Так что же?!

— Расположение звезд крайне двусмысленно, ваше высочество! Помимо Обрядового гороскопа, вчера я изучал ладонь вашего сына, и «Тропа Наследства» была отчетливо прерывиста, огибая Бугор Венеры, в то время как линия жизни...

— Мой сын умрет бездетным?! — беззвучно выдохнул герцог, но астролог понял вопрос.

Отстранив нубийцев, он выпрямился. Дыхание, смиримое мощью духа, выровнялось, багровость покинула лицо, и в осанке смешного толстяка появилась несвойственная ему обычно величавость. Герцога это не удивило: он знал за сьером Томазо внутреннюю силу, способную подчинять и направлять, силу, в какой-то степени сходную с его собственной. Не стоило завидовать судьбе тех, кто опрометчиво посмеялся бы над Томазо Бенони, звездочетом и хиромантом в шестом поколении. Знающие люди шептались: сьер Томазо многожды превзошел славу не только мавра Заэля Бренбрира и авраамита Мессагалы, но также своих именитых земляков — Гвидо Боната и Антуано Маджини, мастера составления гороскопов.

Иногда Густав-Хальдред, XVIII герцог Хенингский, полагал, что его астролог способен не только

читать письма на звездах или книгу ладони человеческой, но и вступать с судьбой в более близкие отношения.

— Нет, ваше высочество! Звезды ясно говорят: род будет продолжен, причем продолжен именно вашим благородным сыном, но...

— Это все, что я хотел услышать. — Сиреневый отблеск на лице Густава Быстрого стал черным: солнце снаружи зашло за снеговую тучу. — Благодарю тебя, друг мой! Остальное ты расскажешь мне завтра... нет, через три дня. Когда Обрядовые празднества подойдут к концу.

— ...ad maiorem Dei gloriam!...¹ — эхом вздрогнули стекла, а грозди винограда качнулись от перезвона колоколов.

На этих словах в тронную залу вошел Душегуб.

II

Мейстер Филипп ван Асхе вторую неделю жил в замке, оставив свой городской дом на попечение экономки. Неотступно следуя за молодым наследником (в самом скором времени, согласно решению отца — графом цу Рейвиш), мейстер Филипп делал это с завидным обаянием. Когда, обнажившись по пояс, юноша состязался в воинской науке с дружинниками и собственным гюрвеналом, мейстер Филипп восторженно рукоплескал каждой его победе. На охоте, видя, как будущий граф прямо с седла ловит за уши зайца-беляка и голыми руками валит в снег матерого секача, мейстер Филипп радовался столь заразительно, что все лица озарялись ответными улыбками. На пирах и балах, в умывальне, личных покоях наследника и коридорах замка, его сухопарая фигурка везде сопровождала герцог-

¹ К вящей славе Божьей! (лат.).

ского сына, двигаясь слегка вприпрыжку, будто грач в поисках зернышка. К нему привыкли сразу. Соглашались, что гость — чрезвычайно приятный собеседник, особенно когда болтает о всяких милых пустяках. О каких именно? Да что вы! нет, а все-таки?... ну, о погоде... и вообще...

Смысл речей гостя стирался в памяти собеседников быстрее, чем высыхает летом утренняя роса. Пожалуй, исчезни мейстер Филипп без предупреждения, о нем забыли бы еще легче, чем привыкли.

Сейчас же собравшимся в тронной зале показалось, что воздух внезапно согрелся. Легкий аромат прели (*...осень в лесу, косые лучи солнца, клены над оврагом...*) зашекотал ноздри. Вплелась струйка живого огня и каленого металла. Не удержавшись, чихнула борзая Лэ. Лицо герцогини Амальды смягчилось, румянец тронул бледные щеки. Густав Быстрый прервал беседу с астрологом, задумчиво коснувшись пальцами лба, словно пытался и не мог о чем-то вспомнить. Потом исчез у окна и возник в своем кресле. Нубийцы подхватили обессиленного звездочета, слабый шорох качнул ряды рыцарей, а мейстер Филипп все шел и шел, виновато моргая.

Обогнул паланкин.

Остановился.

Зачем-то поднял взгляд, внимательно рассматривая дубовые балки потолка. Вслушался. Звуки гэльской баллады «Тоска пилигрима» (*«...путь пилигрима к вершинам, вдаль, где струйкой дыма течет печаль...»*) паутинками всплыли из углов. Дрогнули, рассыпались трепетным звоном и исчезли, оставив по себе лишь память и тишину. У самой двери шевельнулся, чтобы вновь застыть, еще один сугроб: низкий, черный. Жерар-Хаген, вскоре граф цу Рейвиш, а в далеком будущем XIX герцог Хенингский, ждал Обряда, преклонив колени, укрытый плащом из глухого черного бархата. Согласно традиции сие означало ночь, откуда юноше суждено обновленно-

му выйти к свету. «Не пред человеками склонюсь, но пред самим собой, дабы расстаться на перекрестке и направить стопы свои к величию и силе...» Большинство дворян не особо вникало в смысл «Зеркала Обряда», написанного, по слухам, чуть ли не Артуром Пендрагоном, но заученных отрывков вполне хватало, дабы оправдать некоторое умаление достоинства.

Ожидание, преклонение колен — «не пред человеками склонюсь, но пред самим собой...».

Солнце замерзло в витражах.

Наконец мейстер Филипп достиг тронного возвышения. Действия Душегуба испокон веку принимались участниками Обряда бесстрастно и с пониманием, что бы ни происходило. Даже королевские семьи соблюдали обычай, меньше всего желая рискнуть благополучием потомства в угоду гордыне. Вот и сейчас мейстер Филипп в рассеянности забыл поклониться герцогине, свернув левей, но никто и не подумал возмутиться. Сбоку, у ступеней, ждала ширма, расписанная сценами соколиной охоты. Раздвинув ширму, Филипп ван Асхе открыл взорам низкую кафедру и налойный столец с водруженным поверх тиглем. У тигля беззвучно хлопотал карлик, одетый в длиннополый кафтан, — синдик¹ цеха ювелиров, почтенный Роже Гоохстратен, ужасно волновался. Хотя он плавил золото с молодых ногтей, но одно дело заниматься этим в собственной мастерской и совсем другое — в тронной зале его высочества, на глазах ее высочества и сотни благородных рыцарей.

Впрочем, награда за труды — грамота с новыми привилегиями цеху ювелиров и лично синдикату Роже Гоохстратену — творила чудеса, превращая труса в храбреца.

¹ Почетный представитель ремесленного цеха, имеющий право представлять цех в суде или иных инстанциях.

Встав за кафедру, мастер Филипп поставил сверху ларец, который раньше нес в руках. Откинул крышку. Черный сугроб у дверей (*...шелест ливня, чавканье грязи под тележным колесом...*) шевельнулся снова, но это не привлекло ничего внимания. Все смотрели на руки Душегуба. Сухие руки с подвижными пальцами лютниста. Вот они погрузились в ларец: огладили, тронули... Вынули.

Взглядам явилась глиняная форма, изображающая человека.

Сотворенный Душегубом из глины, малый Жерар-Хаген, сын и наследник Густава Быстрого.

Высоко подняв голема над головой, мастер Филипп почти сразу опустил его и поднес к тиглю. Карлик зацепил крюком ушко на спинке тигля, ловко наклонил — и струйка расплавленного золота скользнула в отверстие на темени голема.

Мейстер Филипп продолжал держать творение в руках.

Пока форма не наполнилась.

Рискуя потерять лицо, почтенный ювелир охнул от изумления, но его промах остался незамеченным. Потому что Душегуб, широко размахнувшись, швырнул фигурку через всю залу — и настоящий Жерар-Хаген встал навстречу, сбрасывая плащ на пол. Поймав самого себя (*...хруст льдинки под каблуком, порыв зимней вьюги...*), он ударил глиняным големом о косяк двери, и черепки брызнули прочь, превращаясь на лету в грязно-бурые капли.

В руках Жерара-Хагена осталась золотая статуэтка.

Ответно взмахнув, юноша отправил ее в обратный полет, и мастер Филипп, обычно неуклюжий, поймал статуэтку с ловкостью площадного жонглера.

Золотой идол упал в ларец.

Хлопнула крышка.

По-прежнему молча, мастер Филипп сунул ларец под мышку и побрел к дверям. Теперь Душегуб двигался тяжело, через силу, словно тело разом

одрыхлело, и лишь необходимость заставляла ноги мерить тронную залу. Казалось, он вот-вот упадет, выронив ношу, но никто не предпринял попытки вмешаться, помочь — как прежде не оскорблялись нарушением этикета. Действо творилось в молчании (*...ветер шумит в кронах дубов...*) и показном равнодушии. Когда мейстер Филипп поравнялся с паланкином астролога, за ним следом от окна двинулся герцог Густав, соразмеря шаг с походкой измученного Душегуба.

У входа, где Густав Быстрый догнал Филиппа ван Асхе, юный Жерар-Хаген присоединился к ним.

Они шли в фамильный склеп Дома Хенинга.

III

По дороге им не встретилось ни единой живой души. Заранее предупрежденные, слуги забились в щели: замок вымер. Камень коридоров, едва согретый коврами, ступени лестниц. Статуи предков в углах. Пустота глядит вслед из мраморных, остывших глазниц. Двери: дубовые, с кольцами в виде змей, или наборные, с тусклыми панно, чей лак давно пора подновить. Мрак копился под сводами потолков. Солнце слепо тыкалось в окна, как кутенок в брюхо мамы. Лужами света блестело на паркете, не рискуя сунуться наверх, где пауки расшивали темноту кружевами. Наконец окна и солнце остались позади. Шли молча. На устах мейстера Филиппа играла улыбка: растерянная и слегка виноватая. Скоро кончится февраль.

Скоро весна.

Последняя лестница свернулась в кольцо. Вот и усыпальница.

Медленно, очень медленно двигаясь между ниш с саркофагами предков, Густав Быстрый вспоминал свой собственный Обряд. Как давно это было. Как

ярко. Как празднично. Жизнь казалась желанным подарком, который тебе уже протянули, но ты еще не взял. Сейчас возьмешь. Сейчас... Взял. Привык. Дар стал обыденностью, рутиной, пылью в углах и завистливыми шепотками за спиной. Славой на турнирах. Пободами в редких, неизменно удачных войнах. Верностью вассалов. Необходимостью соразмерять каждый жест с ущербностью окружающих. Возможностью не соразмерять. Завистью к Фернандо III, королю Кастилии и Леона. Род Кастильца древнее, и однажды при встрече Густав Быстрый понял, что иногда испытывают его собственные вассалы, глядя на герцога Хенингского. Впрочем, зависть успела со временем потускнеть, как дверные панно. Никаким лаком не подновить. Господи, почему тоска и безразличие? откуда взялись? уйдут ли?!

Сердце билось ровно, не давая ответа.

Жерар-Хаген шел, еле сдерживая восторг. Жизнь казалась желанным подарком, который тебе уже протянули, но ты еще не взял. Сейчас возьмешь. Сейчас... Графский титул, и там, в тумане будущего (продли Господь отцовы годы!..), — герцогская корона. Ликование по поводу Обряда. Здравницы в честь молодого наследника. Рыцарство в ордене Колесованной Рыбы. Помолвка с дочерью маркиза де Мондехара. Невесту юноша ни разу не видел, но это неважно. Невеста, безусловно, прекрасна. Как прекрасен будет турнир в Мондехаре, где наконец удастся блеснуть во всей красе. Он превзойдет отца. Он, Жерар-Хаген Хенингский, Жерар Молниеносный, покорит непокорных и смирит гордых. Осталось чуть-чуть.

Вот и заветная ниша.

О чем (...*сладость ладана, тихий хор мальчиков...*) думал Душегуб, осталось тайной.

Улыбка, похожая на маску, и все.

Трое остановились возле ниши, где ждал пустой саркофаг с надписью: «Жерар-Хаген из Дома Хе-

нинга». Гордая скромность слов. Жерар-Хаген. Из Дома Хенинга. Для понимающих — более чем достаточно. Для Всевышнего — тем паче.

И малый неф над входом в нишу.

Мейстер Филипп передал юноше ларец со статуэткой. Вдруг, будто впервые (...*топот копыт: табун несется над рекой...*), заметив наследника, низко поклонился. Сдернул берет, отступил к стене. Замер в ожидании: весь смирение, весь благоговейный трепет. Жерар-Хаген посмотрел на отца. Дождался одобрительного кивка, привстал на цыпочки...

Ларец занял в нефе положенное место.

...когда они шли обратно — герцог Густав первый, следом его сын и, завершая процессию, мейстер Филипп, больше не улыбаясь, — тихий хор мальчиков слышали все трое. Высокие, нежные голоса. Низкий гул органа. Благовест звонницы в отдалении: «In te, Domine, speravi»¹. Ответное эхо в нишах, где стояли саркофаги предков. Эхо в малых нефах, где хранились ларцы, ларцы, ларцы...

Прахом был, златом стану, воссияю народам...
«Зерцало Обряда», песнь третья.

Золотые статуэтки Дома Хенинга дремали под крышками.

IV

— А кого же ты считаешь подлинными философами?

— Тех, кто любит усматривать истину.

— Это верно; но как ты это понимаешь?

Платон. «Государство».

— К вам посетитель, мейстер!

Филипп ван Асхе поднял голову от книги. Рябой слуга, сутулясь, маялся в дверях. Он всегда робел,

¹ На Тебя, Господи, уповал (лат.). (Молитва, чаще исполнявшаяся под колокола).

заходя в библиотеку хозяина, этот великан по прозвищу Птица Рох. Боялся стеллажей, бумаги, пергамента, чернильницы с пером, панически робел темных значков, коварно скрывающих в себе тайны смысла... Больше Птица Рох не боялся ничего. Восемнадцать лет назад кухарка обнаружила на пороге дома корзину с подкидышем. Мальчик посинел и уже не плакал: лишь вздрагивал от смертной икоты. Мейстер Филипп велел напоить ребенка теплым молоком, потом увеличил жалованье кухарке без объяснения причин. Женщина оказалась понятливой. В церкви св. Сульпиция малышу дали имя Жан-Клод, но, когда он в десять лет задушил бешеную собаку и, гордый, приволок труп домой — хвастаться! — мейстер Филипп назвал его Птицей Рох. Никто из прислуги не знал, что это значит, но прозвище прижилось.

А имя забылось.

— Прогнать? — заботливо спросил Птица Рох, приняв молчание обожаемого хозяина за раздражение.

— Ты спросил: кто?

Мейстер Филипп никого не ждал. После Обряда (...*вороны кричат над холмом...*) в Хенингском замке, как после любого другого Обряда, Душегубов обычно старались не беспокоить месяц-другой. Традиция. Предрассудок. Впрочем, если кто и обладает бессмертием в нашем бренном мире, так это Господин Предрассудок и его родная сестра, Госпожа Привычка.

— Ага. Хозяин, он сказал: Утис. Разве есть такое имя: Утис?

— Есть. По-древнеэллиински: Никто.

— Тогда прогнать? — единожды что-то решив для себя, Птица Рох упорно следовал избранному пути. — Он меня киклопом обозвал... Иди, говорит, киклоп, передай. Можно я ему за киклопа в морду?

— Что «передай»? Он тебе дал что-то?!

— Ага... вот эту гадость...

В лапище Птицы Рох обнаружился рукописный свиток. Довольно объемистый, аккуратно перевязанный лентой. Слуга держал его брезгливо, двумя пальцами, и в то же время с явной опаской, будто свиток готов был оборотиться гадюкой.

— Дай сюда.

Взяв свиток, мейстер Филипп развязал ленту. Долго вглядывался в заглавие. Глаза совсем плохие стали. Или просто память брызнула слезами, застит взор? Боже, как давно... сколько лет прошло...

Иоанн Капуанский, «Directorium vitae humanae». «Наставление жизни человеческой».

Латынь. Знакомый почерк переписчика.

— Впусти его... — Мейстер Филипп (...*дым ко-стра ест глаза...*) помолчал. И вдруг улыбнулся настоящему, что с ним случалось крайне редко. Все остальные улыбки не в счет. — Впусти его, киклоп.

Дождался, пока тяжкие шаги Птицы Рох оплывут вниз, воском со свечей. А дверь прикрыть забыл, растяпа... Потом еще обождал. Шаги: на два голоса. Знакомые, гулкие — и легкая поступь. Почти не слышно из-за Птицы. Память идет. Из прошлого — сюда. Боже, как давно...

— Заходи, Мануэль, — сказал Душегуб. — Рад тебя видеть снова.

Человек, вошедший в библиотеку, был одет поверх светского платья в монашеский плащ с капюшоном. Но сразу становилось ясно: он не монах. Сбросить капюшон человек забыл и шагнуть дальше порога тоже забыл. Стоял, смотрел на Филиппа ван Асхе.

Темно-карие глаза.

Цепкий, пристальный взгляд, похожий на ланцет хирурга.

— Что, изменился?

— Да, — кивнул человек, которого называли Мануэлем. — Стал таким же, как все ваши. Единственная

на свете гильдия, которой не нужно иных названий. Просто: Гильдия. И любому понятно. Знаешь, я иногда думаю: чем вы похожи? Разные, но все равно: сразу видно...

— Сразу видно: Душегуб, — спокойно закончил мейстер Филипп. — Раньше, милейший фармацевт Мануэль, ты не церемонился в выражениях. Говорил без запинки. Помнится, университет в Саламанке частенько трясся от твоего острого язычка. Стареешь, дорогой Мануэль. Или прикажешь величать тебя: дон Мануэль? Идальго де ла Ита?

— Не прикажу, — Мануэль по-прежнему стоял у порога. — Я больше не идальго. Я — скромный белец¹ обители цистерцианцев, что в окрестностях Хеннинга. В скором времени приму постриг.

— Ты решился покинуть мир? Принять устав Цистерциума?!

Филипп ван Асхе встал. Мануэля де ла Ита он не видел со дня окончания Саламанкского университета, где мейстер Филипп учился на теологическом факультете, а сам Мануэль — на медицинском. В будущем придворный фармацевт Фернандо Кастильского, жизнелюб и остролов Мануэль был первым в учебе и первым на проказы. Знаток трудов Авиценны и Аверроэса, гуляка и бражник, составитель уникальных снадобий, слегка алхимик, почти колдун, завсегдатай местных лупанариев², где веселые девицы были от него без ума, — о да, Саламанка надолго запомнила Гранда Мануэлито!

— Тебя там тоже запомнили, — кивнул Мануэль, и мейстер Филипп понял, что последние слова произнес вслух. — Бунтарь и реформатор, ты едва не обрел костер вместо степени магистра. Чего стоил один твой тезис на защите квадривиума: «Если бы

¹ Лицо, готовящееся к пострижению в монахи и живущее в монастыре.

² Дома терпимости.

Всевышнего не существовало, его стоило бы создать!» Помнится, «псы Господни»¹ слюной изошли... А ты предложил им отправить твой диссертат в Авиньон: пусть Его Святейшество решает. Я к тому времени вернулся в Кастилию. Пытался позже справиться о тебе: впустую. Одни говорили, что тебя бросили в застенки, другие — что ты бежал...

— Людям свойственно ошибаться, — уклончиво ответил мейстер Филипп.

Имел ли он в виду себя молодого, подверженно-го еретическим заблуждениям, говорил ли о сплетниках, обсуждавших его судьбу, или вовсе речь шла о застенках и побеге — осталось неясным.

Мануэль наконец прошел к столу. Взял свиток, послуживший пропуском.

— Извини, дорогой друг, это я заберу. Из всего имущества я взял лишь пять книг: больше не унести в дорожном мешке. Бежал ты или нет, но я бежал точно. Фернандо Кастилец не отпустил бы так просто своего придворного фармацевта...

Он подумал, вертя в руках свиток. Капюшон упал на лоб, почти скрыв лицо.

— ...и личного отравителя, — глухо закончил он.

Мейстер Филипп сочувственно вздохнул. Из чего следовало: сказанное не было для него тайной. Мужчины рода де ла Ита — дворянство прадед Мануэля получил от Санчеса Кровавого — испокон века занимали при кастильском дворе двусмысленное положение. Врачеватели. Немного советники. Доверенные лица.

И всегда: личные отравители.

По слухам, тот же Санчес Кровавый хотел пожаловать прадеду Мануэля и белый плащ с алым кругом на правой стороне — знак рыцарства в ордене Ка-

¹ Имеются в виду монахи-доминиканцы, в чьем ведении была инквизиция. Сами монахи слово «Dominicanus» предпочитали читать, как «Domini canus», то есть «Псы Господни».

латравы. Но двор возмутился скандальным решением владыки. Командор Калатравы грозил воспротивиться. Даже командор ордена Сант-Яго, напомнив государю, что обеты его ордена одинаковы с обетами Калатравы, просил найти иное поощрение для любимца. Санчес плевать хотел на возмущение двора и мнение гордецов-командоров, да умер, не успев поступить всем назло. Его сын, Родриго III, уродясь характером в отца, собрался было довершить задуманное родителем, но тут от удара скончался прадед Мануэля, и скользкий вопрос решился сам собой.

— Знаешь, я никогда не был особенно богобоязнен или щепетилен в средствах, — Мануэль опустил свиток в мешок. Тщательно завязал тесемки. — Всегда знал свое место. Люди представлялись мне совокупностью внутренних органов и малой толики разума. Ах да, душа... Мне приходилось вскрывать мертвых и лечить живых. Души я не встретил. И дерзко полагал, что не обнаруженное мной не существует вовсе. А раз так... впрочем, речь о другом. Однажды Кастилец вызвал меня в Вальядолид...

V

Он говорил тихо, едва шевеля губами. Мейстер Филипп плохо понимал, зачем Мануэль рассказывает это ему. Еще хуже (*...гром за холмами: жалуется...*) он понимал, как университетский приятель после стольких лет разлуки нашел его в Хенинге, — но слушал молча, не перебивая. Даже сесть не предложил: сразу видно — откажется. Такие люди исповедуются стоя, и отнюдь не скушающему аббату. Если господин фармацевт добрался до Хенинга, решился на постриг, да еще в строгом братстве цистерцианцев...

Значит, молчи и слушай.

История складывалась обычная, вполне достой-

ная стать основой популярной баллады. Отравитель Мануэль изготовил тайный состав. Дрова, обработанные зельем, сгорали в камине или очаге без лишнего запаха, а человек, находящийся в комнате, честно умирал через два-три часа. Фернандо Кастилец был в восторге. Тем более что у короля имелось великолепное применение таким дровам: некий вздорный епископ давно позволял себе больше, чем следует.

Дрова сгорели, а епископ остался жив.

О чем Фернандо Кастилец не преминул сообщить с глазу на глаз «милейшему фармацевту». Мануэль сказал: исключено. Следует проверить слуг, кому было дано щекотливое поручение. Еще раз испытать тайный состав. Здесь какая-то ошибка. Король согласился. Да, кивнул король. Слуги уже проверены. И состав испытан заново. В доме «милейшего фармацевта», в гостиной. Пока сам Мануэль вкушал благо королевской аудиенции.

Когда августейшие испытания состава завершились, Фернандо Кастилец остался доволен. Даже решил похоронить за счет казны жену и дочь Мануэля. Слуг же, допустивших промашку, предложил взять для дальнейших опытов.

— Я хотел его убить, — слова доносились из недр капюшона, будто со дна моря: дрожь толщи воды. — Я бы мог это сделать. Кастилец в гордыне своей даже не помышлял, что кто-то способен посягнуть на короля. Тем более я. Жена, дочь — для Фернандо это не значило ровным счетом ничего. Он и в других предполагал подобное безразличие. Сказал, что подыщет мне новую супругу: молодую, знатную. Напомнил притчу о Йове. Сам не знаю, почему я не решился. После похорон... Ты понимаешь, Филипп: быть способным отомстить — и отказаться. Простить. Умыть руки. Странное ощущение. Впервые в жизни я устранился от действия, предоставив это право Господу. Сказавший однажды

«Я воздам!» должен уметь отвечать за свои слова. Мне, готовящемуся к постригу, грешно кощунствовать, но полагаю, теперь у меня есть некоторое право...

Мануэль вдруг скинул капюшон.

И мейстер Филипп понял: баллады не получится.

Бывший фармацевт был не седым — выплывшим. Прежде иссиня-черные, волосы его теперь наминали плесень: белесые, едва ли не прозрачные, они падали ниже плеч. Такими стеблями прорастает репа, забытая в сыром подвале. Казалось, эти волосы вытянули все соки из своего владельца. Само же лицо Мануэля, в прошлом сразу выдававшее примесь мавританской крови, изменилось мало. Сизые, сколько ни брей, щеки. Подбородок с ямочкой. Орлиный нос. Но рот, некогда чувственный, сомкнулся шрамом, и львиная складка навеки запала меж бровями.

А еще: глаза.

Теперь (...*наст хрустит под сапогом...*) мейстер Филипп ясно видел: на ланцете хирурга — кровь души.

— Ты приобрел индульгенцию, — сказал Душегуб. — Ты решился...

Мануэль отвернулся, бессмысленно теребя мешок.

— Да. Я приобрел индульгенцию. Только ты не знаешь... Я заказал для себя отпущение грехов всей семьи. Вплоть до прадеда. Монах-квестарь решил, что я сумасшедший.

— Я бы тоже так решил, — пробормотал Филипп ван Асхе.

Приобрести индульгенцию рисковали немногие. Те, кто не доверял обычной исповеди. Сомневался в праве (возможности?) священника отпускать грехи. Хотел, чтоб наверняка. Обычай был прост: заплатив бродячему монаху-квестарю положенную сумму, человек шел домой, вечером клал индульгенцию под подушку и ложился спать.

Ночью спящий попадал в чистилище.

Котлы, смола. Вилы. Плети.

Нестерпимая мука.

— И ты выдержал?!

— Да. До самого конца. До рассвета.

Мейстер Филипп хорошо представлял, что это значит. Впрочем, слово «представлял» наивно в устах постороннего свидетеля. Время покаяния не соотносилось с реальным временем. Снаружи проходила одна ночь; для кающегося грешника — год, десять или тысяча лет, в зависимости от прегрешений. Впрочем, те, кто прошел через чистилище, утверждали: время там теряет смысл. Год? десять? тысяча лет? — нет. Минута? — чушь. Просто: стисни зубы и держись.

Чтобы прекратить страдания, достаточно было лишь пожелать этого. Ты просыпался у себя дома. В холодном поту. Целый и невредимый. Ночь за окном еще длилась. Можно вернуться: дострадать. Если человек выдерживал до конца, утром он находился под подушкой горсть пепла. Если же нет...

Ну что ж, все отмученное оставалось за ним.

Но взять на себя грехи семьи!..

— Я... — Душегуб осекся.

Говорить? Соболезновать? Любые слова заранее казались мертвой ложью.

Мануэль через силу подмигнул: вышло плохо. Странная гримаса.

— Ладно тебе. Я не за этим пришел. Просто видел тебя вчера на рынке. Ты новую чернильницу покупал. А меня аббат послал за яблоками для братии. У них почему-то все яблоки любят... Я целый день думал: зайти или нет? Вот зашел...

Он собрался с силами.

— Сам не знаю зачем.

— Я что-нибудь могу для тебя сделать? — спросил мейстер Филипп. — Ты пойми, у меня много возможностей.

— Нет. Для меня ты не в силах сделать больше, чем уже сделал. Спасибо тебе.

— За что?

— Ты слушал, не перебивая. Раздумал сочувствовать. Прощай.

В дверях Мануэля догнал вопрос Филиппа ван Асхе:

— Тогда ты ответь мне, бывший идадьго де ла Ита. Почему ты прислал ко мне со слугой этот свиток? «Directorium vitae humanae»?

— В Саламанке ты часто читал Иоанна Капуанского, — пожал плечами гость. — Я полагал...

— Ты взял с собой в дорогу именно этот текст?

— Я не только этот взял. Сказал ведь: пять книг.

— Какие?

— «Венценосец и следопыт» Симеона Сифа. Абдаллах ибн ал-Мукаффа, «Калила и Димна». Ты же помнишь: я способен к языкам. Эллинский, арабский... староавраамитский...

— Продолжай.

— Труды рабби Йозеля. Буд-Сириец, пресвитер монастыря в Мардии, — одну его рукопись. И «Наставление жизни человеческой» Капуанца. А почему ты спрашиваешь?

...Когда дверь захлопнулась, мейстер Филипп долго сидел за столом, думая о чем-то своем.

Потом встал (...*клен роняет семена: вниз...*) и кликнул Птицу Рох.

VI

Появление Мануэля, неожиданная исповедь, странный разговор о странных вещах — обычно спокойный, мейстер Филипп отметил, что это его взволновало. Привело в шаткое состояние, когда неспособность забыть и перевести внимание на что-

либо другое оборачивается головной болью. Он давно умел расслаиваться надвое: какие бы штормы ни трепали углый челнок сердца, могучий галеон рассудка спокойно шел рядом, готовый в любую минуту бросить спасительные канаты. Пожалуй, стоило признаться: идальго де ла Ита, ныне скромный белец в обители цистерцианцев, напомнил о временах (*...полутона восхода: свет и тень играют в жмурки...*), когда еще никто, в глаза или за глаза, не звал Филиппа ван Асхе Душегубом. Да и сам без пяти минут магистр теологии, учась в Саламанке, при встрече с членом Гильдии вполне мог позволить себе заявление и похлеще Мануэлева:

«...стал таким же, как все ваши. Единственная на свете гильдия, которой не нужно иных названий. Просто: Гильдия. И любому понятно. Знаешь, я иногда думаю: чем вы похожи? Разные, но все равно: сразу видно...»

Бывший отравитель не понимает, что он сказал в действительности. И саламанкский студизус Филипп не понял бы. Зато это ясно Филиппу, прозванному Ниспровергателем, прямо с защиты квадриума угодившему в застенки инквизиции. Вкусившему сполна. Мало кто выходит оттуда иначе чем на костер, но будущий представитель Гильдии в Хенинге вышел. «Псы Господни» только клыками щелкали...

Хватит об этом.

Спустившись в сопровождении верного Птицы на II Благодарственную, Филипп ван Асхе заглянул к перчаточнику Свейдену. Забрал заказ: две пары перчаток из козьей кожи. Посудачил о ценах. О падении нравов. О двухголовой свинье, якобы проповедовавшей на Шельдской ярмарке близкий конец света. Свейден в очередной раз посетовал, что досточтимый мейстер сам бьет ноги, когда мог бы прислать за перчатками одного слугу. Или, на худой конец, явиться в паланкине. Таким образом перча-

точник косвенно намекал на скупость собеседника: все знают, что представитель Гильдии не стеснен в средствах. Более чем не стеснен. И перчатки, скаред, тоже мог бы заказывать подороже.

Мейстер Филипп, как обычно, сослался (...*запах жареной рыбы щекочет ноздри...*) на любовь к пешим прогулкам. Особенно полезным в канун светопрествления, объявленного мудрой свиньей. Добавил, что лично он предпочел бы, дабы свиньи рождались восьминогими, а не двухговыми. Несмотря на всю прелесть щековины с чесноком. Перчаточник Свейден радушно предложил дорогому гостю остаться на ужин, но получил вежливый отказ.

Мейстера Филиппа ждали в ратуше: он намеревался сделать очередной взнос на приют Всех Мучеников.

Уже смеркалось, когда Птица Рох, закинув на плечо граненую булаву, шел за хозяином через квартал Битых Бокалов. Хенингцы давным-давно забыли, из-за какой знаменитой попойки квартал обрел свое имя. Но разбито было наверняка немало. Сам Филипп ван Асхе двигался налегке, не обремененный тяжестью оружия. Хотя в сословной грамотке, выданной магистратом, у него и был прописан меч-«бастард», с которым мейстера обязали показываться вне дома, но милостью Густава Быстрого там же, в грамотке, было сделано изображение меча, заверенное личной печатью герцога, — высший привилей для недворянина, позволяющий обойтись грамоткой вместо ношения позорного клинка.

Многие члены Гильдии предпочитали не пользоваться привилеем, но мейстер Филипп полагал: в его возрасте полезней избегать лишних трудов, нежели косых взглядов.

Чужое косоглазие — щепка под каблуком.

И все-таки Мануэль. Плохо верится, что фармацевт предпочел мести прощение. Еще хуже верится в индульгенцию на отпущение грехов всей семье. Но внешний вид фармацевта говорит: правда. Зна-

чит, выдержал. Выжег. Впору позавидовать: с таким самообладанием... Обитель цистерцианцев будет счастлива. Вполне возможно, на улицах скоро появится новый проповедник. Хотя нет, это не в характере Мануэля. Уведомить Гильдию о визите? Мысли неизбежно соскальзывали с беглого фармацевта на книги в его котомке. Удивительный выбор. Удивительный для всех, кроме мастера Филиппа. Случай? совпадение? Да, Мануэль способен к языкам. Но взять из дома переводы и пересказы одного исходного текста, о чем в семействе де ла Ита знать не могли (или могли?!), бежать в Хенинг, чтобы случайно встретить там Душегуба, знакомого по университету, наудачу явиться к однокашнику и перед постригом намекнуть на знание некоей тайны...

Для умысла слишком сложно.

Для случая: в самый раз.

— ...ведьма старая! Что значит: пропала?!

Мейстер Филипп поморщился. Грубый вопль вывел его из состояния сосредоточенности, когда кажется: вот-вот, и истина явится тебе во всей ослепительной красоте. Остановился. Повернул (...град стучит по подоконнику...) голову. Вместо истины ему предстал двухэтажный дом, огороженный каменным забором. У распахнутых ворот хозяйка препиралась с двумя людьми, одетыми в ливреи Хенингского Дома.

— Нету ее! Утречком кинулись: нету!

— Прячешь?!

— Да ни боже ж мой! Чтоб у меня волдыри повскакивали! Чтоб мне света белого...

— Цыц, дура! Искали?

Знакомый дом. Пятый от угла. Здесь располагался особый лупанарий: для избранных. Как предписывалось думать горожанам, вместо блудниц тут обитали шляпницы, белошвейки и прочие девицы строгого толка, зарабатывая на жизнь дозволенным трудом под началом Толстухи Лизхен. Магистрат отлично понимал: рты людям не заткнешь, но слег-

ка укоротить язычки — можно. А также напрочь отбить желание куснуть от чужого калача. Короче, хеннингцы знали: посетители дома Толстухи Лизхен — птицы слишком высокого полета, чтобы плевать в них.

На самих камнем вернется.

Пожалуй, во всех знатных семьях (особенно если цепочка Обрядов насчитывала свыше десятка звеньев) каждый мальчик, едва войдя, что называется, «в сок», мигом уяснял простенькую правду. Зов плоти для него звучал воем волчьей стаи: одним — наслаждение погоней, другим — смертный хрип и кровь на снегу. Он без забот мог взойти на ложе женщины, чье происхождение было сходным с его собственным. Но попытка облагодетельствовать хорошенькую служаночку могла закончиться печально.

Для служаночки.

Да и для незадачливого любовника, если, конечно, он был не из тех, кого вдохновляют чужие мученья. Густав Быстрый, например, заранее поделился с сыном своим пагубным опытом, предвосхищая сыновние метания. В конце концов, ты жаждешь любви, и пускай не твоя вина, что любовь оказалась разрушительней болезни и безжалостней насильника... Потрясения иногда бывали губительны для неокрепшей души юнца: уходили в монастырь, бросались в сумасбродства, гибли в безнадежных походах. Кстати, сходные неприятности преследовали и людей вроде астролога Томазо Бенони. Только в случае их любви бедной страсти грозили отнюдь не телесные увечья, а расстройство рассудка, душевная горячка или расслабленность членов до скончания дней. И, сам будучи скорбен телом, человек вроде сьера Томазо нуждался в женщине, способной пробудить в плоти угасший дух — что, согласитесь, редкое искусство.

Белошвейки Толстухи Лизхен владели таким искусством.

Шляпницы выдерживали ласки дворян.

Лизхен, сама в прошлом опытная шляпница, бывшая на содержании у некоего маркграфа, умела готовить правильных девиц. Способных одарить высокопоставленных любовников всеми прелестями страсти, оставшись при этом живыми и в здравом рассудке. За что и ценили.

— Куда ей деться? Февраль на дворе!

— Вернется! Покрутит хвостом и прибежит! — вмешался силач-привратник.

Люди в ливреях Хенинга переглянулись:

— А что мы скажем молодому наследнику?!

— Так он сегодня в Мондехар едет! Свататься!

Пока суд да дело...

— Велел домик ей снять... прислугу...

— Так я ж! я ж вам и!..

— Здоровы будьте, мейстер Филипп!

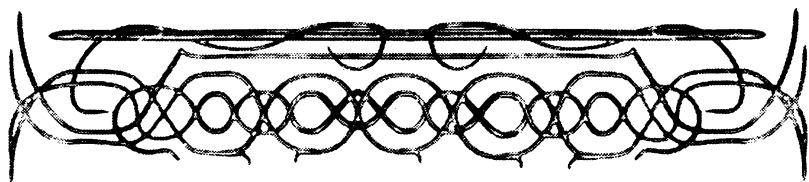
Сам не зная зачем, — скорее всего, желая отрешиться от вопросов, связанных с явлением Мануэля, — Филипп ван Асхе направился к заметившей его Толстухе Лизхен. Скандал у ворот тайного лупанария был мейстеру безразличен. Он скользнул взглядом по ливреям крикунов. Цвета Дома Хенинга, а на рукавах грозит клювом Рейвишский грифон. Люди молодого наследника. Интерес возник, но слабый. Сейчас пройдет. Сейчас все пройдет, и можно будет спокойно идти домой.

Мейстер Филипп не знал, что шаг за шагом входит в историю, которой суждено прерваться, едва начавшись, без видимого продолжения.

На тринадцать лет.

Пустяк, если задуматься.

— Здравствуйте, Лизхен! — кивнул Душегуб. — Как поживаете?



КНИГА ПЕРВАЯ

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51

52

53

54

55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

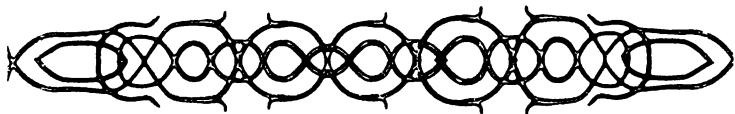
66

67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77

78 79 80 81 82



— Как по-твоему, в деле охраны есть ли разница между природными свойствами породистого щенка и юноши хорошего происхождения?

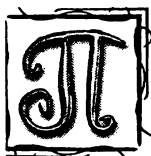
— О каких свойствах ты говоришь?

— И тот, и другой должны остро воспринимать, живо преследовать то, что заметят, и, если настигнут, с силой сражаться.

— Все это действительно нужно.

Платон. «Государство».

I



оследняя овца, густо облепленная репьяками, заблеяла на прощание. Тряся курдюком, скрылась в глубине двора тетки Катлины. Мальчишка-пастух постоял немного, щурясь на закат: рыжие кудри солнца упали на лиловый гребень леса за Вешенкой. В лесу мальчишка ни разу не бывал: далеко, и волков там, говорят, прорва. Ну его, этот лес. А грибы с ягодами, травки-корешки для мамкиных отваров в ближних рощах сыщутся.

Зачем попусту ноги бить?

День к концу подходит. Овец по дворам развел, пора самому домой. А дома — ужин! Мамка небось коржей напекла: с утра тесто ставила. Коржи у нее вку-у-усные! С тмином. Но до дома, ужина и мамкиных коржей еще дойти надо: к запруде, где мельница дядьки Штефана. Ужин, выходит, издали хвостом машет, а брюхо песни поет.

Просто спасу нет.

Однако для своего возраста Вит был пареньком

рассудительным. Хозяйственным, значит. Вот и сейчас, вместо того, чтоб без толку давиться слюной, запустил руку за пазуху. Ага, горбушка ржаной краюхи на месте. И очищенная луковица. Другой бы в обед все умял, а Вит сберег. Он отпустил собак: серого с подпалинами полуволок Хорта и трещотку Жучку, чернявую и наглую мелочь. После чего, никуда не торопясь, запыхавшись босыми ногами по единственной улице, тянувшейся вдоль речки через все село. Смачно хрустя луковицей, жуя хлеб и будучи вполне доволен жизнью. По тощей заднице хлопала кожаная сума, явно знававшая лучшие времена. Сейчас из нее (из сумы, ясное дело!) наружу торчал пучок душицы и колкие соцветия «бабьих веретенец». Мамка довольна будет: все собрал, что велела!

За спиной ударил дробью конский топот. Привычно, не оборачиваясь, Вит сдвинулся правее, освобождая середину улицы.

— Байстрюк!

Хлесткий удар хворостины ожег плечо. Мимо на чалом двухлетке промчался закадычный враг — Пузатый Крест, сын Гастона Рябушки.

— Эй, байстрюк, насажу на крюк! — дразнился Крест, нахлестывая конька.

Больно не было. Обидно? — самую капельку. Привык. Зато спускать такие выходки не привык и привывать не собирался. То, что Пузатый верхом, Вита ничуть не смутило. Мальчишка со всех ног припустил за обидчиком, быстро-быстро суча на бегу острыми локтями — словно отталкивался от ветра. Бежал пастушонок мелкими, семенящими шажками, неестественно выпрямившись, зато пятки его так и мелькали.

— Шиш спешишь! — радостно завопил Крест, заметив погоню. Он, дурила, всегда так: кричит всякую ерунду, лишь бы складно. — Шиш спешишь! шиш...

Вит нагнал еще, хотя это казалось невозможным.



Щуплая фигурка саранчой летела по воздуху, настигая всадника. Солома волос растрепалась на ветру, кожа туго обтянула скулы, черты лица заострились; еще чуточку, и...

— Шиш... — Пузатый снова обернулся, но в крике его уже не было ни радости, ни уверенности.

Жаль, в этот миг они поравнялись со двором Криста. Всадник, недолго думая, бросил конька влево, заставляя перемахнуть через плетень. И кубарем скатился наземь, кинулся в дом. Хлопнула дверь, загремел засов. Чалый, сразу перейдя на шаг, презрительно фыркнул и направился в знакомое стойло.

Вит с разгона налетел на плетень. Увидев в затылком бычьим пузырем окошке, как довольный Крист самозабвенно корчит рожи, от злой досады саданул кулаком по плетню. В ответ раздался сочный хруст. Охнув, мальчишка в испуге устоялся на сломанную верхнюю жердь. В прочной на вид ограде красовалась изрядная прореха. Два расписных горшка свалились с кольев на землю, разлетевшись вдребезги.

Снова хлопнула дверь: собачьей пастью.

— Ах ты, байстрюк шелудивый! Ведьмачина! Пакостник окаянный! Да чтоб т-те сквозь землю провалиться, чтоб т-те в аду гореть вместе с твоей мамкой-курвой! Лихоманки т-те в три печенки! Пожди, пожди, стервец!.. я т-тя...

В дверях бесилась мать Криста, тетка Неле, пунцовая от долгого пребывания у печи и праведного гнева. Засаленный передник, казалось, сейчас треснет от распиравшей тетку ярости. Руки сжимали ржавый мужник бердыш, держа его древком вперед. Впрочем, и без бердыша тетка имела вид весьма грозный. Стоит ли удивляться, что Вит вместо «пожди» поступил точь-в-точь наоборот: бросился наутек. Однако буквально на втором шаге споткнулся, шлепнулся носом в пыль. Отчего-то мальчишка не спешил подниматься, убегая от греха подальше. За-

дергался поротой лягухой, словно тело вздумало разорваться натрое, и подоспевшая тетка Неле не замедлила воспользоваться бедственным положением «байстрюка».

— Попался, злыдень! — дубовое древко от души загуляло по костлявой спине. — Это т-те за горшки!.. за плетень!.. чтоб знал, волчина!.. чтоб помнил!

Выбравшийся во двор Крист поначалу злорадно хихикал из-за плетня, наблюдая за экзекуцией. Но очень скоро улыбка сползла с его конопатой физиономии, похожей на блин.

— Мамка, хватит! — не выдержал он. — Мамка, убьешь! Ну, мамка!

Он уже чуть не плакал.

— А ну живо домой! — на миг отвлеклась тетка Неле от справедливого возмездия. — Твое от т-тя не уйдет! Батьке скажу, он т-тя, лоботряса...

Избитый Вит вдруг перестал дергаться. Одним движением взлетел на ноги, подхватил суму и кинулся прочь. Будто не по его спине только что гуляла дубовая палка, от которой и взрослый мужик бы скис на неделю. Очередной удар пришелся по каменно-твердой земле, утопанной сотней подошв. Тетка Неле, зашипев гадюкой от боли, в сердцах швырнула бердыш оземь:

— Семя окаянное! Всю себя об гаденыша отбила, а ему хоть бы хны!..

Когда воительница обернулась к собственному сыну, вид ее предвещал Кристиану мор, глад и семь казней египетских.

— Говорила т-те: не трожь Витольда! Говорила?!

— Ну, говорила... — заныл Пузатый Крист, предчувствуя грядущую порку.

— ...Дура!!! — заорал издалека пастушонок, обернувшись на бегу.

Отбежав подальше, Вит перешел на шаг, на ходу отряхиваясь от пыли. Он ненавидел, когда его вслух звали Витольдом. При этом дружки ехидно добавляли: «барон бараний»! Действительно, что это за имечко: Витольд?! Никого в селе так не зовут. Другое дело: Крист, Марк, Андриус... Клаас, наконец! Но Витольд? Короче, имя свое мальчишка не любил, предпочитая Вита или на худой конец Витку.

Разумеется, битье палкой он любил еще меньше. Ну а когда все сразу...

Спина основательно ныла. А, до свадьбы заживет! В первый раз, что ли? Синяки огорчали меньше, чем недоеденная горбушка, оставшаяся у сломанного плетня. Однако долго дуться на судьбу Вит не умел. Тем более что до дома, где ждал вкусный ужин, оставалось рукой подать.

Монетка солнца успела наполовину скрыться в кошеле леса. По селу ползли длинные тени, наконец перечеркивая улицу, во дворах блеяла и мычала скотина, перекрикивались через плетни хозяйки, заглушая стоны темной листвы под гулякой-ветром, пахнувшим в лицо ароматом спелых яблок. Над трубами курился сизый дым.

Вечер властно вступал в свои права.

Ноги сами несли Вита: мимо хат окраины, мимо кучи гнилой свеклы, где жироваз сбегавший хряк пьяницы Ламме. Здесь, валясь под уклон, улица незаметно превращалась в дорогу, чтобы, вильнув в сторону речки, вывести напрямик к дому мельника Штефана. Этот дом Вит считал и своим тоже. А еще: мамкиным. Пускай мамка Штефану не жена. Пусть! Злоба распирает, конечно, когда мамку за глаза Жеськой-курвой бранят. Он, Вит, ладно: байстрюк там, ублюдок. Стерпим, нас не убудет. Зато в глаза мамке никто лишнего не брякнет! Вон, в прошлом году Ян-бондарь напился и на все село кричал: мол,

Жеська-курва — ведьма! порчу наводит! Из-за нее, мол, Янова буренка пустая ходит. И сына его курва сглазила: девка из Хмыровцев за парня замуж не пошла... И две бочки рассохлись: ведьмиными стараньями. Покричал, покричал бондарь, а там замолк. Замолкнешь тут, когда придут к тебе дядька Штефан с дурачком Лобашем да с двумя подмастерьями. Надолго замолкнешь. Только охать и сможешь, тумачи считая. Потом Ян еще к мамке таскался: прощенья просил. Бочку новую склепал: мамка в ней сейчас капусту квасит.

Так что если за глаза — ладно. А по-настоящему сельчане мамку от кого хошь защитят. Дело не в дядьке Штефане, хоть и тяжел мельник на руку. Если б не Жеська-курва, то кто мужикам спины править будет, килу обратно вкручивать, кто у баб роды примет, ежели дитя наперекосяк лезет...

— Доброго здоровьица, Витанечка!

«Вита-а-анечка!...» Тьфу! Про бондаря вспомнил, а Гертруда Янова, бондариха, легка на помине! Улыбочка масляная, глазки мышами в амбаре шныряют. Давно ли прибить грозилась? Это когда Вит с ее младшим, Гансом Непоседой, ершей удили, а Гансик в воду с кручи свалился. Едва не утоп. Вит за ним нырял-нырял — замучился. Но вытащил. Так бондариха вместо спасибо: «Сманил мальчика, дурень здоровый, водянику в подарочек!..» Зато теперь — здрасьте-пожалста! Хоть на хлеб ее мажь...

— Здравы будьте, фру Гертруда.

— Домой возвращаешься? Что ж так поздно-то? Экий ты работающий, мамке на радость: все в трудах... А я от вас иду. Думала к Жюстине-милочке, к мамке твоей зайтить. Шасть на двор, а там телега: горстяник из города к Штефану за долей приехал. Так я заходить не стала, раз не ко времени. Ты, Витанечек, мамке от меня корзиночку передай-ка... Да скажи: от Гертруды Яновой гостинец. Здеся маслице, и медок, и сальце. Яичек три десятка. А мамка

пусть настой в холодок ставит: небось сама разумеет какой...

Бондариха со значением оправила чепец.

— Слыхал, небось: девка из Хмыровцев передумала? Быть моему красавцу женатиком! А настой, он для молодых, чтоб, значит, это самое. Чтоб жарче любилося. Внучку я хочу, до зарезу! Твоя мамка умеет, я знаю, она у тебя мастерица на все руки и на все штуки... Ну ладно, пошла я, а ты мамке передай: я за настоем после загляну.

— Передам, фру Гертруда.

— Вот и славненько, вот и славненько... До завтрачка, Витюленька!

— И вам того же, фру Гертруда.

На гостинцы будущая свекровь хмыровской привереды расщедрилась: мамкины настои того стоили. Особенно к свадьбе. Вит не удержался: едва бондариха скрылась за поворотом, запустил палец в примеченный сразу горшочек с медом. Мед был липовый, ароматный и сладкий, как... как мед!

Других сравнений на ум не пришло.

III

Во дворе действительно скучала чужая телега — добротная, крепкая, с аккуратно составленными тремя мешками муки. Поверх мешков лежал огромный, в рост человека, двуручный меч с крестообразной рукоятью. Лезвие кроваво сверкнуло, отразив усталое за день солнце. «Это ж какая пахота: такую громадину за собой все время таскать!» — с сочувствием подумал Вит, брезгливо трогая пальцем клинок. Металл был отполирован до зеркального блеска. Холодный, скользкий и... непривычный, что ли? Старый клевец дядьки Штефана, купленный еще его отцом на ярмарке, протазаны работников, да и секира великовозрастного дурачка Лобаша, щерба-

тая, как ухмылка владельца, выглядели совсем иначе. Оно и понятно: горстяник меч не просто по закону носить обязан. Он ему для дела нужен. Головы разбойникам на плахе рубить.

Или он их топором рубит?

Вит на миг задумался. Может, и топором. Тогда почему меч с собой возит? Или меч у горстяника в сословной грамотке прописан? Не разрешив для себя трудный вопрос, Вит толкнул скрипнувшую дверь, миновал темные сени и сунулся в горницу.

За длинным столом собрались все: сам мельник, его сын Лобаш, мамка, подмастерья Казимир с Томасом, — а во главе стола восседал горстяник. Темно-бордовая рубаха, ворот широко распахнут (еще бы, с такой-то шеищей!), серебряная бляха старшины цеха на груди. Как и положено уважаемому человеку, главному палачу Хенинга. Недаром горстянику Мертену особый привилей дарован. На городском рынке любой палач может из чужого мешка горсть муки или там гречки даром брать (оттого их горстяниками кличут). А Мертен — сверх того. Раз в год, осенью, всю округу объезжает: с каждой мельницы по цельному мешку муки взять. Вот и сейчас приехал. Мельники ему загодя муку готовят: самую лучшую...

— Здравы будьте, дядя Мертен. — В присутствии горстяника Вит всегда робел, хотя Мертен давно велел звать его без церемоний, «дядей». — И все здравы будьте. Доброй трапезы.

— Садись, парень! — благодушно махнул рукой мельник. Мальчишка поспешил примоститься на самом краешке лавки, рядом с Лобашем. Дурачок искоса подмигнул приятелю. Друзья они были: водой не разольешь. На рыбалку — вместе, по грибы — разом. Проказничали тоже сообща: когда Лобашу не надо было на мельнице мешки ворочать, а Виту — овец пасти.

Мамка живо набрала каши из общей миски. По-

старалась: в разваренной крупе густо лоснились шкварки. Сунула ломоть хлеба, добавила свежий, только из печи, румяный корж. Вит потянулся к кувшину с квасом, но вспомнил о корзинке.

— Мам! тебе бондариха... — зашептал он, стараясь не мешать степенной беседе дядьки Штефана с горстяником. — Вот. Настой просила, венчальный... для сына... Внучку ей надо.

— Внучку? — Улыбка осветила тяжелое, «лошадиное» лицо Жюстины, сделав женщину вдруг необыкновенно миловидной. — Скажи: в конце недели пусть зайдет.

Она взлохматила пальцами и без того взъерошенные волосы сына, подхватила гостинцы бондарихи и направилась к кладовке. Жюстина была женщиной крепкой, дородной, ручка корзинки утонула в ее широкой ладони, да и сама корзинка вдруг показалась игрушечной. Тем не менее крылось в Жеське-курве тайное изящество, некая плавность движений, совершенно чуждая сельским бабам: даром, что ли, мужики заглядывались ей вслед? А соседки откровенно завидовали, марая языком: ведьма, приبلуда, распутница! Святое дело помоями курву облить, когда байстрюка непонятно с кем прижила: сквозняком, видать, надуло. По сей день во грехе живет, zenки ее бесстыжие! Что под старым Юзефом пыхтела — всем ведомо. И под сыном его Штефаном. Под Лобашем-дурачком. И подмастерья маслились. И с ухватом, и с косяком, и с притолокой...

Однако, едва хмельные запрудянцы норовили подкатиться к Жеське, «курва» давала охальникам такой окорот, что запоминалось надолго. Сельского войта однажды затрещиной наградила: неделю скулу подвязывал, кобелина. Мокрой тряпицей. Мстить, правда, войт не стал, хоть и мог бы. Сказал народу: упал по пьяни, а где как — память отшибло. Ведь признайся, что баба отоварила, — всем селом засмеют!

...А в кувшине, к разочарованию Вита, оказался не квас — пиво. Пива Вит не любил. Горькое оно. И голова потом болит. Зачем его взрослые хлещут? Впрочем, мальчишка утешился кашей со шкварками: наворачивал, будто с голодухи. Не забывая при этом держать ушки на макушке. Когда еще в доме такой гость объявится?!

IV

— ...Вот я и говорю: по всему видать, новый наследник родился.

Горстяник степенно огладил пышные, аккуратно подстриженные усы. Уцепил за хвосты связку вяленых уклеек. Мельник Штефан подлил пива в кружку палача. Плеснул и себе.

— Иначе с чего бы старый герцог праздника закатил? — продолжил Мертен, отрывая уклеякам головы. Он любил есть мелочь без лишней возни: с потрохами. — Сынок-то его, молодой граф Рейвишский, по сей день бездетен. Двенадцатый год, как женился, а все — впустую. Дочери не в счет: отрезанный ломоть. И тут — сын! Попомните мое слово: как вырастет, женится да внука Густаву Быstromу подарит — отпишет его высочество младшему и титул, и весь Хенинг... Если доживет, конечно.

Штефан понимающе кивал, прихлебывая пиво. По разговору могло показаться: за столом собрались не заплечных дел мастер да мельник с семейством — а по меньшей мере герцогский юстициарий с членами магистрата. С другой стороны, о чем народу языками чесать? Виды на урожай? Какая зима в этом году выдастся? Хромой Ник жену кочергой перетянул? Не без того, конечно. Кочерга, зима, урожай. Но ведь куда интересней благородным господам косточки перегрызть!

— А что ж младший-то... С дитями, говорю, чего оплошал-то?

Мельник, изрядно хмельной и потому чрезвычайно заинтересованный, перегнулся через стол. Можно было подумать: от ответа зависит его годовой заработок.

— А то! — Горстяник наставительно ткнул в потолок пальцем, толстым и волосатым. — Говорят, с турнира в Мондехаре пошло. Перед свадьбой. Сам не видел, врать не стану, только знающие люди шепнули: на турнире молодой граф хорошо дрался. Пока не вышел на него русинский князь: не человек — гора. Да и приложил молодого графа об арену. С душой приложил. Граф-то на другой день очухался, и все вроде бы в порядке, все путем — ан не все, оказалось. Детородную жилу повредил, значит...

— Жилу? Хозяйство на месте, в постели чин-чинарем, а детей нет?! — пьяно изумился Штефан.

— Ага, — согласился Мертен. — Ясное дело, в штаны их светлости никто не лазил и под кроватью супружеской ночами не сиживал... Но все на то выходит.

Он с сожалением поглядел на кучку рыбьих голов. Шумно отхлебнул пива.

— Чудны дела Твои, Господи! — влез подмастерье, кудрявый верзила Казимир. — Отобьют человеку детородную жилу, а он поначалу и знать не будет? И снаружи никак не увидишь?

— Отбить все на свете можно, — снисходительно усмехнулся палач. — Захочешь, сразу увидят, не захочешь — опытный лекарь только моргать станет. Дело нехитрое.

— А как? — заинтересовался крепыш Томас, изрядно смахивавший на упрямого молодого бычка. Даже рыжие вихры у Томаса навроде рожек завивались: хоть гребнем расчесывай, хоть водой мочи.

Горстяник с хитрецей прищурился:

— Ты сперва расскажи мне: трудно ль на мельнице муку молоть?

— Чего там рассказывать? — удивился Томас. — Мешки таскать тяжело, конечно... зимой, опять же, с колес лед скалывать... Работа как работа.

— Вот и у меня: работа как работа. Ежели обучен — ничего особенного. Надо будет, кнутом быка убью. Надо будет: девку на плаху кину, топором коосу срублю, а шеи не трону. Живи, девка. А когда не умеешь — рассказывай не рассказывай — все едино: толку чуть. Ладно, поздно уже. Благодарствую за угощение, хозяин.

— Да и нам пора, — спохватился Штефан, потрясенный историей про девку с косой. — Обмолот в разгаре, народ зерно на мельницу с утра до ночи везет. Вам наверху постелено, мейстер Мертен. Как обычно. Доброй ночи вам.

— Доброй ночи, Штефан. Эх, еще пивка напоследок...

V

Горстяник Мертен был наследственным.

Еще прадед Двужильник, чья кличка успешно вытеснила настоящее имя даже в семье, человек неграмотный, темный, но исключительно даровитый, был в возрасте пятнадцати лет нанят Хенингским магистратом. Тогдашний горстяник Клаас, земля ему пухом, живо разглядел талант юнца, лично занявшись образованием Двужильника. Прадед в старости если и выпивал за ужином чарочку-другую, то первую здравицу непременно подымал за Клааса.

Молебны в церквях заказывал: по наставнику.

Своего сына Двужильник взял в науку сам. Говорили, что малыш мечтал быть водовозом, польстившись на огромную бочку с телегой, но Двужильник пресек детские грезы в зародыше. И позаботился, дабы наследник вырос если не грамотеем, то челове-

ком с понятием. До университета в Саламанке или там в Сорбонне дело, ясно, не дошло, но взять приличных учителей денег хватило. Слава Первоответчику, магистрат не скупился на жалование лучшему палачу. Посему будущий дед Мертена сперва чертил крючочки да загогулины на желтом пергаменте, а потом брался за другие крючочки-загогулины в подвалах ратуши. Такой подход дал нужные плоды: никто иной, как сын Двужильника через двадцать лет учредил Пыточный Коллегиум, прославившись далеко за пределами Хенинга трактатами «Овладе-ние кнутом» и «Признание злоумышленником вины, как первооснова допроса».

Заплечники из других городов большие деньги за копию платили.

А если еще и с дарственной подписью: «На добрую память коллеге от Йоханеса Пальчика...»

Мертенев отец превзошел родителя, да и Мертен не ударил в грязь лицом, упрочив семейную славу. Сдать экзамен на звание мастера лично ему считалось делом чести. Бургомистр слал поздравленья с днем ангела; цеховые синдики издалика раскланивались. Объемистый труд «Взгляд из-за плеча», дело всей жизни горстника, близился к завершению. Войдя в камеру смертников после вынесения приговора, мастер Мертен приветствовал несчастных не иначе, как: «*Venit extrema dies!*»¹, справедливо полагая это утешением. Часто, во благо искусству, он предлагал смертникам сделку: выплату денежного пособия семье в обмен на право испытать новые методы. Поскольку терять приговоренным было нечего, кроме собственной головы, они с радостью соглашались на лишнюю боль во благо родственникам.

Если пытки, изобретенные Мертенем, не влекли за собой членовредительства, горстник предлагал

¹ Настал последний день! (лат.).

такую же сделку беднякам. После испытаний, выученные умелыми руками мастера, малоимущие возвращались домой, позванивая дареным кошельком. К несчастью, открытия в семейном ремесле случались реже, чем к воротам Мертена являлись желающие подзаработать, и всякий раз, отказывая добровольцу, горстаник чувствовал себя злодеем.

Женился он по любви.

Приданое при его заработках роли не играло. Красота — тоже. В подвалах, ловя скудный свет очага, приучаешься ценить истинную красоту: неброскую, спокойную. Клара, дочь цветочника Йоста, полюбила горстанику с первой встречи. Он шел тогда по Нижней Чеботарской, а Клара на втором этаже дома поливала настурции из глиняного кувшина. В движении белой ручки, в наклоне головы, в лентах чепца, падавших на мокрые венчики цветов, было столько земного очарования, что сердце Мертена сдалось без боя.

Сам Густав Быстрый прислал скорохода: поздравить со свадьбой. На шушуканье двора герцогу было плевать, а Хенингским горстаником он гордился давно и не без оснований. В качестве подарка его высочество прислали сословную грамотку с высшим привилеем, на какой мог рассчитывать человек, лишенный дворянства: изображение оружия, заверенное печатью Дома Хенинга. Это позволяло вне дома обходиться без предписанного атрибута «слабости и худородства». Грамотку жених-горстаник принял с поклоном, рассыпался в благодарностях, но в дальнейшем пользоваться привилеем не стал. Везде показывался с древним двуручником, еще дедовским. Согласно чину. Что лишь добавляло почтительного уважения со стороны хенингцев.

Короче, жизнь мастера Мертена омрачала лишь одна несбывшаяся мечта.

Опробовать свое искусство на ком-либо, прошедшем Обряд.

Вставали в доме мельника затемно. Это зимой, когда работы мало, повезет иногда отоспаться. А сейчас: продрал глаза, перехватил наскоро кружку молока с хлебом — и за дело. Мужчины уходят жерновые поставы ладить. Вит с собаками — овец по дворам собирать. Мамка по хозяйству: прибирается, обед стряпает, над отварами-настоями хлопочет. Самая пора для них: свадьбы на носу. Да и на жнивах всяко случается: кто серпом ногу порежет, кто плечо вывихнет-потянет. И все — к ней, к Жеське. Не за так, понятное дело: гусака несут, пару курей, сала шмат, пива жбан... С мамкиным здоровьем бывало: наравне с мужиками горб под мешками гнула. Бычок Томас только крякал с одобрением. Но сейчас мужики без мамки управятся — у Жеськи свой промысел.

С утра погода не баловала. Небо, еще вчера васильково-синее, затопило болотной жижей. То и дело срывался колючий ветер, но дождь медлил. Выглянув в окошко, Жюстина нахмурилась. Не терпящим возражений тоном приказала Виту надеть кацавейку поверх обычной рубахи. И башмаки. «Еще бы кожух сунула, — недовольно подумал Вит, засовывая ноги в тесные башмаки. — Чай, не зима на дворе! Обувку, опять же, бить...» Однако пререкаться с матерью не стал. Знал: бесполезно. А выйдя на двор, и вовсе решил: мамкина правда. Вона как похолодало.

Когда шел по селу, ветер нахально толкался в спину. К счастью, кацавейка была добротная, на овчине. Башмаки тоже оказались кстати, и Вит про себя помянул мамку добрым словом: всегда-то она в итоге права оказывается!

Овцы из дворов тащились вяло. Хозяйкам приходилось гнать их пинками и хворостинами. Ветер задувал все сильнее, крутя дорожную пыль смерчи-

ками, обе собаки старались вовсю, сбивая в гурт порывившее разбрестись стадо. День начинался поганно: зябко, хмуро, ветрено, того гляди, дождь хлынет. Хотя в общем-то пустяки. Все одно отару на пастбище гнать надо, куда денешься?

Меньше всего Вит собирался куда-то деваться. Помог собакам собрать стадо — и погнал на Плешкин луг (ближний-то лужок овцы давно объели). Это в низинке, где начало Вражьих Колдоб. Говорят, раньше место звалось просто: Овраги. Однако кругом и других оврагов хватало. Так, чтоб не путаться, называли Овражьими Колдобинами: там и впрямь нечистик копыто сломит! А после название само собой укоротилось, и стали Овражьи Колдобины — Вражьими Колдобами. Любимое место пацанвы: хоть в «Лиходея-хвать!», хоть в прятки, хоть в догонялки. Есть где разгуляться. Вражьи Колдобы тянулись на несколько миль, ветвились, разбегались в разные стороны: укроешься по-настоящему — хоть с собаками тебя ищи... Однако сейчас Виту было не до забав. Опять же: какой интерес лазить по оврагам в одиночку?!

А Лобаша дядька Штефан с мельницы не отпустит...

Ветер унялся. Овцы тоже успокоились и больше не пытались разбежаться, чтобы вернуться домой, в теплый хлев. Вит зашагал веселее, даже принялся насвистывать на ходу. Жучка взялась старательно подвывать; Хорт трусил молча, неодобрительно косясь на обоих.

Он вообще редко что одобрял в этой жизни, кроме хорошей кости.

VII

Перевалив через Лысый Бугор, стадо разбрелось по лугу, а Вит принялся за сбор трав, вполглаза приглядывая за овцами. Небо угрюмо нависало над

головой: чисто брюхо тетки Неле на сносях, когда она последнего таскала. Помер последний-то на третий день. Видать, и небу никак не разродиться. «Хоть бы выдождало его наконец!» — с тоской подумал парнишка. Блажь небесная нагоняла уныние.

И, словно в ответ, первая капля щелкнула Вита по носу.

Однако обрадовался он рано. Дождь зарядил мелкий и нудный, словно брюзжанье похмельного пьяницы Ламме. Овцы на морось чихать хотели, равнодушно щипля траву, а Вит с собаками переметались в ближайшую рощу. Под матерый вяз, чья крона оказалась надежней крыши. Солнце спряталось, но бурчание во впалом животе не хуже всякого солнца подсказало: время обедать. Грех врать: голодом пастушонка не морили. Особенно учитывая, что Жюстина, души в сыне не чаявшая, стряпала на всех в доме! Жаль, вкусная мамкина стряпня не шла мальцу впрок: щуплый, угловатый. Ребра наружу выпирают. И вечно... ну, не то, чтобы голодный. Проголодавшийся.

Куда оно все девается?!

Размышляя о причудах собственного живота, Вит начал развязывать узелок со снедью. Как раз в этот момент со стороны дороги, проходившей за Лысым бугром, донесся топот копыт. Пожалуй, это не на дороге даже. Сюда едут! Иначе не услышал бы.

Пятеро всадников и повозка, запряженная мохноногим битюгом, вынырнули из-за бугра.

Знакомую повозку сборщика податей Вит узнал сразу. Вон и сам мытарь: серьезный седатый дядька в полукафтанье бычьей кожи. Башмаки городские, высокие, пряжки чистого серебра. Бляха магистрата луной сияет. А лошадей правит один из стражников: станет мытарь руки вожжами пачкать! Господин из себя корчит. Ну и стражники следом выкобениваются. Только все едино, такие же простолудины, как и прочие. Разве что должность побогаче.

Значит, сколько ни выпячивай грудь, придется оружье носить. Какое по сословной грамотке прописано. Вит ехидно улынулся. Вон у мытаря топорик за поясом. Хоть из штанов выпрыгни, а железяка дурацкая — вот она!

Никуда не денешься, мил-человек.

Хорошо, что ему, Виту, пока грамотку не выписали. Мал еще. Но когда вырастет — пропишут. Еще года три, от силы четыре. Будет всюду таскать постылый бердыш или протазан. Ибо простолюдин по природе своей низкой слаб есмь и беспомощен, без оружия гроша ломаного не стоит. Вот и заведено с давних времен, дабы все мужчины подлого сословия всегда при себе оружие имели: в знак слабости, худородства, в память о том, что зависят от чужой силы, от благородного господина своего. Ну и для защиты от разбойного люда. Правда, Вит ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь с помощью этой дурости, что грамотка носить обязывает, от разбойников отбилсЯ. Стражники — другое дело, их оружием владеть в казармах учат. Только они все равно его терпеть не могут. Больше голыми руками обойтись норовят. Хоть и не поощряется, но... начальство на то глядит сквозь пальцы.

Да что там стражники! Мужiku в пьяной сваре за нож или топор схватиться — последнее дело. Позор. В глаза наплюют. Уговор негласный: драться кулаками, «по-благородному». Хватит того, что срам ржавый за собой волочишь. Еще в честную драку с *этим* лезть...

Тем временем процессия въехала в рошу, под прикрытие деревьев. Мытарь явно решил устроить привал: стражники спешились, начали расседлывать лошадей. Кто-то, ворчливо поругиваясь, искал сушняк для костра, а старший первым делом стащил с себя кольчугу, оставшись в стеганой поддевке. На привалах, когда в округе спокойно, подобная вольность позволялась; а так — служба!

Вита первым заметил мытарь. Повелительно махнул рукой:

— Эй! Подь сюда!

От мытарей да стражи держись подальше. Это Вит давно усвоил. Вот горстяник — другое дело. Чего честному человеку горстяника бояться?..

Не хотелось идти, а пришлось.

Подошел. Встал в двух шагах. В лицо мытарю смотреть боязно, а мимо глядеть — увидит, что мальчишка от него нос воротит, как пить дать разозлится.

— Добрый день, гере мытарь.

— И ты здрав будь. — Покрытое складками, словно изжеванное, лицо мытаря треснуло ухмылкой. Кривой, неласковой. — А чтоб день по-настоящему добрым выдался, гони-ка ты мне, братец, пару овец. Пожирней которые.

— Зачем, гере мытарь?

Вит корчил из себя полного болвана. Ясное дело, овец придется вести. Иначе сами возьмут, а пастуха выпорют. Но овец было жалко, и мальчишка просто тянул время, ни на что особо не надеясь.

— Ты совсем придурок? — каркнул сборщик податей. — Жениться я на твоей овце хочу. Вон уже вертел наострил. Давай веди. Или кнута захотел?

— Не надо кнута, гере мытарь. Я сейчас.

— Вот так-то лучше, — довольно проворчали Виту в спину. — Наладились, как один: дурачками прикидываться. А кнута посулишь — мигом умнеют!

В селе за овец, конечно, нагорит, особенно от хозяев. Но не сильно. Побранятся, выкричатся и плюнут. Понимают: откажи мытарю — бед не оберешься. Все одно по-его будет. С пастушонка какой спрос-то? Правда, втихую пенять станут: почему мою овцу отдал, а не соседскую? А гад-мытарь еще и целых двух затребовал...

Овец Вит выбрал каких поплоче. Одну — тетки Неле, в отместку за вчерашние побои, другую — хромую, тетки Катлины. У нее овец целых двенад-

цать голов: повздыхает, да и бросит. И ругается она меньше других.

— Стой! Стой, кому говорю! Поглумиться над нами вздумал, сопляк?! Я, по-твоему, мослы грызть стану?!

Над Витом возвышался стражник. Длинный, как жердь, тараканья рыжина усов под крючком носа. Глазки водянистые, злые. Цепкие пальцы ухватили мальчишку за шиворот, встряхнули.

— Брось эту падаль. Вон того барана гони...

— Не надо, дяденька! — взмолился Вит, безуспешно пытаясь высвободиться. — Это войтов лучший баран! Мне за него войт голову оторвет! Я вам другую овцу найду...

— Раньше надо было другую искать. А теперь: давай войтова барана. И в придачу...

Договорить стражнику снова помешали. Подлетели Хорт с Жучкой, зашлись лаем: Жучка — залившимся, визгливым, Хорт — хриплым басом, сулящим выдранный клочок из задницы. Того и гляди, всерьез бросится, рвать начнет.

— Собаками травить вздумал?! — искренне изумился стражник. — Г-гаденыш!..

Свободной рукой, не найдя подходящей палки, он потянул из ножен меч.

Сердце Вита ушло в пятки. Сейчас Хорт точно кинется! Ой, что будет! Под горячую руку и собак порубят, и ему, Виту, достанется! Хорошо, если только кнутом отходят.

— Хорт, назад! Лежать! Жучка, цыть! — Отчаянно закричав, пастушонок присел, вьюном крутнувшись на месте.

В ответ послышался хруст. Вит сперва решил, что порвалась кацавейка, и тут стражник заорал благим матом:

— С-с-учонок! Ты ж мне пальцы сломал! Пальцы! Я тебе сейчас кишки выпущу, ублюдок!

Однако Вит уже был свободен и бросился прочь — вслепую, не разбирая дороги.

Убежать он успел недалеко. Кто-то подставил ногу, и беглец кубарем полетел наземь, изрядно проехавшись по скользкой от дождя траве.

— Держи его!

— Держу...

Сверху навалились, тяжело сопя, прижали к земле. Умело завернули руки за спину. Поодаль хохотали: то ли над ним, Витом, потешались, то ли над незадачливым товарищем. Разрывались Жучка с Хортом, потом вдруг послышался отчаянный визг, рычание.

Неужто зарубили?!

— Да я его... в куски!..

— Охолонь! Слышь, Остин?

— Да он мне! пальцы!..

— Я сказал: остынь!

— И верно... уберу железку...

Голос показался знакомым. Горстяник?! Точно, горстяник. Видать, в город отправился, да тоже свернул в рощу: дождь переждать.

Вит хорошо все слышал, но видеть мог только мокрые травинки перед носом. Крепко держат, головы не поднять.

— Что за история?

— Да вот, мальчишка бузит. Руку Остину повредил.

— Бузит, так проучите. На то и плети. Кнут, опять же. А железка — дело грязное, стыдное. Дайка руку, погляжу твои раны.

— Точно! Ты, Остин, иди к мейстеру Мертену! Он тебя починит, он тебя приласкает...

— Ага, починит... Знаю я, как он чинит!

— Дурак, — беззлобно отметил горстяник. — Ты ж не в пыточной, убоище. Гляди, и вправду два пальца сломаны. Эх тебя угораздило! Сиди пока, я сейчас лубок смастерю.

— Слыхал, гаденыш? — зловеще дыхнул Виту в самое ухо. — Два пальца должностному лицу! Стало быть, бунтовщик ты и мятежник. Супротив власти пошел: на стражника напал, собаками травил. А знаешь, что с бунтовщиками бывает? Опять же, палача искать не надо: сам мейстер Мертен здесь! Он все и сделает, в лучшем виде... Не сомневайся!

Ясное дело, стражник просто веселился, запугивая тупого мальчика. Стоявшие рядом приятели давились беззвучным смехом, зажимая рты — чтобы раньше времени не испортить представление. Что с пастушонка взять? Выпороть от чистого сердца. С родителей виру за Остиновы пальцы стребовать. Пускай батька с маткой поганца по новой выдерут. Но отчего бы для начала не застращать дурня до смерти? Чтоб знал в другой раз!

Виту все это было невдомек. Мальчишка действительно испугался. До дрожи, до темноты в глазах. До ледяного пота и спазмов в пустом животе. Мятежник! Бунтовщик! Вит слышал, что делают с бунтовщиками. Головы секут, колесуют, вешают. Иных на кол сажают, четвертуют... Собак порубили, сейчас его очередь! Никак не мог он видеть, что сзади к нему подходит не горстняк, занятый рукой пострадавшего Остина, а мытарь. И в руках у мытаря не топор, не меч, не каленые клещи. Кнут обычный. Видел бы — не стал рыпаться. Ну, выпорют. Ну, сильно выпорют. Больно будет. В первый раз, что ли?..

Тяжелые шаги приблизились. Скрипнула мокрая трава.

— Снимай штаны с поганца. Я его...

Голос был не палача, а сборщика податей, но Вит уже ничего не соображал от ужаса.

«На кол! На кол сажать будут!»

Когда чужие руки взялись за штаны, намереваясь их стащить, Вит рванулся так, как не вырывался еще никогда. В полной уверенности, что спасает свою жизнь! Завернутые за спину руки выскользну-

ли из захвата: не ожидал стражник такой прыти, не удержал. Куда угодила его нога, вдруг обретшая собственную волю, Вит не понял. Брыкнул назад, и деревянная подошва башмака ткнулась в живое. За спиной взвыли так, будто стражника по ошибке усадили на кол вместо «бунтовщика»!

Взвоешь тут, когда башмаком в самый сок заедут!

А мытарь оказался куда проворнее, чем можно было подумать. Впрочем, Вит меньше всего думал — просто, когда он уже вскочил на ноги, чтобы бежать, его крепко обхватили сзади. Тело что-то *сделало* (такое иногда случалось: тело *делает*, а голова пустая-пустая, и еще холодно...), человек позади охнул, разжав руки... Парнишка бросился наутек. Забыв про овец, порученных его опеке. Пусть хоть всех сожрут, лишь бы самому уйти! Он мчался в сторону Вражьих Колдоб. Там не найдут. А собак у них нету. Сердце отчаянно колотилось в груди. Перед глазами все вертелось колесом. Ушел! Жив! Свободен! — стучала в ушах гулкая кровь.

Вит не видел, как за спиной медленно оседает на землю мытарь, вцепившись в правый бок. Как стремительно бледнеет жеваное лицо, закатываются глаза. Как между пальцев начинает сочиться темно-багровая, почти черная струйка.

— Дядя! Что с тобой?! — бестолково причитал над мытарем младший из стражи: пареньку лет семнадцать, усишки едва пробились. — Дядя! Встань!..

— А ну-ка, отойди, — горстаник толкнул в сторону младшего, действительно доводившегося мытарю племянником. Присел рядом с обеспамятевшим сборщиком податей, аккуратно расстегнул на нем одежду.

— Держи сучонка! — запоздало опомнился кто-то. Кинулся к уже расседланным лошадям. Куда там! Мальчишка улепетывал: только пятки сверкали. Вернее, пятки как раз не сверкали. Бежал пасту-

шонок странно, мелко-мелко семена, но очень быстро перебирая ногами. При этом удрал весьма далеко.

— Держи! Лови!

Нет. Скрылся с глаз. Видать, в овраг нырнул. Гнаться не стали: бесполезно.

Горстяник долго молчал, глядя на малую, но очень скверного вида рану в боку мытаря. Печенка задета. Ох, грехи наши тяжкие... Лицо палача все больше мрачнело, на лбу проступили вертикальные складки. Он сразу понял: мытарь — не жилец. «Ножом, стервец, пырнул», — была первая мысль. Однако разглядев рану поближе, мейстер Мертен осознал ошибку. Не в том, что смертельная: спасти мытаря сейчас могло лишь чудо, а палач был человеком практичным. Насчет ножа ошибся. Не ножевая дырка. Стиллет? граненый?! Похоже, хотя шире. Откуда у сельского щенка стиллет? Отродясь по деревням в сословных грамотках такого добра не прописывали... На всякий случай палач внимательно огляделся. Ничего похожего на земле не обнаружилось.

А удирал пастух с пустыми руками.

Еще подобную рану можно было нанести клевецом. У мельника, например, прихватил. А здесь, в горячке... Но уж клевец мейстер Мертен точно заметил бы. Кроме того, ни один мальчишка, еще лишенный грамотки по возрасту, не притронется к чужому оружию. Даже в драке. Бычьим рогом ударил? Что ж пастух, все это время рог в рукаве прятал?! Глупости. Враки записные. Да и с какой силой бить-то надо, — дошло вдруг до палача, — чтобы кожаное полукафтаные просадить?! Паренек лядщенский, хилый. Локтем он мытаря ударил. Мейстер Мертен сбоку стоял, ему хорошо видно было. Локтем.

Прятал рог в рукаве, острием назад?

Чушь.

Значит, остается...

О том, что остается, думать не хотелось. Горстяник припомнил сломанные пальцы Остина, покоился на стражника, до сих пор лелеявшего причинное место. Лучше язык за зубами держать. Делай свое дело, в чужие не суйся и болтай поменьше — этому принципу мейстер Мертен неуклонно следовал давным-давно.

Он поднялся, отряхивая колени.

— Ну? — с надеждой сунулся мытарев племяш.

— Плохо, — зря обнадеживать не следовало. — Печенка у него пробита.

— Ножом, гаденыш! ножом! Убью-у-у-у!.. — завыл молодой стражник, сжимая кулаки в бессильной ярости. Кажется, он плакал. И вдруг отчаянно бросился к горстянику:

— Спасите его, мейстер Мертен! Я знаю, вы умеете...

— Тут и лучший лекарь вряд ли поможет, — вздохнув, развел руками палач. — Разве что чудотворца какого найти успеешь.

Подошел Остин, баюкая поврежденную руку здоровой. Взглянул на рану мытаря, поджал губы:

— В село его отвезем. Вы с нами, мейстер Мертен?

— Нет, — покачал головой горстяник. — Перевяжу его, лубки тебе доделаю и поеду. В город мне. Вы уж сами...

— Спасибо, мейстер Мертен...

Палач дал себе молчаливый зарок: на обратной дороге нигде не задерживаться.

От греха подальше.

IX

В шалаше было сухо и тепло. Но Вит все равно дрожал: не от холода, от возбуждения. Липкий страх отпускал медленно. Его чуть не казнили! Еще миг —



и сидеть бунтовщику на колу! Говорят, боль адская... Скатившись в овраг, он весь перемазался в глине, сейчас пытаюсь отчистить штаны с кацавейкой. Получалось плохо. Одно хорошо: шалаш они с Пузатым Кристом выстроили в укромном месте. Здесь не найдут. И от дождя ветки спасают.

Страх гас, к парнишке возвращалась его обычная рассудительность.

Во-первых: отсидеться. Хотя... Кто его станет искать? Стражники лентяи, им по оврагам шастать хуже рожна. А у мытаря своих дел навалом, не до Вита ему. Какой из меня мятежник? — сообразил вдруг пастушонок. — Ведь не убил никого, речей возмутительных не говорил, не воровал, не грабил... Может, пронесет? Ну, слопают-таки войтова барана. Ладно, переживем. В село они вряд ли поедут: подати раньше собрали, кому из молодых срок оружие покупать, в грамотках прописали. По всему выходит: пообедают и уедут. Отару не угонят, они ж не разбойники, а совсем даже наоборот. Значит, надо просто переждать, собрать овец и...

Вот собак — жалко.

От горестных раздумий Вита оторвал тихий скулеж. Выглянул из шалаша:

— Хорт! Живой!

Жучка тоже была здесь, но не лаяла. Понимала, умница: прячемся. Лишь повизгивала тихонько да все норовила в щеку лизнуть.

Мальчишка пустил обеих собак в шалаш, и Хорт улегся рядом, зализывая глубокий порез на лапе. Хорошо хоть напрочь не отсекли. Хитрая Жучка, как всегда, целехонька. Привыкла, что за нее Хорту отдуваться. Она цапнуть может от души — но уж скорее за лодыжку, когда отвернешься. А Хорт, глупый волчара, в лоб кидается, безо всяких уверток.

За то и пострадал.

На душе стало веселее. Дождь стих, но выбираться наружу Вит медлил. Сидел в шалаше, гладил

своих любимцев. Прикидывал так и сяк. До заката далеко, но остаться на выгоне — дудки. Надо гнать отару в село, развести овец по дворам, на вопросы не отвечать, а сразу домой. Повиниться мамке с дядькой Штефаном. Выдерут, конечно, а в обиду чужим не дадут. Да и никакой особой вины он за собой, честно говоря, не чувствовал.

Жучка наконец улеглась. Стала зачем-то лизать правый локоть Вита. На время отвлекшись от раздумий, парнишка обнаружил: и рубаха, и кацавейка на локте прорваны насквозь. Вокруг прорехи расплылось бурое пятнышко, уже частично зализанное Жучкой. Небось, ободрал руку. Сняв кацавейку и стащив через голову рубаху, Вит вывернул локоть — вся сельская пацанва обожала, когда он на спор кусал свои локти. Вот, пригодилось. Ага, вечная заскорузлая ссадина, которая была там, сколько Вит себя помнил, — на месте. На левом локте такая же. Только сегодня правая ссадина вроде как больше стала. И кровь свежая. Края ссадины слегка разошлись. «Точно задница!» — пришло в голову похабное сравнение. Следом явился стыд. В доме мельника сквернословов не жаловали. Жюстина сына воспитала соответственно; быть может, даже излишне строго.

Он смутно припомнил: когда вырывался, в локте шелкнуло. «Небось тогда руку и рассадил, — справедливо решил Вит, одеваясь. — Мамка выберит, за одежду-то...» Однако домашняя выволочка казалась пустяками по сравнению с угрозой казни за мятеж. Или стражники его просто пугали? Небось потешаются сейчас! Хотя удрать от взрослых дядек, кому по службе положено хватать да вязать... Сердце Вита наполнилось мальчишеской гордостью. Расскажу Пузатому Криту — от зависти лопнет!.. Хотя нет, не лопнет — не поверит. А жаль...

Еще через час он выбрался из шалаша.

Возвращались привычной дорогой, только раньше обычного. Дождь прекратился, но земля размокла, противно чавкая под ногами. На башмаки налипли комья грязи. Раздраженно блеяли овцы: им не нравилась ни погода, ни дорога, ни ранний уход с пастбища. На лугу осталось море недоеденной вкусной травы! На удивление, все овцы оказались целы. Даже войтов баран бежал впереди. Странно. С чего это стражники вдруг передумали?!

Вит недоумевал. Так, недоумевая, выбрался на бугор и застыл столбом.

Гвалт был слышен даже отсюда, хотя слов разобрать не удавалось. Возле войтова дома стояла знакомая повозка мытаря, толпился народ. Стража тоже была здесь: влажно отблескивали шишаки и кольчуги. Один из стражников с криком стегал кнутом кого-то, расprostертого прямо на земле. Бил страшно, жестоко. «Насмерть ведь забьет!» — обмирая, подумал Вит. Похоже, испугался не он один: товарищ экзекутора шагнул, ловко выхватил кнут, а когда палач-доброволец в запале стал пинать лежащего ногами, обхватил сзади, крепко прижав руки к телу и оттащил от жертвы.

«Из-за меня?! — страх вернулся. Обдал ледяной волной, подступил к горлу. — Или еще что приключилось?»

В любом случае в село сейчас возвращаться нельзя. Сообразив, что торчит, как любил браниться пьяница Ламме, «хреном с бугра», у всех на виду, Вит запоздало присел. На карачках отполз назад. Однако в его сторону никто не смотрел: все были заняты расправой у дома войта.

«Назад, во Вражьи Колдобы! Пересижу до вечера, а по темноте проберусь домой! Вот только отара... А что отара? Собак кликнуть, они овец в деревню сами пригонят. Народ увидит — разберет...»

Охромевший Хорт и Жучка повиновались сразу: с лаем закружили вокруг стада, сбили в кучу, погна-ли вниз. Вит обождал, дабы убедиться, что хоть с этим все будет в порядке, потом вздохнул и быстро пошел прочь. К счастью, на обратном пути он подо-брал свой узелок с харчами — добро осталось под вязом, никто не позарился. Или не заметили. Так что голод, по крайней мере, мальчишка утолил. К постоянному «сверчку в пузе» Вит давно привык. Редко удавалось наесться так, чтоб от обеда до ужина не мечтать о куске хлеба. И кормили вроде сытно — просто такой уродился. Казимир с Тома-сом «проглотом» дразнят. Но Вит не обижался.

Они ведь не со зла.

В шалаше беглец, сам того не заметив, впал в мутную дрему. Все, случившееся сегодня, никак не укладывалось в голове. Быстрая смена событий: пре-реkania со стражей и мытарем, ужас близкой рас-платы, дерзкий побег, сердце, готовое выпрыгнуть через горло и лягухой ускакать прочь, обгоняя хо-зяина; безумная радость спасения, незнакомая до-селе гордость — гордость уже не мальчишки, но от-чаянного подростка, сумевшего вырваться из цеп-ких лап Закона; растерянность, недоумение, снова страх... Для сельского мальчика это оказалось черес-чур. Разумеется, пастушонок не мог выразить свои чувства словами: просто в душе его царил полный сумбур. Сейчас, когда больше не надо было выры-ваться, бежать, что-то решать, им вдруг овладела тупая апатия. Вит провалился в вязкий омут сна, свернувшись калачиком внутри хлипкого шалаша и поминутно вздрагивая всем телом.

Так он лежал долго. До вечера.

— ...Витка! Проснись!

Дернулся, как от удара. Не соображая, что про-исходит, взбрыкнул ногами, едва не развалив ша-лаш. Очнулся.

— Ты чего?! Это же мы! Поесть тебе принесли...

Снаружи смеркалось, а в шалаше и вовсе царила темень. Однако Виту тьма не была помехой. Разглядел, кто перед ним: великовозрастный дурачок Лобаш и Пузатый Крист, заклятый друг.

— Тута и хлебушек! и сырчик! и даже вич-чина... — радостно завел Лобаш. Говорил он так вкусно, что у Вита мигом проснулся зверский (сам Вит при этом еще зевал!) аппетит. Набросился на еду, уплетая за обе щеки.

Крист сделал круглые глаза.

— Ты ешь, впрок ешь... Ты ж теперь мытарев убивец! — торопясь, чтобы Лобаш его не опередил, с азартом выпалил Пузатый.

Кусок застрял в глотке. Вит поперхнулся, закашлялся, из глаз брызнули слезы. Пришлось добряку Лобашу спасать: двинул в спину кулаком. А то недалеко и до беды!

Впрочем, беда уже случилась.

— Брехло! Чуть не задохся из-за тебя...

— Я брехло?! — Возмущению Криста не было предела. — Лобаш, докажи!

— Угу, — подтвердил честный Лобаш. — Нет, не брехло он, да. Ты убил. Убил! Ты теперь убивец, да. Вот здорово! Ты — убивец! Я раньше убивцев отродясь не видал!

Хихикнув, дурачок расплылся в улыбке до ушей.

— Помер мытарь, — Крист снова поспешил вмешаться, явно боясь опоздать с новостями. — На войтовом дворе. А ты правда не знал? Да?

— От чего?! От чего помер? От хвори?!

— Да от тебя же, дубина! Ты его ножом пырнул, в самые печенки. Мамку твою кликнули, думали: поможет. Куда там! Даже монаха позвать не успели, чтоб исповедал да отходную прочел. Пока в монастырь бегали... А как стражники узнали, что Жеська — твоя мамка, так один кнут схватил. Давай ее охаживать! Мало не убил. Родич покойнику оказался...

Навалилась глухота. Придавила, дохнула в уши жаром.

Так вот кого хлестали кнутом возле дома войта!

XI

— ...Дергунец! Опять! Дергунец! Я знаю... — шептал перепуганный Лобаш в ухо Кристу, горячо брызжа слюной.

— Да уймись ты! — не выдержал Пузатый.

Отстранился, вытер заплеванную щеку.

— Никакой это не дергунец. Столбун у него. Сейчас отпустит. Сиди и жди, понял? В первый раз, что ли?

— Не в первый, не в первый... — согласно забормотал Лобаш, успокаиваясь. Плюхнулся на травяную подстилку, охнул, отбив зад. Кивнул сам себе. — Было, было, было! Лобаш помнит. Столбун у него, да, столбун. Ждать будем, будем ждать. Ждать...

Вит застыл перед ними в странной, противостественной позе. Сидел на корточках, жевал кусок ветчины, рукой за хлебцем потянулся, наклонился вперед — да так и застыл. Будто в игре «мертвяк-спечки-бряк». Только страшно по-настоящему. Не дышит почти. Лицо разом заострилось, как у покойника или «травяного монашка». Глаза бельмастые, пустота в них: черная, нездешняя. Сейчас, в темноте, видно плохо — да смотреть не больно-то хочется. Навидались. То дергунец Вита трепал (юрод однажды рядом случился, сказал: «пляска Святого Вита!»), то иная дрянь, навроде падучей. Тот самый юрод Хобка неделю в селе околачивался, так на его падучую все мальчишки смотреть бегали. А у Вита — иначе выходило. Без пены на губах. Опять же: «курий слепень», бывало, скручивал, и столбун, вот как сейчас.

Одно хорошо: отпускает быстро. Тут главное: чтоб в речке не скрючило, на глубине, или когда Вит на дерево залезет (ох, и лазает, аж завидки берут!). Пока обходилось, Бог миловал. А ежели схватило — не помочь. Сиди себе, жди.

Вот Крист с Лобашем сидели и ждали.

Дождались.

Тело Вита вдруг обмякло, мгновенно потеряв всю жесткость, удерживавшую его в шатком равновесии. Хорошо, руку успел выставить, иначе точно б нос расквасил, падая.

— Столбун? — спросил парнишка, как ни в чем не бывало усаживаясь на прежнее место.

— Ага! — дружно кивнули приятели.

— Ну и пусть его... Что ты про мамку мою говорил, Крист?

— Жива твоя мамка, живехонька! Кнутом, говорю, ее стражник отходил. Сильно излупцевал, гад!.. Я б, наверное, сразу помер. А вы двуличные: что ты, что мамка твоя. За дядькой Штефаном сбегали, они с Лобашем домой ее отнесли.

— Я отнес! Я Жеську отнес! Я! — гулко бухнул себя кулачищем в грудь Лобаш, красный от гордости.

— Как она, Лобаш?

— Живая Жеська! Живая! Стонет. Лежит. Лежит. Стонет. Больно. Живая!

— А стражники? — спохватился Вит.

— Уехали стражники. Мытаря-покойника в Хеннинг повезли. Войту наказали: тебя, как явишься, вязать — и тоже в город, в тюрьму! Тебя теперь, наверно, сказнят! Голову отрубят. Горстяник Мертен и отрубит. Да ты не бойся! Мертен, он головы здорово рубить умеет. Хрясь, и ты на небе!

Вит угрюмо молчал. Все, конец. Повяжут. Свои же сельчане и повяжут.

Прощай, головушка!

— Не убивал я мытаря. — Слова шли горлом, будто кровь: соленые, страшные. — Не убивал. Нету

у меня никакого ножа. Чем бы я его пырнул? Пальцем?

Сказал и понял: не верят, хоть вслух и не говорят. Даже Лобаш отвернулся. Губы жует. Если уж лучшие друзья не верят — чего от других ждать-то?!

— А ты в село не ходи! — заявил вдруг Крист. Глаза Пузатого загорелись. — Ты лучше в бродяги подайся. Или в разбойники! Они тебя возьмут, ты ведь теперь тоже разбойник!

Лобаш молча хлопал коровьими ресницами. Поворачивался то к Виту, то к Кристу. Словно впервые обоих увидел. Да и Вит малость ошалел от идеи заклятого дружка. А что? — подумалось. Прав Крист! Одна дорога: к лихим людям. По которым плаха плачет. Эти не выдадут. Только где их найти? Да и боязно из села уходить. Очень хотелось повидать напоследок мамку. Как она там, после кнута? Повиниться, попрощаться, а дальше — куда глаза глядят.

Что-то сладко оборвалось внутри, заныло в предчувствии... чего? Вит не знал: чего.

Нового? небывалого?!

— Крист, ты мне друг? — очень серьезно спросил мальчишка.

Пузатый моргнул:

— Ну! Только в разбойники я с тобой не пойду. Меня мамка убьет...

— Да я не о том! — с досадой поморщился Вит. — Ты меня не выдашь? Домой я вечером побраться хочу. Не могу я так уходить... не простившись.

— Могила! — горячо заверил Крист, пыхтя. — Чтoб я сдох!

Что правда, то правда: Пузатый — могила. Врединой был. Дразниться любил. Шкодничал. Но доносить — никогда. Раз, помнится, вместе озорничали: веревкой дорогу впотьмах перетянули. Ждали, кто перецепится да носом землю вспашет. Дожда-

лись. Добро б тетка какая или мужик пьяный. Парни молодые с гулянки шли. Двое так перецепились. Вспахали. Ох и удирать потом пришлось! Вит убежал, парни в темноте даже не разглядели, кто это был, — а Криста поймали. Бока намяли крепко, от души. Требовали дружка выдать. Не выдал Пузатый. Врал напропалую, молол, что на язык попадет, орал, когда били, но — не выдал. На этот счет Вит мог быть спокоен.

— Спасибо, Крист. Ты настоящий друг.

— А я?! А я?! — обиделся Лобаш.

— И ты! — заверил Вит верного дурачка. — Ты, Лобаш, мне ночью заднюю дверь открой. Хорошо?

— Дверь? Дверь? Открою! Открою дверь!

— Только смотри, помалкивай. И не просп. Как все уснут, подожди немного — и щеколду откинь.

— Да! да! Лобаш щеколду откроет. Откроет!.. Вит? А, Вит? — Похоже, в голову к Лобашу пришла мысль (случай редкий!), и сейчас бедняга изо всех сил пытался выразить ее словами. — Вит, а когда ты... в разбойники! в разбойники когда! — ты нас душить не придешь? Не придешь?

— Ты что, Лобаш! Я, может, и не пойду в разбойники. Бродягой стану. Или где подальше пастушить наймусь. А пусть и в разбойники — зачем мне тебя душить?!

Дурачок искренне обрадовался:

— Меня не будешь?! А батьку? А Казимира? А Томаса? Не будешь душить? Не будешь?

— Не буду, Лобаш! Честное слово! — Вит не удержался: рассмеялся.

Жаль, вышло грустно.

— Ты хороший, Вит. Я знаю. Ты хороший. Ты нас не тронешь. Лобаш дверь откроет. Откроет! А мытаря... мытаря ты правильно убил! Правильно!

Полоумный сын мельника Штефана всплеснул руками. Рассмеялся.

— Он плохой! Плохой! Был.

Дождавшись ночи, Вит на всякий случай двинулся в обход села, мимо старого кладбища. Кто его на погосте караулить станет?! Береженого Бог бережет. Опять же, через село идти — собак дразнить. Разбредутся спросонья... А мертвяков бояться — дурное дело.

Мертвяки, они смиренные: лежат себе.

Луна сгнула в трясине туч; звезды разбежались, укрылись за холмами. Тем не менее Вит ни разу не оступился и вообще: шел, как к себе домой. Парнишка улыбнулся глупым мыслям. Конечно, домой. Лишь бы «курий слепень» не схватил поперек. Однако Вит давно уяснил: дважды подряд его «хватает» редко, а трижды — никогда. Столбун был вот-вот, а накануне еще и дергунец случился, возле Кристовой хаты.

Значит, все в порядке.

Через забор он перемахнул играючи (впервой ли?!); и Хорт с Жучкой, хоть проснулись, сразу признали. Молодцы, лохматые... ну давай, почешу за ухом... Только с дверью загвоздка вышла. Заперто. Видать, уснул Лобаш — как ни клялся, дурачок, как ни божился, а уснул. Водилось за ним: ляжет на минутку, глядь — уже дрыхнет без задних ног! С колоколами не добудишься... Вит знал за дурачком такой грех. Лобашу хоть кол на голове теши: вылетает из нее все. Отвлекся — пиши пропало.

«Через окно лезть придется. Ладно. С мамкой проститься все одно надо...»

В нижние окна ломиться побоялся: тут жили сам мельник с сыном и подмастерьями. Вскинутся со сна, гвалт подымут... Повяжут? Или нет? Посмеют приказа властей послушаться? Проверять норов мельника на собственной шкуре было неохота. Вит ловко вскарабкался по выступавшим из сруба торцам бревен почти под самую крышу. Нашупал ногой со-

сновый карниз, двинулся к окошку. Дом Штефана в селе считался зажиточным: о двух этажах. В окнах вместо слюды или бычьих пузырей — стекла! Всамделишные! Таких домов на все Запруды было-то три штуки: у войта, у Штефана и у Адама Шлоссерга — известного богатея, который держал аж семерых работников, ездил на ярмарку в Шельд и даже в сам Хенинг: возил пеньку, мед, деготь и воск. Последний год Адам щеголял в куцем тапперте да панталонах с бантами, жену побоями заставил вместо честного чепца носить богемский гутель с пелериной, а весной привез себе из города длинный плащ с рукавами и на крючочках.

Обнову Адам гордо именовал «пальто».

Народ от смеха давился, когда, нацепив свое «пальто», он задирает нос, глядя на односельчан свысока.

Сейчас Вит тоже смотрел свысока, но в прямом смысле слова. Упасть он не боялся: забирался и повыше. Только вдруг окошко на щеколде? Хорошо бы открытым оставили. Тогда он напрямик в мамкину комнату попадет. Никому не узнать, что в доме гость побывал. А мамка не выдаст — это уж точно! Придерживаясь одной рукой за стену, другой он ухватился за резной наличник. Дернул на себя. Сперва легко, потом сильнее. Заперто! Или дерево от дождя разбухло, просело, вот и заклинило? Он попробовал еще раз, но тут внутри, за стеклом, мелькнула грузная тень.

Ничего предпринять мальчишка не успел: в следующий миг стукнула щеколда, ставни со скрипом распахнулись. Вит потерял опору, судорожно взмахнул руками...

И непременно полетел бы вниз, если бы сильные руки не схватили его за запястья, втянув в дом.

— Чш-ш-ш! — приложил палец к губам дядька Штефан, опустив «гостя» на пол. — Не ори! Весь дом перебудишь...

Вит прикусил язык. Быстро окинул взглядом комнату: матери здесь не было. Видать, внизу уложили. Раздумали, хворую да избитую, по лестнице тащить.

Однако Штефан понял его взгляд превратно.

— Обожди стрекача задавать, — щека мельника криво дернулась. — Успеешь. Садись.

Растерявшись от такого поворота событий, Вит едва не сел прямо на пол. Нашарил табурет, пригнулся на самый краешек, готовый в любой миг сигануть в окно.

Второй этаж?! Плевать!

Мельник между тем не торопясь закрыл ставни. Чиркнул огнивом, затеплил свечу в железном держальце. Сел напротив Вита: кровать жалобно застонала.

— Как... как мамка? — глядя в пол, тихо спросил парнишка.

— Оклемается. Секли ее: от сердца. На спину глядеть тошно. Там ее мази в горшочках томились... Пользуем помаленьку.

— Дядя Штефан... Мне б мамку!.. одним глазиком...

— В бега податься решил? Прощаться явился? — безошибочно угадал мельник.

Вит только молча кивнул.

— Увидишь мамку. Потолкуем по душам — и сходим к ней. Спит она сейчас. Едва-едва забылась. К чему будить? Ты мне лучше вот что скажи, убивец: далеко надумал?

Отпираться? зачем? Да и никакой угрозы в сиплом башке Штефана мальчишка не чувствовал. Даже наоборот. Сочувствие и понимание, совершенно несвойственные мельнику.

— Не знаю еще, дядя Штефан. Бродяжить стану. Или в батраки. Или...

Поколебался: говорить или нет? А, была не была!

— Или в разбойники!

Поначалу Вит даже не понял, что мельник хохочет. Штефан делал это беззвучно, стараясь не всполошить спящих. Кряжистое тело мучительно сотрясалось, кровать с отчаянным скрипом ходила ходуном.

— Разбойник! Ну, насмешил! — выдавил наконец мельник. — Дурень ты, как есть дурень!

Мальчишка виновато развел руками: таким, значит, уродился.

— Про разбой забудь, — мельник вновь стал серьезным. — Верная дорога на плаху. А бродяжить — зима на носу. Замерзнешь в поле, и вся недолга. Батрачить... По селам сорванцов вроде тебя пруд пруди. Зачем чужого кормить, когда своих навалом? Знаешь, иди-ка ты лучше в город.

— В город?! — Вит не поверил своим ушам.

— В город, в город. В наш славный город Хенинг. Благо рядом. Был там у меня знакомец, пекарь Латран. Выручил я его однажды. Крепко выручил. К нему пойдешь. В подмастерья проситься. Скажешь: от мельника Штефана из Запруд. Латран не откажет. Понял?

Вит боялся оторвать глаза от половиц:

— Что вы, дядя Штефан! Меня ж стража ловит! Нельзя мне в город!..

— Вот ведь курья башка! — даже удивился мельник. — Да кто из них тебя запомнил? Еще в городе всякую полову искать... На улице встретят, нос к носу: мимо пройдут. В Запруды к нам, может, разок нагрянут, коли не поленятся. Дошло?

— Ага, дядя Штефан! — просиял парнишка. Обжег мельника благодарным взглядом. — Спасибо! Я вам теперь по гроб жизни...

— Ты мне и так по гроб, — сурово оборвал его Штефан. — Сперва до города доберись, Латрана найди. Пекарня его в квартале Булочников. Там спросишь... Да гляди, у кого спрашивать! Шантрапа

враз обманет, облапошит и без штанов оставит. К господам тоже не суйся. Ищи человека мастерового. Люди серьезные, не соврут и гонор тешить не станут. Покажут где.

— Я найду, дядя Штефан! Я...

— Кончай орать. Повтори, чего запомнил.

Вит честно повторил. Мельник слушал вполуха: и так ясно, правильно повторяет. Глядишь, Латран попомнит услугу, приютит мальчика. Парнишка работающий, старательный, в тягость не будет.

— Ну что ж, время. Пошли. Одежку соберем, харчей. С мамкой попрощаешься, — кряхтя и вдруг сильно постарев, мельник поднялся с кровати.

Об убитом мытаре Штефан ни разу не помянул.

Будто не было ничего.

XIII

С мамкой вроде как простился. По сей час в груди щемит. Будто взял кто, зажал сердце меж дверными створками, а потом налег от души. Посидел рядом, за руку подержал. Поглядел на лицо мамкино измученное: лоб складками, губа насквозь прокушена. Дядька Штефан сказал: били — молчала. Ни всхлипа. Одежало подоткнул, чтоб теплее. Будить раздумал. Пусть отсыпается, сил набирается. Когда уходил, чуть не заплакал. Но сдержался. Эх, поймать бы гада, который мамку лупцевал, — и тоже кнутом, кнутом! Или как мытаря...

Вит сам испугался крамольных мыслей. Что — «как мытаря»? Не убивал он никого! Однако закрадывались сомнения. Отчего-то ж мытарь помер! Может, действительно, когда вырывался, в горячке? Нож у кого-нибудь выхватил...

Плохо помнилось: что да как. Мало ли... Или сами стражники мытаря порешили, а на пастуха свалили?!

— ...за Жюстину будь спокоен, — напутствовал Штефан, тихо, чтоб не скрипнула, открывая заднюю калитку. — Выходим. Сколько раз она и мне, и батьке-покойнику спину правила. Отварами пользовала. И вообще... Видать, наш черед настал. Ну, с Богом. Скоро светать начнет, а тебе бы затемно от села убраться. Подальше.

Светать еще и не думало, но небо на востоке осыпалось пеплом. Прав Штефан: пора.

— Не поминайте лихом! Пошел я...

— Удачи!

Места вокруг поначалу тянулись знакомые. Вит безошибочно узнавал их даже в серой мгле. За пригорком — излучина Вешенки. Обрыв, с которого навернулся в воду Ганс-Непоседа. Впереди, левее — Лысый бугор. Оттуда Вит глядел, как у войтова дома кого-то кнутом стегают. Не знал тогда, что это мамку в кровь лупят.

А знал бы?..

Дядька Штефан, по жизни скупердяй, сегодня расщедрился: кожух дал в дорогу, шапку, штаны с рубахой. Харчей на пару дней, ножик. И — подумать только! — даже денег не пожалел! Своих денег у Вита отродясь не было. Поэтому горсть медяков, выданных мельником, казалась целым богатством. Может, оно и к лучшему? — сладко екало сердце в груди. Одет, обут, при деньгах, в город иду. Подмастерьем стану. А так сидел бы всю жизнь в Запрудах, овец пас да затрещины огребал...

На душе было смутно. Тревога пополам с радостью. Летом, когда без малого год минет, велел мельник на Хенингскую ярмарку наведаться. Сам он туда приедет: мукой торговать. Только лезть к нему да здороваться строго-настрого запретил. Ежели уляжется, даст он Виту знак особый: возвращайся, мол. А будет гроза висеть — молча в сторону отвернется. Значит: на следующий год, на том же месте.

Уж за два-то года точно утихнет! Вырастет малец, никто его больше не узнает...

Когда прощались в доме, мельник Вита за плечи взял. Долго в глаза глядел, вроде соринку высматривал. После вздохнул тяжело, отвернулся.

И в сторону, глухо:

— Может, и правда, брат ты мне. Сводный. Не знаю. Другое знаю: скотина я грязная. В грехах, как в репьях. А все едино: не чужой ты мне человек. Мамка твоя — не чужая. Даст Бог, свидимся...

И Святым Кругом на прощанье осенил.

При этом воспоминании у Вита потеплело на сердце. Все-таки у хороших людей они с мамкой в доме живут! И дядька Штефан, и Лобаш, и... Может, они и вправду со Штефаном братья? Сводные? Мамка отмалчивалась, но она вообще о прошлом рассказывать не любит. Ничего, вернусь через год — расскажет. А пока...

Перед Витом лежал целый мир. Где непременно сыщется место и ему. Он ведь до сих пор даже в соседнем селе ни разу не бывал. Ага, вот и развилка. Слышал от знающих людей: левая дорсга выводит на Хенингскую Окружную. Правая — на Хмыровцы, где проживает строптивая девица, невеста-отказчица бондарева сына.

С минуту постояв на распутье, парнишка, словно окончательно решившись, залихватски ударил шапкой о колено. Зашагал к городу, бодро насвистывая на ходу.

Светало. Медленно, с неохотой, но — светало.

Что ж, кажется, он успел уйти достаточно далеко от села.

...Часа через три хлынул ливень. Промозглый, осенний, колючий. Кожух держался недолго: вскоре промок насквозь. В башмаках хлюпало. Штаны обвисли, сырая холстина липла к ногам, мерзко чавкая: будто кожу сожрать норовила. Ноги скользили по раскисшей дороге. Вита начало знобить, но он

упрямо шел вперед, дрожа и хлюпая носом.. Хенинг рядом! Он дойдет...

Не дошел. За миг до того, как на него *накатило*, стремительно подступила дурнота. В ушах кто-то охнул, тело сделалось жестким, деревянным. «Столбун?! — успел изумиться Вит. — Подряд?..»

Потом была канава.

XIV

— Скиталась осень в слепом тумане —
Дождь, и град, и пуста сума...
Тропа вильнет, а судьба обманет —
Ах, в пути б не сойти с ума!..

Можно было подумать: приближается бродячий шпильман, гораздый тешить песнями щедрых выпивох. Сойка засуетилась на ветке клена. Больше всего на свете она любила кружить над шпильманами, стрекоча в такт. Поэтому, когда из-за поворота дороги, тяжело шлепая сандалиями, выбрел монах — обиде сойки не было предела.

Подпрыгнула.

Захлопала крыльями.

А монах шел себе и шел, вплетая в сухой шелест дождя:

— Иди, бродяга, пока идется —
Дождь, и град, и пуста сума...
Луна упала на дно колодца —
Ах, в пути б не сойти с ума!

Говоря по чести, святому отцу больше полагалось бы горланить что-нибудь духовное. О высоком. На благой латыни. А не эту бродяжью отходную по горестям бренного мира и тяжелой судьбе подонков общества. Судя по сандалиям, он вполне мог принадлежать к «босякам», например, к братству св. Франциска, но сказать определеннее не получалось. Мешал плащ с капюшоном, скрывающий рясу. А темно-коричневое оплечье, равно как и крепкий

посох из ясеня, могли принадлежать любому, отказавшемуся от мира.

Приблизясь к клену, монах вздрогнул: дура-сойка заорала невпопад над самой головой. Споткнулся. Нога поехала, обещая вывих колена, и святой отец с воплем «Credo!»¹ шлепнулся в грязь. Падая, он изо всех сил спасал дорожную суму, даже рискуя крепко расшибиться. Было видно: сума велика, но весит мало, как если бы путник хранил в ней запас накопленных добродетелей. Сойка, пыжась от счастья, притворялась трещоткой — взлетев, она молнией носилась над упавшим человеком.

— Кыш, проклятая!

Удостоверившись, что сума не пострадала, монах облегченно вздохнул. Завозился в луже, оперся на посох, восстанавливая равновесие; еще стоя на четвереньках, машинально скользнул взглядом по обочине.

Встал.

Хромая, подошел к канаве.

— Грехи черствеют вчерашним хлебом —
Дождь, и град, и пуста сума...
Хочу направо, бреду налево —
Ах, в пути б не сойти с ума!

Последний куплет он скорее прошептал, чем спел, разглядывая скорченного мальчишку. Сбросил капюшон, подставив дождю плохо выбритую тонзуру. Дождь словно испугался: раз-два щелкнул по благословенной лысине и унялся. Сойка и та заткнулась. А монах все разглядывал человеческий зародыш в мирской грязи: колени подтянуты к подбородку, тело покрыто заскорузлой коростой. Лица не видно. Мертвый? живой?

Тяжко вздыхая, монах полез в канаву.

Парнишка оказался сущим воробышком: когда святой отец попытался взять его на руки, то едва не

¹ Верую! (лат.).

упал опять, от неожиданности. Вроде бы только и весу, что мокрый кожух да котомка. Сунувшись щекой к лицу бедолаги, монах уловил слабое дыхание. Живой. Господь уберег от плохой гибели. Перекинув суму назад, стал выбираться из канавы с мальцом на руках. От движения плащ распахнулся, открыв грязную, некогда белую рясу, подпоясанную веревкой.

Вервие повязано особым образом: такой принят среди братьев, соблюдающих устав Цистерциума.

— Хочу направо, бреду налево —
Ах, в пути б не сойти с ума!..

Вскоре цистерцианец скрылся из виду.

XV

В харчевне Старины Пьеркина былолюдно. Сам Пьеркин с женой сбились с ног, разнося кружки, украшенные шапками пены, капусту, тушенную с тмином и майораном, а также жаренные в гречишном меду колбаски-пузанчики. «Звезда волхвов» славилась кухней по всей Хенингской Окружной. Хозяин был одолеваем приступами набожности, что в итоге привело к столь странному для харчевни названию, и очень сердился, когда посетители — по ошибке или из пустого балагурства, — переименовывали заведение в «Звезду волков». Такой записной остряк вместо колбасок мог любоваться разве что костлявым кукишем, на какие Пьеркин был мастак, а о пиве следовало забыть сразу.

Разве что скисшее поднесут, в отместку.

Сегодня дождь согнал под крышу тьму народа. Отхлебывали помаленьку ячменного, с усердием работали крепкими челюстями. Чесали языки, давно забыв, с чего разговор начался и куда свернул минутой назад. Тоскливо ныл варган — подкова с приклепаным язычком, — выводя незатейливую мело-

дию. Оружье, грудой сваленное в углу, топорщилось клинками, остриями, тупыми обухами: точь-в-точь дохлая саранча-великан из Иоганнова Откровения. Временами кто-нибудь запускал в постылое железо хребтом обглоданного карася. Считалось хорошим тоном не на особой стойке сию пакость располагать, а вот так, кувырком. Надоело, спасу нет. А куда денешься? Оставишь дома, не возьмешь в присутственное место — доносчик живо сыщется. Ему, брехливому, десятина со штрафа. По закону. Иные и не видели, не слышали, а доносят. Курвы противные. Уж лучше эту дрянь, что в сословной грамотке прописана, в нужник за собой таскать неукоснительно, чем после отдуваться...

— Старина! Дюжину поссета!¹

— Нынче обмолот — курам на смех! Дед Тонда сказывал: бывало...

— ...а цыцки! а гузно! Аж оторопь берет: красота-то какая!..

На монаха с дитем под мышкой внимания поначалу не обратили: чего зря башкой вертеть? Пиво, оно степенности требует. Да и сам цистерцианец мало был расположен к общению. Тихо опустившись на угловую лавку, кивнул Старине Пьеркину. Хозяин чутко затрепетал ноздрями, будто гончая, взявшая след. Сквозняком прошмыгнул через дымгвалт; сдернул засаленный колпак. Небось пред епископом, заведи случай прелата в «Звезду волхвов», Пьеркин склонился бы менее почтительно. Помимо набожности и редкой сквалыжности спорящих между собой за Пьеркинову душу, владелец харчевни имел две привычки: добрую и очень добрую.

Добрую: никогда никому ничего не давать в долг.

А очень добрую: всегда с лихвой платить собственные долги.

¹ Горячий напиток из молока, смешанного с пивом или вином.

Позапрошлой зимой, в «Марьином месяце»¹, когда хозяйку намертво прихватил «цыплячий живчик», никто иной, как вот этот отец-квестарь (дай ему Бог всякого-якова!) отпоил больную тайными снадобьями. Воняло, надо сказать, изрядно, хоть святых выноси, зато здоровье быстро пошло на поправку. Даже вечный кашель куда-то сгинул. Расцвела хозяйка майской розой: румянец, дородность, ночами печку топить ни к чему. С того дня, обычно скаредный по самые пятки, Пьеркин не брал с монаха ломаного гроша за харч-питье.

Истреби благодетель все запасы подчистую: ни-ни.

— Отец Августин! Кто это с вами? Ах, горе-то какое!..

— Не кричи, — попросил монах, шурясь.

Ветер оголодавшим волком завывал в печной трубе, мешая чаду покинуть харчевню. Отовсюду ползли сизые пряди, понуждая к кашлю. Так и угореть недолго...

— Лучше неси жбан дымника, на перце. И сухое что-нибудь: переодеть.

Пьеркин крикнул: его щедрость подверглась серьезному испытанию. Бельишко, оно, знаете ли... Но, вспомнив несомненную пользу от исцеленья супруги, сдался. Проводив хозяина глазами, цистерцианец начал раздевать мальчишку. Донага. Вещи упали к двери мокрой грудой. На длинной лавке места хватало: едва Пьеркин вернулся с крепчайшим дымником, а его жена приволокла кучу сухого старья, монах застелил кудлатой овчиной доски. Уложил спасенного на живот. Макая ладони в жбан, принялся растирать щуплое тельце. Несколько взглядов искоса мазнули по святому отцу, но вопросов не последовало. Местные рождались с зарю-

¹ Январь считался католиками «Месяцем Марии» в честь Богородицы.

ком: больше молчишь — дольше живешь. Решил отец-квестарь чужую душу спасти? — его забота.

За труды воздастся, аминь.

Кое-кто из собравшихся, как и Пьеркин, знал за собой должок пред этим монахом, большим докой по части целебных зелий. Посему не торопился выставляться гвоздем из скамьи: не пришлось бы помогать, деньгами или чем еще. Спросит святой отец — дадим, как не дать. Долг платежом красен. А набиваться впопыхах...

Ну его.

Цистерцианца мало беспокоили чужие опасения. От работы он взопрел, пар вздымался над плащом, который монах снять забыл или не захотел. Суму задвинул ногой под лавку, туда же последовала котомка найденыша. Кожа ребенка под руками была сухой, твердой, напоминая панцирь жука-рогача. А еще: холодной. Очень холодной. Тем не менее перцовый дымник впитывался, будто ливень в истрескавшуюся от засухи землю. Разогнуть скрыченные руки вышло с трудом: монах боялся при нажиме сломать хрупкую кость, а иначе не получалось. Перевернув спасенного на спину, цистерцианец на миг прекратил работу. Долго, неприлично долго разглядывал низ живота мальчишки. Руки святого отца с удивительной для монашьей братии сноровкой скользнули по щуплому телу.

Тронули, нажали.

— Девка? — спросил из-за спины Пьеркин, ошалело моргая. И сам себе ответил:

— Не-а... парень...

Монах кивнул. Детородный уд вкупе с тестикулами были на месте. Но, сморщенные от холода, целиком втянулись под лобковую кость. Будто улитка в раковине: не сразу заметишь. Сейчас, когда тело стало отогреваться, тайные уды мало-помалу начали выбираться наружу. И задышал бедолага чаще, со всхлипами. Будет жить. Хотя не всякая жизнь — жизнь.

— Куда ж ты шел, заморыш? — тихо спросил цистерцианец, не надеясь на ответ.

Укутав ребенка в Пьеркинов дырявый кафтан, достал из-за пазухи коробочку. Смазал беловатой, остро пахнущей мазью виски. Прикрыл найденыша кожухом, высохшим в тепле харчевни. Все это время мурлыча под нос:

— Вкус подаянья горчит полынью —
Дождь, и град, и пуста сума...
Я кум морозу и шурин ливню —
Ах, в пути б не сойти с ума!

Заезжий коробейник, явно впервые в здешних краях, расхохотался басом. Видать, по душе пришелся бравый квестарь. Подхватил от своего стола, желая пошутить:

— Монах страшал меня преисподней —
Мор, и глад, и кругом тюрьма!
Монаху — завтра, а мне — сегодня!
Ах, в пути б не сойти с ума...

И заткнулся в полной тишине. Потому что цистерцианец скинул наконец плащ. Чад колебался сильным маревом, пахло солодом, нитье варгана стихло, а завсегдатаи «Звезды волхвов» катали на языках гулкое молчанье, после которого иногда начинают бить дураков смертным боем. Сдерживало другое. Даже те, кто знал отца-квестаря, кто встречался с ним, — а таких на Хенингской Окружной было большинство! — никак не могли привыкнуть к его лицу. Обычное вроде лицо. Только вместо волос — плесень бесцветная. Стрижен «в скобку», на макушке тонзура выбрита, а все едино: не голова — репа подвальная.

Еще глаза.

Карие лезвия: полоснут наискось — жилы вскроют.

Фратер¹ Августин, отец-квестарь цистерцианской

¹ Брат (лат.).

обитатели, вытащил суму из-под лавки. Равнодушен к багровому коробейнику, тщетно пытавшемуся стать невидимкой, окинул взглядом харчевню. Выполнив долг по отношению к замерзающему мальчишке, теперь он собирался заняться привычным делом.

Продажей индульгенций.

Аббат монастыря знал: выручка фратера Августина несравнима с выручкой других квестарей. Великая польза обитатели от талантов сего брата, подкрепленных опытом его многотрудных лет. Но, даже будучи посвященным в тайну мирской жизни фратера, аббат до сих пор жалел, что тот избрал стезю простого квестаря, отказавшись от поездки в Авиньон и защиты теологического диссертата. Такой человек достоин большего.

Впрочем, аббату иногда казалось: они серьезно расходятся с фратером Августином в понимании «большого» и «меньшего».

XVI

Вит ничего не запомнил. Совсем ничего.

Сперва было очень жарко. Пот градом, в затылке колотится злой птенец: наружу хочет. Вот-вот скорлупу — вдребезги. Хотелось смеяться, жаль, смех выходил кашлем. Да, жарко. Очень. А потом сразу: холодно. Ноги шли-шли, отказались. Катишься кубарем в мерзлую стынь: голова — ледышка, сердце — сосулька, тело — сугроб. Рассудок (душа?) забился в щель, носу не кажется. Спи, разбойник. Сплю. Несут куда-то. Зачем? мне и здесь... Горячее, пахнущее солнцем, проникает внутрь, варом растекается по жилочкам. В висках щекошет белый бесенок. Сон вяжет ресницы, заплетает глаза паутиной. Сон добрый, в нем жив мытарь, а мамка коржи печет...

И обвалом, наотмашь: нет больше сна.

Утро.

Легко соскочив с лавки, Вит огляделся. Тело переполняла удивительная свежесть: казалось, впору наперегонки с зайцами. Вчерашние жары-холод стинули без следа. Сброшенный кожих валялся на полу, за столами храпела троица пьянчуг: не достало сил покинуть харчевню на своих двоих. Котомка оказалась на месте, ничего не пропало. Только одежонка запропастилась: на мальчишке был дра-ный кафтан, явно с чужого плеча. Колеблясь: бросить все и удрать как есть или остаться? — Вит затоптался на месте.

— Двужильный ты, сын мой...

У лестницы, ведущей на второй этаж, стоял монах. Шурясь, разглядывал мальчишку: пристально, задумчиво. Словно неведому зверушку.

— Голова кружится?

— Не-а...

Отца-квестаря, временами проходившего через село, Вит вспомнил почти сразу. Ага, еще святой отец у дядьки Штефана хлебцем разживался. Предлагал купить какую-то штуку. Дуль... дульгацию. Точно, дульгацию. От которой дядька Штефан ночью прямиком на адову сковородку сиганет. Вит еще хотел обождать, дослушать: на кой мельнику приплачивать, чтобы во сне зад поджарить? — да мамка заругалась, прогнала.

— И ноги ходят? — допытывался монах.

Вместо ответа Вит подпрыгнул. Сейчас небось начнет Виту дульгацию вкручивать. Думает, на ду-рачка попал. Так пусть видит: ноги ходят, прыгают и даже бегают. Другим сковородки предлагай, святой отец. Уловив вызов в глазах мальчишки, фратер Августин улыбнулся каким-то своим мыслям. Улыбка сложилась странная: вовсе не веселая. Так, дернулись уголки рта. Ямочки на щеках, сизых от щетины. Любой другой на месте этого бродяжки...

Квестарь присел на ступеньку. Покачал головой.

Нет, лицо спасенного ничего не оживило в памяти монаха: мало ли их, огольцов, встречалось в странствиях?

— Куда шел-то?

— В Хенинг, святой отец.

— Бродяжишь?

— Не-а... К пекарю Латрану, в подмастерья. У меня к нему словцо заветное...

— Проводить? Я в обитель возвращаюсь. Значит, через Хенинг и пойду. Покажу, где квартал Булочников.

Прежде чем согласиться, Вит подумал: судьба милостива. Кому придет в голову, что разбойников святые отцы провожают? Никому. Вроде как колпак-отворот на дороге нашел: покрой темечко, мимо любого шагай бестрепетно...

— Значит, все в порядке? — напоследок спросил фратер Августин, нюхая собственные ладони. До сих пор пахнут дымником.

И сам себе тихо ответил:

— Выходит, что так.

XVII

Ближе к полудню Вит понял, что чувствует пичуга, добровольно идя в пасть змею.

Восторг пополам со сладким ужасом.

Внезапное летнее солнце упало с неба, когда Хенинг встал навстречу. Драконом на холмах, сторожем немислимых сокровищ, распахнувшим пасть, властно приказывающим: иди! съем! Василиском, чей взгляд превращает тело в камень, а душу — в песок, одержимый лишь одним желанием, превыше всего: иду! навстречу! Давящий сумрак стен, зубцы башен, позлащенные кольца на куполах соборов и церквей, шпиль ратуши, переключка лучников с «воробышков» — малых сторожевых башенок; вер-

ница телег, повозок, пеших и всадников, бродяг и богомольцев, идущих в гости и возвращающихся домой, — людской поток вливался в чрево Хенинга, и Вит, захваченный общим порывом, подумал, что жизнь могла пройти даром.

Знал бы заранее, еще в прошлом году прибил бы мытаря.

Лишь бы сюда попасть.

В воротах никто из караула, увлеченного сбором пошлины, не задержал отца-квестаря с мальчишкой. «К Латрану! пекарю!..» — с замиранием сердца бросил было Вит, когда чей-то взгляд остановился на нем. Ответа не дождался. Будь сын Жеськи-курвы постарше да поопытней, сразу сообразил бы: в случайном взгляде плескалось иное. Брать с нотариуса-лиможца, решившего открыть практику в Хенинге, два флорина въездного? — или не наглеть, обойдясь флорином и шестью патарами? Колеблясь, страж загадал: если вон тот сопляк дойдет до коновязи за пять шагов, значит, платить нотариусу со скидкой! А если шагов выйдет семь или вовсе девять... Жаль, сопляк вдруг споткнулся. Брякнул какую-то дурость. Уцепился за подол монашьего плаща («Здоровьица, отец Августин! Удачно ль рас-торговались?...»); к коновязи не пошел, а свернул за квестарем к площади Валентинова Дня.

От расстройства страж требовал с нотариуса два флорина с четвертью.

Получив без заминки.

А Вит уже был проглочен драконом. Узкие, загаженные лошадьми переулочки казались ему райским садом. Трехэтажные дома с балконами — дворцами. Кухарка, выплеснувшая из окна ночной горшок, — королевой. Щеголь в распашном камзоле, проклинаящий кухарку, — ангелом Господним. Подросток, чьим заработком была переноска дам через сточные канавы, — идеалом. В глазах рябило: бобровые шапки писцов, бляхи ремесленников с

гербом цеха, ярко-красное платье лекарей-хирургов, накидки судейских, капоры и «позорные» шнуры на рукавах публичных женщин, рогатые шляпы авраамитов, белые фартуки поваров...

Чуть-чуть придя в себя, Вит вдруг догадался: что его беспокоило все время, соринкой в глазу.

— Святой отец! Святой отец, ихнее оружие! У нас в селе... у дядьки Штефана, у Лобаща...

Фратер Августин понимающе кивнул:

— Крестьяне, малыш, — низшее сословие. Вам в грамотке древковое оружие прописывают. Самое большое и с виду страшное; согласно Аугсбургскому «Новому уставу о сословиях». Статья I (X) «О крестьянах», абзац второй: «Затем мы хотим, дабы...» А это Хенинг, сын мой. Народ разный, и прописи разные. Для удобства различения. Тот же «Новый устав»: статьи II (XI) «О горожанах и городских обывателях», III (XII) «О купцах и промышленниках», IV (XIII) «О горожанах, состоящих членами городского совета, живущих своими доходами»...

Цистерцианец оборвал рассказ. Увлёкся ты, скромный квестарь. С тем же успехом можно читать мальчишке «Directorium vitae humanae» на латыни, с комментариями Веччелио Ломбардца.

— Смотри, сын мой: у ремесленников в грамотках — мечи. Легко определить: видишь фальшон? Ну, кривой такой палаш, с большим эфесом? Значит, кузнец пошел. Длинный и обоюдоострый павад — шляпник или перчаточник. Короткий тук с пере-кладиной — ювелир. Может быть, меняла. Тяжелый бракемар — носильщик или кучер. Поймают с нечищеным или ржавым, плетей от души всыплют. Раз низок и слаб, должен соответствовать. Впрочем, многие и на плети согласны, лишь бы свое небрежение доказать. Будто от этого их рыцарство наружу явится...

Вит внимал с открытым ртом. Это ж сколько

всякой гадости напридумано, чтобы простого человека издали распознать?

— ...у судейских, цеховых синдигов и членов магистрата — кинжалы. Так же у лекарей и цирюльников. Для облегчения. Слугам прописаны палицы. Булава «массюэль», граненая — слуга дворянина. Булава «квадрель», с крыльями — привратник цехового старшины. Шипастый «кастет» — это, значит...

— А господа?! Взаправдашние?!

Вит никогда не видел *настоящих* господ. Сейчас святой отец ответит, и решится вечный спор сельской ребятни: бывает или нет? Врали шпильманы, изредка проходя через Запруды, или верно сказывали?! Честен был горстяник, о жизни в Хенинге мельнику говоря, или байки складывал?!

— А взаправдашние господа, сын мой, то есть дворяне, рыцари и титулованные особы, безоружны есмь. Согласно «Зерцалу Обряда», как высшее сословие. Ибо сильны родом своим, честью дворянской, и всего, что Господь дал Адаму, им достаточно для защиты и нападения, как скороходу достаточно ног его без позорной нужды в костылях. Это про вас, худородных, сказано Фридрихом, архиепископом Зальцбургским: «...если же узнают, что кто-то в подражанье знати не носит копье, меч или другое оружие, то он лишается милости и должен быть задержан, как человек опасный...»

В полном обалдении Вит принялся. Мудреные словечки квестаря, цеплявшиеся друг за дружку без видимого смысла, разом вылетели из головы. Какое «Зерцало Обряда»?! какой архиепископ?! — если в воздухе отчетливо запахло царством небесным.

Сдобой.

Пышками, калачами, рогаликами.

— Смышлен твой нос, сын мой. Вернул нас, неразумных, на стезю истины.

Фратер Августин усмехнулся собственному красноречию. Гордыня. Первый смертный грех. Перед сельским разиней знатоком выставляться?

Прости, Господи, меня, грешного...

— Квартал Булочников за углом. Ну, пекаря сам сыщешь? Или помочь?

Вместо ответа Вит припал поцелуем к ладони монаха.

— Из обители снова в мир пойду, о тебе справлюсь. — Узкие пальцы начертали круг благословения, осенив мальчишеские вихры. — Латраном, говоришь, пекаря зовут?

Оправив плащ, цистерцианец перекинул суму поглубже за спину.

— Святой отец! — наконец решился Вит задать вопрос, который давно жег ему язык. — А что у вас в суме? Эти... дульгечи?! Со сковородками?!

— Индульгенции, — без малейших признаков насмешки поправил фратер Августин. — Со сковородками. Жизнь, сын мой, удивительная штука... Иногда только на сковороде и поймешь. А еще у меня в суме — книги. Любимые книги. Знаешь, что это такое: книги?

— Не-а, — честно ответил Вит.

XVIII

Дураку ясно: булочники должны быть толстыми. Складки на затылках, колыханье животов над поясами. Румяные щеки — бурдюками. Еще бы! — на чистых блинах-то, на крупитчатых... Вит разочарованно бродил от пекарни к пекарне, от дома к дому, от лавки к лавке. Всякого худого человека обходил стороной: этот точно не знает, где живет пекарь Латран. Который самый жирный. А двое толстух взаправду не знали: переглянулись, начали хихикать. В Вита пальцем тыкать. И чего такого смешного углядели?

Хрюшки...

Мало-помалу восторг угасал. Ну, город. Неделя-другая, и это Вит уже будет пальцами тыкать. Насмешки строить. Вечный голод давал о себе знать, но просить было стыдно, а развязывать котомку, чтобы поджесть остаточки, — вдвое стыднее. Он не нищел. Он ищет пекаря Латрана. Сейчас найдет. Вот смелости наберется, спросит раз-другой и найдет. Станет подмастерьем. Один калач печется, второй в рот просится, один в печь, другой — в рот...

— Ты! Ты! ты! ты! ты...

Первое, что бросилось в глаза отскочившему Виту: богемский гугель на голове дурной девки. Точь-в-точь как у Шлоссерговой супружницы: с пелериной, с насечкой по краю воротника. Гугель сидел на дурехе косо, почти закрывая левый глаз. Платье из приличных (Вит лучшего отродясь не видывал!), но часть крючочков расстегнулась, а подол топорщился, будто на морозе задубел. Девке, похоже, без разницы: вон, зенки выпучила.

Плюется:

— Ты! Ты, ты... Я тебя видела!

Видела она. В пруду с лягушками. Мальчишка отступил на шаг. Шиш их знает, городских. Может, тут и с ума-то, не как везде, спрыгивают. По-особому. Безумных Вит опасался; даже когда друзья бегали на юрода Хобку глядеть — не ходил. Чего там глядеть?

— Ты! — Девка вдруг присела раскорякой. Точно, булочница: жирная. Ноги короткие.

Спросить про Латрана? Ага, она тебе укажет путь-дорожку...

— Где твоя шапка?

— К-какая? к-какая ш-шапка?!

Дурная девка прищурилась. Затараторила сорокой:

— Шапка остроконечная, верхушка загнута назад, окружена золотым ободком о четырех зубцах..

Прикусила язык: больно, аж слезы навернулись. Взгляд просветлел, сверкнул пониманием.

— Ой, что это я! Ты ж мытаря убил! Тебе ж прятаться надо!

Вит сразу все понял. Бежать надо, да бежать некуда. Ищи, парень, пекаря Латрана, пекарь тебя живо в тюрьму сволочет! Вона, весь Хенинг знает, кто мытарев убивец! Первая же безумица, и та... Быстро повернувшись, он наладился было делать ноги, подальше от горластого пугала — и ткнулся лицом в чей-то живот.

Весьма неприветливый живот, надо заметить.

— Ты, селюк, на месте стой, — густо посоветовали сверху. — На месте стой и слушай, чего тебе Глазунья говорит. А то пятки выдерну, в ухо засуну.

Двое здоровенных парняг скучали перед Витом, загроживая дорогу. Таких на мельницу, все мешки за час перетаскают. Который советчик, тот уже молчал. А который и раньше молчал, тот из пальцев заковыристую мысль скрутил. Повертел мыслью, показал: чего он тоже селюку повывернет, если пяток на его долю не хватит.

Немой, значит.

Вит сгоряча решил: вот они — господа. Взаправдашние. О ком шпильманы поют. Поскольку оружия позорного при них не наблюдалось. А там приметил: под плащами таят. Дрын дубовый да звезда на цепи. Удобно прятать: вроде как нету, вроде как благородные мы по самое не могу.

Надоело немому ждать. Протянул лапищу, развернул селюка.

К себе задом, к девке передом.

Сопротивляться Вит раздумал. Во-первых, уж больно вид у парней серьезный был. Да и мытарева памятка зудела: убивец! убивец! — а как убивец, с чего убивец, то неведомо.

Лучше стоять смирно.

— Бежим! бежим! — плевалась девка, гусыней

топчаь на месте. — Бежим! я спрячу! я знаю!.. Юлих, веди на Дно, веди, Юлих!..

Дурачок Лобаш, когда быстро говорить пробует, так же плюется.

Лапа немого Юлиха, остававшаяся на Витовом плече, сжалась клещами. Будто за злым сравнением в щелку подсмотрела.

— На Дно — это верно, — согласился второй, который советчик. Сдернул берет, в затылке почесался. — Ты, Глазунья, следом иди. А мы селюка за уши...

— Обидишь его, — вдруг твердо сообщила девушка, — я тебя, Магнус, со свету сживу. Ты меня знаешь.

— Знаю, — без малейшей обиды кивнул здоровила Магнус. Плечами шевельнул. — Знаю я тебя, Глазунья. И ты меня знаешь. Чего Добряку Магнусу селюка-хилыка обижать...

Оглянулся Вит: квартал Булочников словно вымер. Попрытались, что ли? Лишь крючок какой-то к стене плечом: кафтанишко куций, левая половинка красная, правая — синяя. Скучно крючку. И еще: дуру-девку Вит и не разглядел-то, не запомнил. Напротив стояла, а зажмурься, начни вспоминать: один гутель богемский на ум придет. С пелериной, с насечкой. Видел девуку, а не видел.

Город, одним словом.

Чужое место.

XIX

Крючком Бенъямин Хукс стал давно. С детства. Когда сопляки Золоченой и Малоимущей улиц, наслушавшись взрослых сплетен, делились на две оравы, желая поиграть в «Войну хуксов и кабельяусов»¹, — тощий Бенъямин всегда хотел быть кабе-

¹ Война хуксов («крючков») и кабельяусов («трески») — конфликт двух группировок нидерландского дворянства.

льяусом. Из принципа. Из врожденного чувства противоречия. И всегда его желание оставалось несбыточным.

Ибо мальчишке из семьи Хуксов, сами понимаете, одна дорога: в «крючки».

Отец Беньямина, авраамит-отреченец Элия Шухман-Хукс, сменил веру по требованию тестя: иначе строгий ростовщик Галеаццо Монтекки отказывался выдать за него свою Розалиндочку, при всем уважении старика Галеаццо к семье Шухман-Хуксов и нежным чувствам детей. Впрочем, приняв Святое Кружение в церкви Фомы-и-Андрея, что на площади Трех Гульденов, в душе Элия остался предан закону праотцев. По субботам закрывал меняльную лавку, вкушая гусака, фаршированного черносливом. Добрыми делами кропотливо умножал запас «Света Духовного», надеясь на хороший процент. Молился в тайной комнатке, дабы в следующем рождении сохранить нынешний статус, не скатившись по лестнице *«Гилгул Нешамот»* до уровня скотов. Тихонько мечтал о приходе Спасителя с пальмовой ветвью в руке.

И очень сожалел вместе с женой, верной католичкой, что их сын растет безбожником.

Чистая правда: в этой жизни Беньямина Хукса интересовала только красивая одежда, а жизнь вечная не интересовала вовсе. В любой из ее трактовок. Иное дело: узкий рукав с буфами. Стоящая вещь. Или берет с галунами. Башмаки опять же: шнурованные, с колокольцами. Впрочем, это отнюдь не означало, что молодой человек намерен стать портным или башмачником. Одежду, обувь и головные уборы он желал носить, а никак не изготавливать. Однажды, в возрасте одиннадцати лет, он увидел нотариуса из ратуши, зашедшего в меняльную лавку отца.

Вернее, должностную шапку нотариуса: бархат, отороченный мехом выдры.

С этого часа младший Хукс пропал. На радость

родителям. Ибо вслух изъявил готовность учиться грамоте, счету и веденью дел, дабы в будущем обрести право на такой же головной убор, достойный ангелов.

День, когда он получил от магистрата вожделенную шапку, стал черным вдвойне. Во-первых, за истекшие годы Бенъямин понял: положение писца при нотариусе, даже с перспективой самому рано или поздно стать нотариусом — дело скучное, мало-прибыльное и выгодное единственно дурацкой шапкой, выдаваемой раз в год за счет казны. Детская мечта обернулась подлым обманом, и годы потрачены зря. А во-вторых, его отец в этот день узнал на собственной шкуре, что значит *«banka rotta»*, то бишь «расколотенная скамья», поскольку разоренные хенингцы в гнев сломали меняльный стол и скамейку Элии, вынудив семью *банкрота* покинуть город.

Бенъямин Хукс остался.

Втайне он даже рад был лишиться обременительных родичей, поскольку дюжина назойливых братишек и сестер внушала мало теплых чувств, а отец с матерью, еще прошлой зимой лишаась возможности поддерживать старшего деньгами, надоели до почечных колик. Тем паче наклеывалось дельце, чреватое покупкой уймы новых плащей, шляп и кафтанов с разрезами. Так, пустяки. В одной подписи надо было аккуратно стереть две буквы, заменив их другими, весьма похожими. За каждую букву заказчик платил, как за пару хороших быков.

Хукс стер.

Заменил.

И чудом избежал тюрьмы.

Шапка с выдровой оторочкой осталась в прошлом, вместе с должностью при нотариусе (сам ушлый нотариус был задушен в переулке доброжелателем); старые знакомые перестали раскланивать-

ся при встрече, фамилия и имя писца-неудачника внезапно выветрились из памяти окружающих, будто отец увез их с собой в Палермо, на мамину родину — и Бенъямин Хукс навсегда стал просто Крючком.

Камнем упав на Дно.

Три года он ждал подарка судьбы. Быть не может, чтобы эта стерва походя забрала все, больше не вспомнив о падшем Крючке. Перебиваясь случайными заработками, часто был близок к переезду в Палермо: добраться, пасть в ноги отцу, отогреться в материнских объятиях. Удерживала гордыня. Кроме того, покаяние уж точно лишало красивой надежды на красивую одежду (невольный каламбур!) в будущем. Блудному сыну приличествует скромность. А скромность не входила в число Крючковых добродетелей. Однажды, совсем отчаявшись, он едва не вступил в общину тюрлюпенгов — сектантов, отрицавших святость брака и обвинявшихся в свальном грехе. Гульнуть напоследок, в стыде и сраме, а там хоть трава не расти. Но вовремя опомнился. Вторая жизнь — враки (в последнем Крючок был уверен), а эта еще не закончилась. Еще запыхает рассвет удачи.

Он ждал, как ждет рыбак в лодке: тишина, рябь на воде, и вот — трепет поплавка.

Он дождался.

В Хенинге появилась Матильда Швебиш, нищая бродяжка по прозвищу Глазунья.

XX

«Следом» Глазунья идти и не подумала. Девка уверенно вышагивала впереди, время от времени оглядываясь на Вита: не отстал ли? Всякий раз повторяя: «Не бойся, мы тебя спрячем!» Ага, отста-нешь тут, ежели сзади два таких лба топают!.. Ка-

пелька жути примешивалась к растревоженному любопытству, обостряя чутье. Вит уже смекнул, кто такие Глазунья и пара ее угробищ: разбойники! Взаправдашние. По коим плаха горючей смолой плачет. Прознали откуда-то, что некий Вит, мытарев убивец, к ним в шайку собирался, — вот сами его и нашли! Дядька Штефан отговорил глупого, а они все одно — сыскали. Мало ли, что у них девка с придурью над парнями верховодит?! — всяк слышал про Вдову-Кровосечницу или про Жанку Темную! Тоже блажные были, аж по гузно!

Однако Глазунья на знаменитых разбойниц походила мало, и Вит ее нисколько не боялся. Особенно уразумев: не безумица она вовсе. Дуреха полумная. Навроде Лобаша.

Совсем другое дело.

Через два-три поворота окончательно вылетело из головы: в какой стороне остался квартал Булочников. А-а, пропадай, жизнь молодая! В конце концов, Глазунья прятать ведет! — вот пусть и прячет. Положившись на случай, мальчишка стал пялиться по сторонам. Путаница узких улочек, на дно которых лишь где-нигде с трудом пробивается солнце. Чисто тебе Вражьи Колдобы! Только под ногами не глина, а деревянный настил! Это ж сколько досок в грязь бросили! Вскоре мостовая из деревянной перешла в булыжную. А когда по булыжнику прогрохотала запряженная шестерней карета — золоченый герб на дверце, окошко затенено синевой што-рок, — Вит вообще застыл, разинув рот. После еще долго оглядывался, цокая языком.

Между прочим, оглядываясь, он заприметил памятного Крючка. Разноцветный щеголь тащился за ними, спотыкаясь о меч-переросток совершенно позорного вида, висящий на поясе. К Виту вернулось беспокойство. Соглядатай?! Небось тоже знает про мытаря?! Да и другие прохожие выглядели по-



дозрительно. Мальчишка ежился, зябко передергивал плечами. Они знают! Они все знают!

— Не бойся, — в очередной раз бросила Глазунья. — Крючок, он хороший.

«Ага, хороший! Лучше всех, — про себя огрызнулся Вит. — Ох, попал ты, мамин сын!..»

Булыжная мостовая вновь сменилась деревянной, а там и вовсе исчезла. Дома сделались ниже, вместо дорогих стекол в окнах начала попадаться слюда. Гляди! — вон и бычьи пузыри... Как в Запрудах. Опасный Крючок наконец отстал, сгинул в кишках города-дракона. А потом Глазунья остановилась у глухого забора, поправила сбившийся гудель и радостно возвестила:

— Спрятались! Заходи.

Толкнув обшарпанную калитку, вошла первой.

За калиткой и забором укрывался двор. Всем дворам двор. В дальнем конце его теснились дома и домишки, флигеля, сараи, пристройки; и все это — бок о бок, так что не понять, где твое жилье закончилось, а чужое началось. Крылечки, лесенки, окошечки, со ставнями и без, двери, двери, двери; выше — пара балкончиков, черепица и жесть крыш; на крышах — флюгера в виде диковинных птиц, рыб, человечков и злых уродцев. Даже один жестяной... ну, этот!.. который у мальчишек болтается!.. У Вита зарябило в глазах. Кто ж в таком-то уголке живет? Неужто воры да разбойники? А если нет — куда ж его Глазунья прятаться привела?

Сам двор тоже удивлял. Во-первых, нет хлева. Во-вторых, курятника и стойла. И огород отсутствует. Чудны дела Твои, Господи! Зато прямо посерединке в землю был врыт длинный-предлинный стол из грубо ошкуренных досок. По обе стороны — лавки, сверху — навес, на случай дождя. Сейчас за столом сидели двое оболтусов не намного старше самого Вита: один в лиловом тапперте и узких штанах из кожи, другой — ярко-рыжий, в зеленой рубахе до ко-

лен и без штанов. Оба азартно трясли стаканчиком, швыряя белые костяшки, похожие на зубы, и выкрикивая всякие глупости.

«Живут же люди! — с завистью подумал мальчишка, не в силах оторвать взгляда. — Не пашут, не сеют, а хлеб имеют! В игры дивные играют...»

Исходя желчью, он краем глаза изучал прочие достопримечательности двора. Из последних особенно внимания заслуживал огромный штабель бочек, бочечек, бочонков и кадушек, над изготовлением которых бондарю Яну пришлось бы, наверное, трудиться целый год! Ах, штабель! ах, игроки! одеты по-петушьи! аа-ах...

От созерцания сразу двух недостижимых идеалов Вита бесцеремонно оторвала Глазунья.

— В кости с ними играть не вздумай! — прошипела она, дернув за рукав. Точь-в-точь дядька Штефан, когда объяснял: у кого в городе можно дорогу спрашивать, а от кого подальше держаться!

— А это Дно? — осведомился Вит. — Или глубже... глубже нырнем?

— Эх ты, гусенок! — улыбнулась Глазунья. Странное дело: сейчас девка выглядела совершенно обычной и говорила на удивление складно. — Брось трястись, стража сюда не суется. А если облава — подонки не выдадут. Так, жить будешь...

Глазунья с непосредственностью трехлетнего ребенка сунула палец в рот. Задумалась, значит.

— Жить будешь в мансарде. Там раньше Липучка жил. Пошли покажу.

— А куда он делся, этот... Липучка? Вдруг вернется, а тут — я?

— Не вернется! — беззаботно махнула рукой Глазунья. — Сгорел Липучка. В тюрьме сидит. Ему долго сидеть... долго... ему...

На лицо ее вдруг снизошло отсутствующее выражение. Глаза сделались клейкими, рыбьими, словно полоумная девка заснула — стоя, с широко распах-

нутыми гляделками. Или внутрь себя самой засмотрелась: что там, на изнанке?

— Бежать... бежать!.. Скоро!.. уже скоро... Ах, Костлявая!.. кыш! Липучка, беги!..

И, разом очнувшись, как ни в чем не бывало:

— Пошли!

Вит побрел за Глазуньей, окончательно уверившись: здесь лучше помалкивать.

Иначе сам умом тронешься.

В мансарде, где раньше обитал неведомый Липучка, оказалось уютно. Дома Вит тоже жил наверху, куда надо было подниматься по узкой скрипучей лестнице. Комнатка — с гулькин нос. Мутное, засиженное мухами окошко. Зато кровать — барская. Полосатый тюфяк, одеяло теплое. А в углу — сундук-великан, окован железными полосами. Большой висячий замок остужал любопытство, напоминая Виту морду Хорта, когда пес злился.

Как-то там Хорт с Жучкой без него?

Глазунья тем временем плюхнулась толстым задом на кровать. Дважды подпрыгнула, точно дитя малое! При этом подол ее платья стыдно задрался, и Вит поспешил отвернуться.

Ох, девка — хоть бы хны ей!

— Тебя Витольдом звать, — сообщила Глазунья, подмигивая. — Я видела.

— Сама ты Витольд... — насупился мальчишка. — Видела она! Вит я, поняла?

Девка невпопад расхохоталась, сверкая белыми зубами:

— А я — Матильда. Или Глазунья. Я на Глазунью не обижаюсь. Есть хочешь?

— Хочу, — честно признался Вит. — Я всегда есть хочу. Вот, в котомке осталось...

— Да у тебя там небось на один зубок! Пошли лучше к Косому Фрайду. Я ему велю, он тебя накормит.

— ...опять?!

Лицо игрока в лиловом тапперте, без того узкое и костистое, вытянулось еще больше, сразу напомнив Виту вяленый рыбец.

— Опять «герцог»? Жука вкручиваешь, Гейнц! Небось, притер костяк-то?!

— Крошек тебе в душу, — довольно ухмылялся в ответ Гейнц, надевая отыгранные панталоны с роскошным гульфиком до колена. — Слышал, как костяк стучал? Слышал! Иначе сразу б шального поднял. Когда кости притерты, они молчат. Это даже такой каплун, как ты, сечь должен!

— Ах ты, жучина! Это я каплун?..

Вит блаженно развалился на лавке. Откинувшись спиной на стол, он искоса наблюдал за спорщиками. В животе сыто урчало. Давненько так не наедался! Бобы со свиной, поданные в харчевне Косого Фрайда, оказались выше всяких похвал: вкусно, сытно, а главное — задарма! Верней верно-го: Матильда здесь в заправилах. Сама девка куда-то сгнула вместе со лбами, внезапно охладев к судьбе «подкидыша». Мельком наказала: никуда не уходи. Тоже, нашла дурака: уходить! Сидишь, на солнышке греешься... Ни одна зараза не придет: чего, мол, бездельничаешь?! Хорошо быть разбойником.

— ...давай селюка зашьем! Эй, тощий, тебя как звать?

Мальчишка очнулся. Встряхнул головой, гоня прочь сонную одурь.

— Вит...

— Охвостье есть?

— Чево-о-о?

— Ну, гремуха... кличка, значит.

— Нету, — сурово отрезал Вит.

Клички у него были. Только кто ж сам себя байстрюком или бараньим бароном обзовет?

— Ну и лады, — неожиданно легко согласился

рыжий Гейнц, играясь гульфиком. — За игрой зырил?

— Ага... — Вит чуял скрытый подвох, но врать не хотелось.

— Тогда шничай по-красному! Вот Ульрих трюхает, будто я жука вкручиваю! Ладно, у нас свой мастырь, а ты с краю. Как скажешь, так и забьем! Покатило, Ульрих?

— Покатило! Шничай, селюк: жук или честняк?!

От оказанного ему «высокого доверия» Вит совсем растерялся.

— Да я ж... я ж игры вашей не знаю!

Гейнц искренне удивился, делая глаза по гульдену каждый. Круглое, простодушное лицо рыжего оживилось. Мало стол не засыпал бесчисленными веснушками.

— Какого там знать! Мажешь костяк, трясешь, ставишь! Чей верх, тот и бацарь!

— А пара смешку бьет, — не замедлил принять участие похожий на жердь Ульрих. — Зырь, чудило...

Через пять минут Вит уже знал, чем отличается «герцог» от «декана», а тот, в свою очередь, от «жестянщика» с «шутом», что такое «смешка», она же «капитул», как «притирают костяк» в деревянном стаканчике, как бросают «стопарем» или «с заверткой», а новые премудрости продолжали сыпаться градом.

— ...вот теперь и шничай: притирал Гейнц? Ну?!

— Да не знаю я! — Вит готов был сквозь землю провалиться. — Стучало вроде. Выходит, костяк то-во... не притерт...

— Ага! — возрадовался рыжий Гейнц.

Ульрих вьюном подскочил на лавке, сразу став похож на злющего ерша.

— Не впарился он! Ты, селюк, сам играни. Тогда впаришь. Вот, зырь: я, значит, мажу костяк. Вот, трясу. Стучат?

— Стучат...

— Хлоп! — Ульрих ловко опрокинул стаканчик

«стопарем». — Две «четверки». «Бургграф», значит. Теперь ты.

— Не-е-е! — уперся Вит, разом вспомнив наставления дядьки Штефана и Глазуны. — С вами сядешь — без штанов встанешь!

Гейнц фыркнул с презрением:

— Нужны нам твои лохмотья! Мы ж так, ради смеху. Или у вас в селе вообще ни во что не играют?

— Играют! — обиделся мальчишка за родные Запруды. — В «Лиходея — хвать!», в «Жмура», в догонялки...

Оба игрока едва не свалились с лавок от хохота.

— Ну, селюк! Ну, умора! Ему скоро железяку в грамотке пропишут, а он — в догонялки!.. Давай, мажь костяк!

В ответ Вит лишь упрямо замотал головой.

— Ну лады... А в «хвата» играешь?

— Это как?

— Проще пареной репы. Репу парил?

— Мамка парила...

— «Хват» проще. Честняк верный. Гляди!

Игра и вправду оказалась детской. Один из игроков кладет на ладонь монетку, а другой должен успеть схватить ее, пока первый не сжал пальцы в кулак. Успел — монетка твоя. Не успел — отдавай такую же. Сбил наземь, но поймать опоздал — ничья. Деньги, выданные на дорогу расщедрившимся мельником, были у Вита с собой: оставлять в мансарде поостерегся. Сыграть в «хвата»? Ни Гейнц, ни Ульрих не выглядели шибко проворными. Это тебе не кости — тут особо не обдуришь, не «притрешь».

Вит бесшабашно ударил шапкой о колено. Чувствуя себя лихим человеком и прожигателем жизни, выложил на стол два медяка.

— Давай!

— Ох и бацарь! — хлопнул его по плечу Гейнц. — Ну, селюк, хватай!

И выставил перед Витом ладонь, на которой уже тускло блестел, подмигивая, новенький *патар*.

Виту было невдомек, что за *дойт* (а именно столько составляла пара Штефановых медяшек) положено давать три патара. Он смотрел только на вожденную монету. Даже ладони Гейнца толком не видел. Чего там видеть? Потянулся и взял. Повертел добычу в пальцах. Хорошая игра. И парни хорошие. Небось поддались селюку.

— Еще сыграем?

Гейнец пялился на пустую ладонь, как опытный хиромант на руку богатея-заказчика. Словно надеялся: патар затерялся между линий жизни. Сейчас отыщется. Вит тем временем присоединил честно выигранную монету к своим медякам.

— Ну?

— Играем!

На этот раз Гейнец успел сжать пальцы. И остался с кулаком, а Вит — с монеткой. Растяпа ты, конопатый. Наверное, и в кости жука не вкручивал: где тебе вкручивать, тут даже слепой все заметит!

— Гони деньгу, — вдруг нахмурился Гейнец, вертя кулаком.

Встал. Расправил плечи.

— Это почему?

— По колчану. Зырь!

Он победно разжал кулак, но на ладони, как и следовало ожидать, ничего не оказалось.

Вит с ехидством прищурил левый глаз. Щелкнув пальцами, подкинул вверх патар:

— Сам зырь, косоглазина! А это что?

Рядом зашелся хохотом Ульрих.

— Заткнись! Вит, давай еще!..

XXII

После девятого проигрыша Гейнец был готов молиться на селюка.

— Ну ты бацарь! Как чихом сдуло!

— Огарок! — не упустил случая поддеть приятеля

ля Ульрих. — Тебя самого чихом сдувает. Селюк, покатили со мной?

— Покатили!

Восхищенные взгляды рыжего Гейнца, ничуть не расстроившегося от чужой удачи, дружелюбно-уважительный тон Ульриха льстили Виту пуще зрелища выигранных денег. Городские парни в щегольских нарядах считают его своим! Мальчишка был на седьмом небе от счастья! Можно ли отказать такому другу, как Ульрих?! Да и сама игра порядком раззадорила: Вит впервые играл «на интерес». В кро-ви плясали веселые чертенята, хором выкрикивая: «Барыш! барыш!..»

Однако Ульрих оказался непрост. В последний миг резко отдернул руку — вправо и вниз, — зажав монетку в кулаке.

— Еще! — азартно потребовал мальчишка. На этот раз он был начеку. Ф-фу, успел...

— Ойфово! А ты парень не промах! Катим?

— Катим! — новое словечко вкусно пузырилось на губах.

Кучка медяков росла. Иногда Вит проигрывал, но быстро успевал раскусить очередной трюк Ульриха, возвращая утрату с лихвой.

— Теперь ты конай, — предложил наконец Ульрих, тоже войдя в азарт. — Держи, значит. А я ба-цать стану.

Это оказалось даже проще, чем выхватывать монету. Сжимай пальцы, и всех делов. А с третьего-четвертого раза Вит слегка подшутил: подбросил монетку вверх и, когда рука Ульриха впустую мазнула по его ладони, снова поймал денежку.

— Слушай, как ты это делаешь? — от удивления Ульрих заговорил простым языком.

— Делаю, — пожал плечами Вит. — Я мальков в Вешенке запросто ловил. Руками.

— Небось пылишь, что раньше в «хвата» не играл!

— Не играл я. Только с вами...

— А давай...

— Тихо! — змеей зашипел вдруг Гейнц. — Наши с обмолота тянутся. Сейчас мы их...

Рыжий заторопился, покраснел от предвкушенья.

— Вит, они ж про тебя еще не знают! Так: мы с Ульрихом — на раскруте, а ты под мышками чесать будешь. Звон — по-братски: полна-пол. Катим?

Вит поскреб затылок. Никого он чесать под мышками не собирался: выдумают тоже, стыд один! Может, лучше самому на раскруте? Крути себе... Опять же: какой-такой «звон»? И как это по-братски, если половина — ему?! По-братски — значит, всем поровну, на троих.

Хоть про обмолот понятно. Осень: самая пора...

Тем временем в калитку лезла пестрая ватага: парни, дядьки, стайка шумных девиц. Странно: молотильных цепов или мешков с зерном у них не наблюдалось. Может, на току оставили? Однако не похоже, чтобы ватага возвращалась после трудового дня. И одеты не для обмолота.

Уж Вит-то хорошо знал, какими мужики в Запрудах с тока возвращаются!

— Почем рвацун? — лениво поинтересовался Гейнц у направившегося к столу парняги: высокого, кучерявого, лет двадцати.

— Это Дублон, — зашептал Ульрих на ухо Виту. — Ойфово в «хвата» чешет! Зырь в оба: он вправо срезает, когда конает... Я тоже так делал, помнишь? Сейчас Гейнц его раскрутит: Дублон же нас за флохов¹ держит, а тебя так вообще — в полное бельмо. Мелькай, бацарь!

И Ульрих затрясся от беззвучного смеха.

— Чужой рвацун кошели жжет, — врасстяжечку бросил Дублон, подойдя. — А вы тут, гляжу, жаб задницами давите. Усечет Малый Втык, зажируете...

¹ Блоха (нем. floh).

Гейнц цыкнул слюной сквозь зубы:

— Мы в ночное ходили. Отвал у нас до завтра. Так, в «хвата» по крошкам бацаем.

— В «хвата-а-а»...

Дублон презрительно сощурился. Оправил складки темно-синего, спадающего до земли плаща. Камзол соперничал длиной с плащом: панталоны из-под него едва виднелись. На тупоносых башмаках красовались пряжки дутого золота: два солнца. Он и впрямь был красавцем, этот Дублон со Дна. Буйная смоль кудрей, брови вразлет, гордый подбородок. Высокомерный прищур карих глаз. Когда б не секира за поясом, сошел бы за дворянина. А так... Будь ты богачей из богачей, красавец из красавцев, щеголь из щеголей — а оружие позорное носи. Иначе плети и штраф: ни на плащ дорогой не посмотрят, ни на камзол модный, ни на осанку горделивую. Выпорют, как миленького. И кошель облегчат изрядно.

Знай свое место.

«И вот этот-то красавец станет с нами играть?! — засомневался Вит. — Да он в рожу мне плюнуть побрезгует!»

— В «хвата-а-а»... — повторил Дублон, получая удовольствие от звуков собственного голоса. — Тебе, колчерукому, только за гульфик себя хватать. И то промахнешься! Вон, с селюком бацай...

— А ты покажь селюку, как бацарей обламывают, — подал голос Ульрих. — Он в дело хочет. Обкатай.

— Обкатать? — нехорошо ухмыльнулся Дублон. — Моя обкатка звона стоит. Зазвоните — обкатаю.

— А он сам за себя зазвонит. Почему у тебя кон на обкатку, Дублон?

— Полфлорина. За науку платить надо. Ну что, селюк, зазвонишь?

Теперь Дублон обращался непосредственно к Виту, но глядел мимо и поверх головы мальчишки.

Ульрих исподтишка толкнул Вита локтем: давай, мол. И два пальца враслопырку показал. Дескать, выигрыша набралось на флорин. Два, значит, кона.

— Зазвоню, — подбоченился Вит, стараясь подражать Гейнцу.

Аж самому понравилось: до чего похоже вышло!

— На первый раз, если кон снимешь — с меня вдвое, — проявил щедрость Дублон, коротко зыркнув на стол и оценив кучку монет не хуже Ульриха. — Я сегодня добрый. Покатили, селюк!

XXIII

— ...Слышь, Бацарь, а ну еще раз «резку» покажи!

— Отвянь, Крысак! Дай парню горло промочить. У него скоро рука отвалится: всем показывать. Или звони!

— Ага, разогнался! Звони ему... и так уже в кошеле шишом покати!

— Тогда отвянь. А ты, друг, пей. Заработал. У вас в селе небось...

— Хватит.

Развеселая компания, собравшаяся за столом, мигом скисла. Перед Витом стояла Глазунья. Откуда появилась толстая деваха, Вит не разглядел. В голове шумело от выпитого: здесь, на Дне, он впервые попробовал вино. В отличие от пива понравилось. Мальчишка наверняка бы с непривычки и на радостях надрался до беспамятства — но Глазунья появилась вовремя. Разумеется, Виту хотелось остаться: поболтать с новыми друзьями, допить из кружки. Намереваясь заявить об этом дурехе, он с вызовом глянул на Матильду...

Послушно встал.

И поплелся за полоумной в сторону мансарды.

Даже попрощаться забыл. Но никто не обиделся. Обитатели Дна прекрасно знали, что это такое:

когда Глазунья *всерьез* зовет. Тут имя свое забудешь, не то что попрощаться...

Немой Юлих с Добряком Магнусом, тенями следовавшие за Матильдой, остались во дворе. Послали кого-то из шантрапы к Косому Фрайду за выпивкой. Сели: один на колоду для рубки дров, другой — на пустой бочонок. Вечерело. Небо обсыпало яркими звездами, по двору заполошно метались масляные блики от костра, распаленного подонками. Ульрих загорланил песню.

Пламя костра заслонила шуплая фигура.

— Ты где пропадал?! — Магнус напустился на вернувшегося Крючка с показной суровостью. — Глазунья сегодня знаешь, сколько всякого наболтала? Уши завяли. Да и ноги сбили, за ней поспевая. Вот узнают Втыки...

Крючок молча присел рядом на корточки. Так же молча ухватил бутыль, отхлебнул из горлышка. Плевать он хотел на болтовню Магнуса. Раз отлучался, значит, надо было. Не Добряку Магнусу учить Бенямина Хукса. Однако, вернув бутыль громилам, все же счел нужным удостоить ответом:

— В ратуше был. Со знакомым писцом калякал. И еще кое с кем. Стражник один... сопляк. Пить совсем не умеет.

Крючок презрительно скривился.

— Знаете, что за щенка Глазунья подобрала?

— Ну? — буркнул Юлих. Никого это не удивило. Не был он безъязыким. Просто говорить не любил.

Бывает. Иному бы пустослову у него поучиться...

— Не нукай, не запяг. На днях мытаря, который к западу от Окружной чинш собирает, мертвого привезли. Поначалу думали: бык забодал. Только сыскал я мытарева племяша... Он спьяну разболтался: не бык! Пастушонок, зараза, рогом бычьим мытаря в печенки саданул. Круг на пузе даю, наш это пастушонок! И от стражников удрал... У Глазуньи

чутье: кого искать, куда вести. Тот еще пацан, ушлый, даром что селюк.

— Ушлый?! — взорвался Магнус. — Пока ты по ратушам шлялся да по кабакам племяшей спаивал, он тут пол-Дна в «хвата» и в «три чашки» вычесал! Дублона на одиннадцать флоринов раздел! Ежели по селам все такие, так хорошо, что я в городе живу...

Поодаль согласно вздохнул красавец-Дублон: подслушивал.

— ...говорила: не играй с ними! — строго заявила Матильда, усаживаясь на Витову кровать.

Самому Виту ничего не осталось, кроме как присесть на краешек сундука. Его слегка качнуло: пришлось ухватиться рукой за стену.

— Я ж... выиграл я ж! — широко улыбнулся мальчишка. Ему было хорошо. — У всех выиграл. И не в кости... в «хвата» бацал. Они хорошие! — поспешил он на всякий случай заступиться за новых друзей. — Я их всех под мышками вычесал, а они р-ра... ррадовались! Вином позволили угостить...

— Эх ты, «чесальщик»! — В тоне Матильды пробились странные, едва ли не материнские нотки. — Ладно уж, все равно это ненадолго...

Девушка вдруг уставилась в стену: словно трещинки считала.

— Ненадолго... шапку носить научишься... четырехзубую!.. всему тебя научат... научат... и забудешь ты... душа... души не вернуты!..

Вит глядел на белую Матильду, слушал ее бесвязное бормотанье и стремительно трезвел. В затылке нарастала жаркая тяжесть.

— Ты чего? чего ты?! Очнись... — Он хотел тронуть полоумную за плечо, но не решился.

А через миг перед ним уже сидела прежняя Глазунья.

— Рот закрой, — без перехода заявила девка. — Муха влетит. Что, боишься меня? Правильно дела-

ешь. Думаешь небось: откуда и взялась на мою голову? Верно?

— Ага, — кивнул Вит и сразу об этом пожалел. Того и гляди отвалится, голова-то.

Лучше смирно сидеть.

— Мне б самой знать: откуда взялась да зачем? — Матильда задумчиво кусала губы. — Одного мы с тобой поля ягоды, Витольд. Пускай с разных кустов. Одного поля, в одно лукошко попали. Да вот беда: мне про себя не увидеть. Не дано. Тебя — вижу. Смутно. Есть у нас впереди... ладно, что зря языком трепать. Туман там пока: густой. А кто я есть, тебе все равно расскажут, только наврут с три короба. Лучше я сама...

XXIV

Многие всерьез подозревали: Гаммельнская Пророчица бессмертна. Особенно те, кто никогда не бывал в вольном городе и знал о Пророчице понаслышке. Она была всегда; ну, пусть не всегда, но — издавна. Женщина. Ясновидящая. Набожная, что смиряло излишне ревнивых прелатов, готовых везде усмотреть когтистую лапу дьявола. Отзывчивая к просьбам магистрата, а также уважаемых земляков.

И мужем Гаммельнской Пророчицы всегда являлся Пестрый Флейтист.

Глазунью, в те добрые дни еще просто Матильду Швебиш — Матильда-Лапочка, Тильда Душенька, Тилли Колокольчик! — мало беспокоили сплетни, касающиеся ее родителей. Семьи отца и матери подверглись Обряду давно, более двухсот лет тому назад, и Гильдия шла навстречу соответствующим просьбам, отвечая согласием. Стало привычным, что в роду Швебишей среди кучи мальчишек рождалась всего одна девочка: будущая Пророчица, даже в замужестве традиционно сохранявшая девичью

фамилию. Будущая жена мальчика из рода Кюхстерброкенов: рано или поздно кто-то из тамошних девиц менял платок на чепец, вскорости рожая сына — нового Пестрого Флейтиста.

Музыка Флейтиста отгоняла беды. Взгляд Пророчицы проникнул завесу времени.

Магистрат был счастлив, и город процветал.

Пока не пришла чума.

Костры горели день и ночь. Колокола терзали небо, тщетно моля о снисхождении. Зловещая телега ездила по улицам, собирая дань для Госпожи Костлявой. Беженцы натыкались на кордоны — окрестные города панически боялись заразы, отгородив чумной Гаммельн рогатками и дозорами. Особо ретивых, кому нечего было терять, встречали стрелами. Сумасшедшая толпа явилась растерзать Пророчицу, преступно не сумевшую предупредить заранее о «черной хвори». Толпа опоздала: мать Матильды Швебиш скончалась утром. Способная заглянуть за краешек «сегодня», она изначально была не в состоянии предвидеть обстоятельства собственной смерти. Как все женщины Швебишей. Поэтому чума упала внезапно. Тогда гнев толпы, лишенной жертвы, обратился против Пестрого Флейтиста, отца Матильды: почему не отогнал зло?! Плохо играл?! Без души?!

На колья его!

Пестрый Флейтист сам вышел к толпе, и люди попятились, забыв про колья. Всегда приветливый, сегодня отец Матильды был страшен. Белые глаза статуи, белое лицо фигляра и белая улыбка отчаявшегося. Флейта взлетела над плечом, сухие губы жадно припали к мундштуку. Пальцы пробежались по отверстиям, рождая мелодию Исхода. Ветер ударил в искаженные лица, ветер заката, пахнувший пеплом и горелой шерстью; толпа отшатнулась, дрогнула... побежала. А по чумному Гаммельну шел Пестрый Флейтист с дочерью.



Он играл.

Дети выходили из домов под напев овдовевшего музыканта, едва не убитого людьми, от кого он не раз отводил беду. Дети, еще не отмеченные печатью заразы. Здоровые дети. Танцующая, с песнями, они шли по мертвым улицам, и странное войско увеличивалось с каждым кварталом. Чума бродила вокруг стаями голодных крыс, боясь подступить. Чума пищала, истекая ядовитой слюной. Скалила клыки. Тащила по брусчатке тысячи омерзительных хвостов: голых, блестящих, как налитый гноем бубон. А флейтист играл. Наотмашь. Каждый звук — пожар. Треск сухого дерева в огне. Мелодия сгорала в пламени дыхания, и сама была огнем.

Так играют один раз в жизни: последний.

...окраина.

...предместья Гаммельна.

...мост через присмиривший Везер.

Потом скажут: они шли мимо моста, прямо по воде. Может, правда. Может, ложь. А музыкант играл. И крысы за спиной тонули в реке, бессильные настичь, вцепиться, растерзать беглецов. Дорога на Ганновер. Дозоры, ослепшие на целый день. Стража, обуянная дремой. Рогатки, упавшие без видимых причин. Длинный путь, ставший коротким. Время, зажатое в кулаке. Силы, которым, казалось, не было конца. Смех ребятни, убежденной, что играет в самую замечательную на свете игру.

Он вывел детей за кордоны.

Он рухнул только на границе с Хенингом, когда все осталось позади.

Матильда, оставшись круглой сиротой, не знала, куда податься. Похоронить отца по-человечески — и то не вышло: бросили лежать на обочине, улыбаясь небу. Вырвавшись из чумного плена, дети оказались предоставлены сами себе. Жизнь — вот что сумел подарить им Пестрый Флейтист, но на большее его не хватило. Впрочем, кто смеет рассуждать

и сравнивать? — большее, меньшее... Путь продолжился: куда глаза глядят. Кое-кто осел в деревнях: батрачить. Двоих даже усыновили. Иные отстали и пропали. А Матильду с Юлихом Рондейлом, верным другом детства, подобрали нищие. Уж больно жалкий вид был у некрасивой девчонки. Таким чаще подают; калеки и убогие вызывают брезгливость, а просто несчастные — жалость. Жалость стоит дороже. Вскоре довелось убедиться: Матильда способна предвидеть успех или неудачу. Рождение и смерть. По ее слову попрошайки гурьбой шли туда, где милостыня была обильной. По ее слову они прятались от облав, укрывались от стражников, скорых на рукоприкладство. По ее слову воровали, уверенные в счастливом исходе; по слову ее беспрекословно отказывались от лакомого кусочка.

Ее прозвали Глазуньей.

Однажды лжекалека Хруст, чьи язвы делались из хлебного мякиша, вознамерился ночью подкатиться к девице под бочок. В полной уверенности: даст, и еще как. Девка созрела, молочный сок — да с ее-то кожей! с ее-то рожей! А наш сучок всем плащам крючок, мы потерпим, зажмуримся, зато потом... Хруст искренне рассчитывал на мзду в виде личных предсказаний, а вскорости — на положение главаря шайки. И когда Глазунья стала ерепениться, применил силу. Лжекалеке повезло: хвала Св. Эгидию, покровителю калечных, насильник обрел подлинное убожество, изумляя собратьев удачливостью в сборе подаянья. Потому что сперва испытал такое расслабление членов, какое людей пожиже превращает в студень, а после, едва очухавшись, попал в неласковые объятия Юлиха. Парень уже тогда почти совсем не разговаривал, зато вымахал оглоблей, готовый за Матильду удавить хоть византийского бацилевса.

Нищие позже прониклись к Юлиху изрядным уважением. Так разумно сломать человека в разных местах может далеко не всякий.

В Хенинге кто-то проболтался о способностях Глазуньи. Слух донесся до ушей братьев Втыков. Нищие сперва кочевряжились, боясь упустить подарок судьбы, но в итоге, вдохновленные Втычьими намеками, согласились на отступное. Матильде же было все равно. Она жила в своем зыбком мире, где время свивалось в кольцо, живые и мертвые играли в жмурки, часто меняясь местами, а отец с матерью готовы были явиться по первому зову. Не старясь больше. Правда, родители всегда молчали, с тихой лаской глядя на блудную дочь.

Наружу Глазунья выныривала редко.

Спрашивали — отвечала.

Братья Втыки живо уразумели, какую жемчужину сумели выменять. Берегли, как зеницу ока. Того ока, что видит невидимое. Дно наизнанку вывернули: обидите — пеняйте на себя! Поощрили Юлиха: ходи следом! тенью! оберегай! Ведь не в подвале девку хранить, в бочке с рассолом... Пусть по городу шастает: веселей будет. В придачу к Юлиху, прозванному Балагуром, добавили Добряка Магнуса: парня испытанного, знающего Дно насквозь, а Хенинг — вдоль и поперек. Через месяц к двоим спутникам Матильды добавился третий: редкий прохвост Крючок. С приказом: уберечь там, где сила бессильна. Заплатить, припугнуть, договориться. Вскоре от присутствия Крючка рядом с Глазуньей выяснилась новая польза. Обладая редкой памятью, Крючок запоминал все бессвязные речи девицы, научившись извлекать крупички смысла. Часть записывал, потом долго сидел, ища тайные связи. Этаким толмач при оракуле.

Он же и условился с братьями Втыками о доле с каждого дела, где не последнюю роль сыграли предсказания Глазуньи.

Малый Втык согласился сразу.

Втык Большой рубанул себя по сгибу локтя, показав Крючку кулак, и тоже согласился.

— ...С чем пироги, тетка?

Вит надменно выпятил нижнюю губу, подражая Дублону. Вышло на Витов взгляд — ойфово, а на теткин — смешно. Впрочем, торговка виду не подавала: главное — товар сбыть, а что сопляк рожи корчит — пусть его корчит, от нее не убудет.

— С капустой, с ягодой, с требухой, с зайчатинкой...

— С зайчатинной почему?

— Пара — полпатара!

— Дюжину давай!

Вит демонстративно зазвенел кошельком. Жадин он презирал, и пирожки сейчас покупал на всех. Шальные деньги текли сквозь пальцы. Тем более кров бесплатный, харч дармовой, а на всякое баловство выигрышей хватает с лихвой. Правда, приток новых монёток заметно сократился: Дно уже было наслышано про «селюка», играть с ним соглашались разве что для «обкатки», по маленькой. Мальчишку это совершенно не огорчало. Настоящее и будущее рисовались одним сплошным праздником. Вот ведь повезло! В раю — и то вряд ли лучше! А всех трудов: мытаря случайно угробил...

Со дня явления в славный город Хенинг минуло целых две недели. Вит теперь считал себя заправским горожанином и кумом если не королю, то уж герцогу Хенингскому наверняка! Поначалу он безвылазно сидел на Дне, где к нему шастали «подонки»: сыграть в «хвата», в «три чашки», в «пристенки», в кости, в «трясучку»... Вит и не подозревал, что на свете существует столько игр! И все «на интерес», ясное дело. От костей с «трясучкой» он отказался наотрез, зато в «три чашки» выигрывал еще легче, чем в «хвата». Делов-то: уследить, под какой чашкой окажется шарик. Как тут проиграешь?! Видно же! А едва гнилозубый Крысак, державший кон, попытался тайком (это он думал, что тайком!) за-

жать шарик между пальцами, Вит мигом схватил вралю за руку.

— Чего загребала распустил?! — окрысился Крысак, оправдывая «гремуху». — В нюхало хошь?!

— А ты чего жука крутишь?!

Дело запахло дракой, но тут вмешался проходивший мимо Дублон.

— Бацаря не трожь, — брезгливо процедил красавец, беря Крысака за ухо. И пальцем в Вита потыкал: разъяснить, кто здесь Бацарь. — Заштопался на передрале — отзванивай вдвое.

Крысак скис, «отзвонил» вдвое и поспешно ретировался вместе с чашками, шариком и парой дружков.

В итоге Вит нажил себе хворобу в лице злопаметного Крысака, но друзей и покровителей приобрел куда больше. Причем не только среди людей. Матерый кобель Жор, обитавший в штабеле бочек, поначалу невзлюбил мальчишку и однажды вознамерился тяпнуть за тощую задницу. Однако промахнулся, схлопотав по загревку: совсем легко, шутейно!

Кинулся снова: всерьез.

Через полчаса безуспешных наскоков и ответных, неизменно точных плюх Жор утомился. Сел в лужу, вывалил набок язык, признав-таки свое поражение. Уважительно облизал Витову ладонь. А когда Вит угостил пса бараньей лопаткой, то навеки приобрел верного слугу, готового порвать хоть Его Святейшество, явись тот на Дно и вздумай обижать Бацаря!

К концу первой недели Глазунья с утра заявила: хватит, мол, отсиживаться! Даром он, Вит, никому не нужен. Пошли в город!

И они пошли. По дороге заглянули в пару лавок, где от изобилия *всего* у Вита глаза разбежались. Прикупили новую одежду. Городскую. Теперь недавний селюк щеголял в распахной, от ворота до пояса, новенькой робе, двуцветном кафтане и узких штанах, красиво именуемых «пantalонами». Зато

башмаки оставил старые: целые они, чего зря деньгами швыряться?

Магнус с Юлихом с трудом сдерживали ухмылки, косясь на мальчика, задравшего нос до небес.

А Глазунья бесцеремонно повертела Вита туда-сюда, выясняя, как смотрятся на нем обновы; осталась вполне довольна и потащила всех дальше. Девка была переменчивей мартовской погоды: то трещит сорокой, то застынет посреди мостовой соляным столбом. Пару раз бросалась к первому встречному, выкрикивая что-нибудь вроде: «Берегись красного, берегись красного!» или «Завтра! в церковь!.. свечку поставь...» Прохожие шарахались, а Матильда, утратив к ним интерес, спокойно шла дальше.

Вскоре Вит привык. Жалел бедняжку: провидица. В придачу тронутая. Вот бы их с Лобашем познакомить! Девке замуж пора, да только кто ее возьмет, такую? А Лобашу — в самый раз. «Поженю их», — твердо решил мальчишка. Однако дал зарок: молчать до поры. Вот приедет будущим летом дядька Штефан в Хенинг на ярмарку, возьмет с собой Лобаша в помощь — тогда и...

Долго размышлять о столь отдаленном будущем было не в характере Вита. Он привык жить сегодняшним днем, в крайнем случае — завтрашним, и то если назавтра намечался какой-нибудь праздник. А тут... тут каждый день — праздник.

Гуляй — не хочу!

Только при виде стражников мальчишка все еще робел, прячась за широкие спины Юлиха с Магнусом — сразу вспоминался убитый мытарь.

XXVI

Площадь раскрылась навстречу: хохот, шум, радостное улюлюканье и целый вихрь красок. Жонглеры и акробаты, тесно облитые пестрыми трико,

веселили публику. В воздух летели созвездия факелов, зажженных от разведенного на мостовой костра; фигляры скакали, ходили на руках, откалывая такие трюки, что у Вита живот подвело. Рядом кривлялись, гримасничая, два потешника-скомороха в колпаках с ослиными ушами.

Глазунья мельком глянула на веселье, собравшись уйти, но Вит впервые заартачился:

— Матильда! Дай посмотреть.

— Да что там смотреть...

Вредная Глазунья осеклась. Видать, вспомнила, откуда мальчишка родом. Сжалилась:

— Ладно, гляди... Бацарь! Давай ближе подойдем...

Юлих с Магнусом легко разгребли толпу, протолкавшись в первый ряд, и Вит забыл обо всем, поглощенный невиданным чудом.

Как раз в этот момент труппа взялась разыгрывать «Фарс о посрамленье мясника Иеронимуса». Один из скоморохов, засунув под рубаху неведомо откуда добытую подушку, принялся походкой и ужимками подражать какому-то толстяку, похоже, весьма известному хенингцам. Хохот грянул — хоть уши затыкай! «Толстяк» волочил за собой здоровенный меч, поминутно спотыкаясь; в конце концов он плюнул на позорное оружие, для верности растер плевков по лезвию и отшвырнул меч прочь. Его примеру дерзко последовали жонглеры с акробатами, изображавшие сейчас бродяг: они тоже побросали оружие, взявшись топтать его ногами. Но тут вмешался фигляр, обнаженный по пояс и безоружный. В первый миг Вит даже принял его за настоящего рыцаря! — лишь позже узнав разительно преобразившегося второго скомороха. Куда девались веселые ужимки?! Брови сурово сведены, гордый профиль, мускулистый торс, величие осанки (куда там Дублону!); вместо куцых штанов — чулки в обтяжку, дорогого сукна...

«Рыцарь» устремил гневный перст на «толстяка», недвусмысленно веля подобрать оружие. «Толстяк» в испуге попятился. Однако, вскипев от подначек «бродяг», смешно замотал головой, отказываясь подчиниться (точь-в-точь баран, когда веревку на шею накинут!). И вдруг, дико завизжав, бросился на «рыцаря», по-благородному размахивая кулаками.

А за ним — вся труппа.

Вот где началась истинная потеха! «Рыцарь» ловко уворачивался от нападающих, награждая их тумаками и плюхами, зрители смеялись, хлопая в ладоши. А потом спесивый «толстяк» не выдержал: подобрал свой меч и — позор!!! — попытался ударить им «рыцаря». Разумеется, промахнулся, после чего «рыцарь» долго и с удовольствием пинал наглеца в зад ногой, а один из акробатов, накинув красный колпак палача, принялся стегать бунтаря плетью.

Зрители держались за животики. Вит смеялся до слез. Правильно! Нечего из себя дворянина строить, когда ни родом, ни рылом не вышел!

Тем временем скоморох-«рыцарь», вновь облачась в потешный наряд, принялся обходить зрителей со шляпой в руках. Зазвенели медяки. Вит тоже кинул патар: любой труд денежек стоит! Вона как старались, чтоб народ позабавить!

Потом скоморох отступил назад, предложив бросать монеты — а он их будет в шляпу ловить. Это оказалось еще веселей: забавник все время падал, охал, потирал ушибы — но брошенную мзду тем не менее ловил! Пока чей-то медяк не угодил прямоком в костер, взметнув целый сноп искр. Скоморох на миг остановился в замешательстве. Попытался достать денежку, обжегся, запрыгал на одной ноге, отчаянно дуя на пальцы, чем вызвал новый приступ хохота.

Вит понимал: он нарочно. Чтоб смешнее было.

Но ноги уже сами несли возбужденного мальчишку к костру.

— Куда?! Очумел?!

Не отвечая, Вит поводил ладонью над огнем. Он знал: макнешь руку зимой в прорубь или вот так, у пламени покрутишь — кожа быстро твердеет, теряя чувствительность. Бывало, в Запрудах на спор шутики шутил. Резким движением закатав рукав, сунулся в костер; миг — и дымящаяся монетка полетела в шляпу скомороха.

— Ох, парень! Ух!..

— Еще!

Костер пыхнул искрами перед самым носом. Хватя! Упавший в огонь дойт даже нагреться толком не успел.

— А это твое, — тихонько подойдя сзади, шепнул на ухо скоморох. — Давай, собирай барыш! Мы на сегодня все равно закончили...

— Еще!

— Давай!

Монеты полетели — только успевай выхватывать!

Вит успевал.

Вперед протолкался некий господин: седой, сухощавый. Впрочем, ему и проталкиваться-то особо не пришлось: народ заранее расступался. Без особой боязни или там великого почтения, но расступался. По привычке, наверное. Лицо у господина... Вит после и вспомнить не смог: что за лицо. Лишь седина в памяти засела. Одет господин был под стать манерам: добротнo, дорого, но со скромной строгостью. Плащ-«табар» поверх камзола, сам камзол, и даже панталоны — темно-бордового, почти черного цвета, без всяких украшений. Башмаки — отличной кожи, тонкой выделки, но опять же без бантов, пряжек, бляшек и прочих финтифлюшек, столь любимых щеголями. А трость хоть с виду простая, да явно на заказ сделана. Из черного дерева, между

прочим. Это если кто понимает. И весь он был такой, этот господин: холеный, невозмутимый и аккуратный. К таким ни пыль, ни грязь, ни бранное слово не липнут.

Оружья у господина не наблюдалось.

Пару минут он смотрел. А потом взял да и окликнул:

— Эй, мальчик... А не сразу достать — можешь?

— Как это? — моргнул Вит.

— Я брошу монету, сосчитаю до десяти — тогда и достанешь. Сумеешь?

Господин молча извлек серебряный талер. Лениво забросил его точнѐхонько в середину костра.

— Один... два... три...

Считал бордовый медленно, с ленцой — как монету бросал. Закончил. Прищурился на Вита: давай, мол!

Вит дал. Подпрыгнул, разгреб-разметал жар — и вот уже талер с ладони на ладонь перебрасывает. Дунул, остужая, в кошель на поясе спрятал.

Победно глянул на господина: съел?!

— А до двадцати? — как ни в чем не бывало интересуется тот.

И достает целый гульден!

Хитро он вторую монету бросил: в угли золотой кругляшок ушел, в самое пекло. Только и Вит не сплеховал, хоть горячо было. Ладно, рука-то попривыкла. А господин снова ладошку под плащ: очередную денежку тянет...

— ...глянулся ты мейстеру Филиппу, дружок... — мурлыкнула Глазунья, дожидаясь посреди переулка, пока отставший Вит поравняется с ней.

— Кому? — не понял мальчишка.

— Филиппу ван Асхе.

Помолчала девка. Добавила, словно гвоздь одним ударом вбила:

— Душегубу.

У Вита ноги тряпичными сделались. Так значит, бордовый — Душегуб?! Всякое про них, про Душегубов, ввали — а лицом к лицу встретиться впервые довелось.

— Что он у тебя спрашивал?

— Откуда, мол, взялся. Почему он раньше меня на площади не видел.

— А ты?

— А что я? Сказал, как есть: из Запруд. У мельника жил. А он мне удачи пожелал и еще пол-флорина дал!

— Значит, судьба... — совсем тихо прошептала Матильда, белея лицом; Вит едва разобрал ее слова. — Захочешь, не обманешь. Может, оно и к лучшему...

И невольно, резко трогаясь с места:

— Пошли в харчевню. Я есть хочу.

Вечерело. На Хенинг падали густые сумерки. Казалось, сам воздух в тенетах города становится плотнее. В окнах загорались свечи и лампы, хлопали закрываемые ставни — благочестивые горожане готовились ко сну. Наступало время гулящих девиц, ночных забулдыг, а также воров, грабителей и подонков всех мастей.

Спать вдруг захотелось: невтерпех. Целый день на ногах... Еле добрались домой.

XXVII

Обычно Вит спал без снов.

А тут явилось. Приятное. Будто сидит он рядом с мамкой, коржи наворачивает, а мамка на сносях. Как пять лет назад, когда она от Штефана забрюхатела, да в конце скинула. Толстая, значит, мамка, теплая, а Вит ей рассказывает, что он тоже. Что прячется в нем, Жеськином Вите, крохотный кузничик-человечек. Букашка, «травяной монашек» под

листиком. Сидит и помаленьку кормится. Вырасти хочет. Наружу скакнуть. Иногда высунется, усиками пошевелит, и снова: нырь под листок!

Мамка смеется-заливается, а Виту самому невдомек: с каких радостей чепуху порет? Оно во сне бывает: сам говоришь, сам веришь, сам в себе сомневаешься.

Про человечка он и раньше думал. Только молчал. Сотворишь пакость — ведь не скажешь мамке или там дядьке Штефану: это не я! это букашка в животике! Может, поэтому Вит страшно не любил, когда его внезапно будят. Ты большой еще глаз не продрал, а букашка уже из-под листика остренькое рыльце высунула. Клацнула коленками. Застрекотала. Ухватила чего-то. Дурное оно дело: человека невпопад будить.

Это Вит так во сне думал. А мамка вдруг распухла, развалилась на две мамки, на три, на пять. Хари у мамок нелюдские: круглые, тыквенные, и в дырках огни адские. Гадские, можно сказать, огни. Заскакали мамки, запрыгали, круговерть мохнатая сделалась; огненная. Вот он, кричат мамки. Хватай, кричат мамки. Тащи Бацаря на двор. Вит сну удивился, решил было проснуться от обиды, да не успел. Кузнечик-человечек первым рыльце высунул.

Щелкнуло.

Клацнуло.

Вскрикнуло.

Тут и Вит-большой глаза продрал.

Стоит он, значит, во дворе. В ночной рубаше и колпаке ночном. Колпак ему Глазунья подарила: уши греть. Сверху лунный дождь хлещет: желтый, яркий, аж до косточек светом пробирает. Рядом бочка, воды в ней на две трети. Над бочкой виселица сооружена: столб, переключина, на переключине веревка петель завязана. Вешать кого-то собрались, или купать, или все сразу. А за спиной, в мансарде

Липучкиной, где Вит уже скоро месяц живет, — крики-охи. Вон рыжий Гейнц вывалился. Балахон на Гейнце белый, а на шее ожерелье из тыквенной кожуры. Будто напаялил рыжий от большого ума тыкву на голову, а ему эту тыкву молотком развалили.

И ухо у Гейнца почти совсем оторванное.

Левое.

Увидел рыжий игрок Вита:

— Ты! ты! ты, ты...

Точно Глазунья, при первой встрече. Только Глазунья навстречу шла, а Гейнц назад пятится. Плохо пятится, нога у него кривая стала. В коленке одревенела. Чуть с лестницы вниз не навернулся.

— Уль... Ульрих! Очнись, Ульрих!

Это у Гейнца позади. В мансарде. Стоит Вит, никак понять не может: что он во дворе ночью делает. Что Ульрих у него в жилье делает. Что Гейнц делает на лестнице.

Может, это еще сон?

— Мы ж! — хрипит рыжий сверху. — Мы ж шутейно!.. обычай...

А Вита столбун прихватил. Намертво.

...он не видел, как в распахнутую калитку вихрем ворвалась Матильда Швебиш. Бегать ей было тяжело, ноги подламывались, грудь судорожно вздымалась, набирая воздуху для крика; жаль, крик выходил стоном. Опоздала Глазунья. Поздно увидела. Ясно, да поздно. Как дружки-весельчаки тайком решили Бацарю «Донное круженье» устроить, после первого заработка на площади. Не легкий выигрыш! не горб трудовой! — раз честной ловкостью заработал, значит, пора в подонки посвящать.

А еще увидела дочь Гаммельнской Пророчицы и Пестрого Флейтиста, как кузнечик-человечек рыльце высовывать умеет.

Ей было очень плохо. Тело устало, после заполошного бега хотелось упасть, забыться, но падать — нельзя. Привычно заставив неуклюжую плоть

подчиняться, девушка обхватила мальчишку руками, прижалась, меньше всего думая о возможных сплетнях. Ей никогда не приходилось раньше плести сачок для злых кузнечиков, но знание вставало навстречу, из светлых, снежно-пушистых глубин, весной из апрельского сугроба: нить, другая, десятая, сотая — и букашка, готовая в любую минуту прыгнуть из остолбеневшего Вита наружу, затрепыхалась, пойманная.

— Тихо, тихо! тихо... все хорошо... все, все уже...

По лестнице, боясь охоть, молча спускались любители повеселиться. Хромали. Спотыкались. Гейнц плакал, прижимая несчастное ухо. Дублон и еще кто-то тащили под руки бесчувственного Ульриха. У Крысак было вывихнуто плечо.

— Тихо!.. тихо!..

— А мы что?.. мы ничего... — заикнулся было Крысак, на миг поймав страшный, белый взгляд Глазуны. — Мы, как всегда!.. мы ж не знали...

На рассвете о трагическом «Донном круженье» заговорило все Дно.

Тех, кто мог ходить, без промедленья вызвали к братьям Втыкам.

Выслушав пострадавших, братья Втыки послали за Слепым Герольдом.

XXVIII

— Согласно же решению, принятому на Ратис-
боннской коллегии герольдов...

— Надутые дураки, — сказал слепец. Держась за плечо поводыря, он брел по брусчатке Шорного спуска. Люди уступали дорогу, а сердобольные ку-
мушки изредка, подбежав, совали в мешок булку или кольцо черной колбасы.

Перепадал и медяк-другой.

Поводырь, юноша с лицом умным и выдававшим твердость характера, кивнул, соглашаясь с мнением слепца. Сам он ни разу не был в Ратисбонне, не присутствовал на заседании коллегии герольдов, но слово учителя являлось для него неоспоримым догматом. Скажи слепец, что солнце есть часть небесного герба и желтый круг на лазурном поле означает близкий конец света, — юноша отнесся бы к этому заявлению крайне внимательно.

— Продолжай, Ламберт.

Юноша, которого, как мы уже выяснили, звали Ламбертом, кивнул.

— Итак, согласно вышеупомянутому решению, клинчатые щиты, а также щиты, рассеченные костью зубцами, принято располагать у турнирной арены не выше, чем способен достать рукой пеший маршал, коему доверено... Осторожно, учитель: здесь выбоина. Я продолжаю: щиты же с «улиточным» пересечением, смещенные к северному и северо-восточному краю арены, следует...

Слепец уже не слушал. Нет, это была не старческая рассеянность. Какие наши годы? — хотя в последние шесть лет слепец все чаще думал о себе как о дряхлом старце. В действительности ему не сравнялось и сорока. Впрочем, за каждый зрачок, аккуратно проколотый иглой палача-наемника, следует накинуть десяток лет. Спасибо доброму барону ле Шэн: не выжгли. А ведь мог распорядиться. Добрый барон Карл ле Шэн, отцеубийца и братоубийца, негласный бастард и гласный узурпатор — благослови Господь руку Жерара-Хагена Молниеносного, отправившую доброго барона в ад! Будь у слепца такая возможность, он бы целовал эту благословенную руку день и ночь. Правда, зрения это не вернет. Привыкнув скрывать изуродованный, мертвый взор под черной повязкой, слепец отбросил вместе с

ясным светом дня, утраченным навеки, и прежнее имя.

Хенингцы звали его просто: Слепой Герольд.

Он редко просил: подавали и без того.

— ...«Цюрихский» гербовник расходится с толкованием достопочтенного Бартоло из Падуи, считая в геральдике восемь почетных и более трех сотен второстепенных фигур. Из последних наиболее часто встречается «Большая Дюжина»: кайма, квадрат, клин, веретено, турнирный ворот...

Славный мальчик. Память, пожалуй, лучше, чем у самого слепца в юности. Такие способны составить подробный гербовник, лишь единожды обведя взглядом арену. Ах, взглядом!.. Боль, вечная спутница, кольнула сердце. Слепец споткнулся. С трудом выровнял шаг. Плечо Ламберта под пальцами было твердым и надежным. Очень славный мальчик. Вполне мог бы предстать перед любой коллегией, взыскав звания герольда, мейстера благородной науки. Вполне...

Как обычно, думая об этом, слепец испытывал стыд. Стыд застарелый, словно тоска по утраченному зрению. Кто, как не ты, отказал славному мальчику в обучении? — у тебя тогда было имя, слава и надменность, а у него не было ничего, кроме страстного желания изучать геральдику! Ты отказал ему даже в просьбе стать твоим слугой, собакой, рабом, не требующим иной платы, кроме как изредка слушать твои рассуждения и быть допущенным к свиткам твоей знаменитой библиотеки! У тебя было все, а он хотел учиться. И вот сейчас ты полумертвой клячей тащишься по Шорному спуску, а он ведет тебя, счастливый вашим нищенством, потому что обрел желаемое.

Счастливый поводырь ведет несчастного слепца.
Ирония Провидения.

— ...согласно телесным отличиям рода Лафарг, им присуща крепость рук, сравнимая с твердостью

миланской стали, а также особенности строения локтя, где «лепестковый» сустав позволяет костям предплечья... передается по наследству, по женской линии. Зная это, его высочество Густав Быстрый упрочил качества рода, взяв в жены Амальду Лафарг и закрепив за потомками, вкупе с общей подвижностью Дома Хенинга...

— Продолжай.

— Да, учитель.

Иногда Слепому Герольду казалось: в то время, когда его сердце переполняет ненависть к доброму барону ле Шэн, этот мальчик Ламберт тихо молится, дабы Карлу-Зверю простились в аду все прегрешения. Прошлого не изменить. Сколько ни тянись в былое, сколько ни всматривайся зрячей памятью: до слез, до крови. Слепой Герольд вспомнил, как был приглашен в замок Шэн: еще старым бароном Гольфридом. Старый барон подозревал в своем первенце Карле, которого еще никто не звал Зверем, чужую кровь. Не желая опорочить имя баронессы (без того сильно опороченное ее неразборчивостью в выборе любовников), старый Гольфрид решил все же передать майорат младшему сыну — если подозрения обретут почву под ногами.

Он устал от жизни, барон Гольфрид: участь большинства, чей Обряд случился давно. Однако продолжал заботиться о судьбе Шэнских земель, не желая оставлять их бастарду.

Лучший герольд Хенингской коллегии прибыл в замок Шэн. Согласно требованию Гольфрида, осмотрел обоих баронетов. И на основании неоспоримых признаков заявил: старый барон прав. В баронете Карле течет чужая кровь. Наиболее вероятно, отцом Карла является кто-то из рода Зигрейн, о чем свидетельствует обильность и жесткость телесного волоса баронета, именуемая в геральдике «кольчужной», а также уникальная плотность телосложения,

мало свойственная легким на ногу господам ле Шэн.

Майорат достался в наследство младшему.

А через два года Карл-Зверь поднял бунт. Объединив вокруг себя арьер-вассалов¹ баронства, желающих повысить статус, двинул арьербан на замок. Старый барон Гольфрид был злодейски убит во время осады, при взятии погиб его младший сын, и Карл-Зверь самовольно надел баронскую корону. Выполнив обещания по отношению к поддерживавшим его дворянам, злопамятный Карл ле Шэн не забыл тайно послать к слишком глазастому герольду палача-наемника.

С приказом: не убивать.

Лучше бы убил...

То, что Жерар-Хаген Рейвишский, согласно приказу герцога Густава, вскоре собственноручно покарал мятежника, не могло вернуть зрения Слепому Герольду. Даже объявление Карлова бунта подлой *феллонией* — преступлением, позволяющим расторгнуть вассальную клятву, — утешило мало. Как выяснилось, деньги имеют свойство быстро заканчиваться. Особенно если ты теряешь возможность их зарабатывать. Следом с молотка пошла мебель, утварь... вскоре — дом. Хенингская коллегия отказала в пенсии. Прощение Густаву Быстрому осталось без ответа. Прислуга разбежалась. Жена, чья бездетность раньше мало огорчала супруга, умерла от удара.

И вот: Шорный спуск, мешок за плечами, брусчатка ведет в никуда.

— Герб Дома Хенинга, со времен Альбрехта Кроткого включающий в себя знак Ответчика: рыбу

¹ Вассалы вассалов, младшие данники. Далее «арьербан» — ополчение мелких вассалов. Приставка «арьер» означает «второй сорт».

в колесе... пылающее сердце, также скрещенные руки, как символ верности...

— В сочетании с пылающим сердцем скрещенье рук подчеркивает: не просто верность, но *оммаж*, то есть клятва в верности. Будь внимательнее, Ламберт.

— Да, учитель. Благодарю. Но лазурь, означающая величие...

— Тем более.

Славный мальчик. Очень хочется спросить: не плачет ли он по ночам от неутоленного тщеславия. Сотни герольдов, которые Ламберту в подметки не годятся, блистают на турнирах, упиваются милостью сильных мира сего, держат речи пред братьями по благородной науке. А он водит убогого. Живет подаяньем. Спит в лачуге на окраине города.

Нет, Ламберт не плачет. К чему зря спрашивать. Он вообще не умеет плакать.

Временами Слепой Герольд завидовал характеру ученика.

— Пришли, учитель. Мы на Дне.

Слепец горько усмехнулся.

XXIX

Дверь бесшумно отворилась перед самым лицом. Запах дома. Жилого дома. Хозяева недавно обедали: луковый суп, запеканка с куриной требухой. Печень явно пережарили. Вино. Остывший глинтвейн с пряностями. Корицы больше, чем следует. Слепец до сих пор не научился безболезненно выныривать из своих размышлений. Словно палач-наемник всякий раз казнил глаза заново. Там, в недрах зрячей памяти, плескались цвета и краски, рельефы и формы. Лазурь, пурпур, изумруд. И вот ты слепнешь опять: звуки, ощущения... все.

Ночь.

— Рад приветствовать хозяев, — бросил он в темноту наугад.

— Заходите, — прочистив глотку, ответила темнота. — Большой Втык ждет.

Лестница под ногами, будто научившись у немой двери, скрипеть отказывалась. Колебания штор у щеки. Холодок перил. Легкий сквозняк: в спину.

— Осторожнее, учитель. Порожек.

Он все-таки споткнулся. Едва не упав навстречу гулкому:

— Наконец-то. Малый, распорядись: пусть накормят.

— Сперва работа, — возразил слепец.

Птица по-человечески вскрикнула у виска, обожгла плечо коготками. Сорвалась: вверх, налево. Воздух дрогнул (взмах руки? толстой руки?!); «Мавр! ц-ц-ц-ц, сюда!..» Коготки скрежетнули по твердому (подоконник? карниз буфета?!), и стало тихо. Только легкий шелест: ищется, наверное. Сунула клюв под крыло, шебуршит.

Над плечом дышал Ламберт.

Воздух комнаты, пропитанный запахом восковых огарков и сытной отрыжки, качнулся еще раз: сильнее. Шаги. Мягкие, шлепающие. Идет хозяин. В комнатных туфлях без задников. Слепой Герольд замечал: выныривая наружу, из уютного «я» в негостеприимное «здесь и сейчас», он и думать начинает по-другому. Коротко. Просто. Без затей. Слепец не мог представить лица братьев Втыков: Большого с Малым. Раньше не встречались. А теперь...

«Хотелось бы знать: сумею ли я когда-нибудь привыкнуть?»

— Где герб, который нам следует рассмотреть? — спросил он, подавившись словом «рассмотреть». — Ламберт, ты готов?

— Да, учитель.

Темнота долго смеялась.

— Герб? Вот тебе герб. Держи.

От большого неподвижного отделилось маленькое. Легкое. Подзатыльник? толчок в спину?! — маленькое раздвинуло воздух, оказавшись в объятиях у слепца. Он машинально потрепал взъерошенные волосы. Ребенок. Мальчик. Лет двенадцать, наверное. Тощий какой...

Ребенок пах дождем и куриной запеканкой.

— Вит, стой спокойно, — приказал Большой Втык. — Это наш человек. Он будет тебя трогать: не бойся. Ничего дурного. А я дам тебе потом золотой флорин.

Мальчик под руками задышал вдвое чаще. Видимо, золотой флорин казался ему несметным сокровищем.

— Что я должен сделать? — Слепец выпрямился. Дерзко выпятил подбородок. Не надо было спрашивать таким тоном. Лишнее это: дерзить. Сейчас обидятся, прогонят. Не накормят.

Он знал: людям неприятно смотреть на его лицо, перечеркнутое черной повязкой.

Особенно когда лицо становилось живым.

— Тебе заказан гербовый осмотр на признаки рода, — бросила темнота из угла. Другим голосом: бархатным, пыльным. Это Малый Втык. Это его голос. — С тщанием. Умение молчать оплачивается особо. Разумная забывчивость — сверх того. Понял?

Слепец не ответил. Конечно, понял. Оплачивается особо. Что тут не понять? Гербовый осмотр на признаки рода: не в замке, не в поместье. Не в шатре перед турниром. В доме братьев Втыков.

Тайный осмотр.

Все сошли с ума. Ты — раньше, они — сейчас.

Пальцы с ловкостью, дарованной годами опыта, пробежали по щуплому телу мальчишки. Желавший получить флорин, тот стоял смирно. Только сопел. Не любит, когда его трогают. Боится. Потерпи, малыш... дай руку... Что ж ты такой костлявый? Легкий хлопок: кожа в ответ чуть-чуть затвердела.

«Латный» признак? — следует проверить тщательно...

Вдруг ребенок просто замерз?

Или братья Втыки решили на сытое брюхо подшутить над бедным слепцом?

Резко согнутая в локте, рука мальчишки отчетливо хрустнула. Нет, скорее лязгнула. Слепой Герольд вздрогнул: он хорошо помнил этот звук. Согласно диссертату «Droit de recherche»¹: сгибать быстро, без предупреждения, дабы тело... Он согнул руку очень сильно, прижав предплечье к плечу. Умело вывернул.

Не может быть. Не может.

Хорошо, что это ребенок.

Хорошо, что, вдохновленный флорином, малыш поддается: иначе бы не удержать.

— Смотри, Ламберт. Внимательно. «Лепестково-клинчатый» локоть. Успел?

— Успел, учитель.

В голосе Ламберта, обычно спокойном, кипел восторг. Ну конечно. Поводырь все запоминал со слов наставника, но своими глазами никогда не видел. А тут увидел. Господи! — *увидел...* добрый барон Карл-Зверь, будь ты проклят ныне, и присно, и во веки веков!

Аминь.

Слепой Герольд повторил действия. На этот раз мальчишка перестал трястись, расслабившись, ответные проявления были крайне сглажены, но умница Ламберт знал, на что нужно обратить внимание. Наверняка заметит самый малый признак.

— Я видел, учитель.

Слепец знал, что именно видел поводырь. Ложная ссадина на «острие» локтя, именуемая в геральдике «змеиным венчиком», раздвигается, и наружу высовывается жало: локтевой «кин». Неестествен-

¹ Розыск прав на герб.

но узкий, граненый, словно стилет. Усиленный плотным прилеганием лучевой кости у «рукояти». Правда, любой стилет куда менее прочен. Правда, любая кость не имеет «мечевых долов» по всей длине. Правда...

Опытный лекарь готов душу продать, лишь бы исследовать.

Даром, что ли, лекари делают вид, будто презирают герольдов?

— «Латная» кожа, учитель.

Молодец. Ученик заметил и это. У Ламберта талант. Жаль, пропадет, сгниет в неизвестности.

Жаль...

— Наблюдай дальше. — Слепец вдруг ощутил возбуждение. Давно забытое чувство. Он еще не стар. Он умеет. Он знает. — Выворотность суставов. Малыш, стой смирно. Мне тебя не удержать. Ламберт, вот... и вот. Успел? Он не обучен, но все равно должно быть заметно.

— Да, учитель. Особенно колени. И шея.

— Малыш, подпрыгни. Ну?!

— Учитель! Он прыгает «мантикорой»!

— Продолжаем. Скорость движений... малыш, ты хорошо бегаешь?.. Кто-нибудь, дайте мне чашку винного уксуса! И тряпицу...

— Зачем уксус? есть вино!.. — заикнулся Малый Втык. Пыль слетела с его голоса, обнажив странную, не свойственную Малому деликатность. Младший из братьев всегда слегка робел перед чужим искусством, чей смысл оказывался ему недоступен.

Но Слепому Герольду было не до минутного торжества.

Восхищенные, теплые, зрячие пальцы уверенно пробежались по плечам, по груди... Ага, вот ямочка между ключицами. Выше, к левому плечу, где впадина... На правом, естественно, ничего нет. Смоченная уксусом тряпица осторожно заскользила по коже, покрытой гусиными пупырышками. Если не



знать, как, ничего не получится, кроме слабого покраснения. А если знать... нажим слабый, ритмичный... если все это не чудовищная ошибка... раз-два-три-пауза-раз-пауза... если Обряд проводился на протяжении хотя бы девяти поколений... смочить заново... если...

Сложный узор царапин, раздраженных уксусом и умелыми касаниями, выступил на плече. Слепец не мог их видеть, но сердце подсказывало: они там.

Есть.

— Ламберт! Скорее! Это ненадолго!..

— Да, учитель. Итак: корона, клейнод, намет, мантия...

...Когда, ошастливленный золотым, мальчишка смылся из комнаты, Слепой Герольд долго молчал.

Его не торопили.

— Что скажешь? — колыхнулась темнота двойным вопросом.

— Вы говорили: разумная забывчивость? — Слепец поднял густые брови. На миг показалось: там, под черной повязкой, прячутся глаза. Жесткие. Хитрые. Серо-стальные. — Я правильно услышал?

Взвесил. Измерил. Сосчитал.

Интересно: готов ли ты, безглазый нищий, рискнуть ради исполнения мечты своего поводыря?!

Не сейчас. Сейчас соврать — подписать себе смертный приговор. После.

— Ты о чем?

— О родовых признаках. Здесь, на Дне... сопливый оборвыш...

Птица довольно цокнула откуда-то сверху.

XXX

Вит так и не разобрался: на кой ляд понадобилось его щупать?! Впрочем, «за звон» пусть хоть каждый божий день в уксусе полощут! Он теперь

богатеи: вкупе с площадным заработком — это ж куча деньжищ получается! В придачу стало ясно: Глазунья тут не в атаманшах. Давно подозревал. Ну как полоумной девахе, пусть трижды ясновидице, над шайкой оторвиголов верховодить?! Толстун с верзилой, что за укус платили, — они здесь в за-
правилах.

Мальчишка был в восторге от собственной про-
ницательности.

Отпустили его лишь к полудни. Зато накорми-
ли от пуза. Во дворе, у лестницы, околачивался
Гейнц-дружок, однако, приметив Вита в калитке,
живо отвернулся. Заковылял к штабелю бочек: по
нужде, дескать, тороплюсь. Башка рыжего была
криво замотана тряпицей. Шагая к столу, где пили
пиво Юлих с Добряком Магнусом, Вит краем глаза
приметил спешащего прочь Крысака. Та еще вра-
жина, но чтоб удирать от него, Вита...

Левая рука Крысака покоилась на грязной по-
вязке.

— Кто их отделал?

— Ты, — неприязненно отозвался Добряк Маг-
нус.

У Вита аж в печенках слиплось.

— Я?! Кончай брехать, Магнус! По правде —
кто?!

— Ты! — сплюнул сквозь зубы Добряк. Припал к
кружке, заливая пивом широкую грудь. На миг ото-
рвался. — Вон, у Юлиха спроси...

Юлих молча кивнул, подтверждая.

— Я? Когда?!

— В День Суда, придурок!.. Тебе ночью «Донное
кружение» устроить хотели. Чин чинарем, шутейно.
А ты вырываться стал, как бешеный...

Вит честно попытался вспомнить ночные собы-
тия. Снилось какая-то муть, потом во дворе столбун
накатил...

— У Ульриха два ребра сломано. Гейнц ухо мало

не потерял, Крысак плечом мается. Щербатый Пауль теперь Беззубый! — перечислив Витовы подвиги, Магнус наконец усмехнулся. В баше громилы пробилося уважение. — Один Дублон целехонек: фартит гаденышу, как всегда! Ну ты и мясник, оказывается... Бацарь! Своих-то зачем?!

— Не бил я их!

— Брось врать! — снова озлился Магнус. — Ты зырь, зырь, как они от тебя шарахаются!

— Зырю... — Вит понуро шмыгнул носом. — Может, мне теперь тово... повиниться? Угощение выставить?

Рука сама нащупала увесистый кошель на поясе.

— Дело говоришь, — разлепил губы молчун Юлих. — Ну...

И опять онемел.

— Подь сюда! — кликнул Вит Крысака: вражина подслушивал из-за бочки. — Да не бойся! Возьми еще кого с собой и мотайте в харчевню. Вина спросите, баранины, капуста кислой... хлебца не забудь. Вот звон: держи...

Когда в сумерках вернулась совершенно измученная Матильда — ее вызвали к братьям Втыкам сразу после ухода Вита, — девку поначалу никто не заметил. Даже Юлих с Магнусом в первый момент проморгали. За столом текла ленивая, умиротворенная и не вполне трезвая беседа. Бацарь выставил «отступное», значит, верный честняк. Вина заглажена; «Донное кружение» прошло с блеском. Есть чего вспомнить!

— Ойфово ты мне вломил! — восхищался Гейнц. — Волчара ты лютый!

— А мне! — обижался Крысак, выставляя напоказ темно-лиловый кровоподтек под глазом.

На краю лавки ухмылялся давешний скоморох, изображавший на площади «рыцаря». В гости зашел. Звать Вита в фигляры. Обещал колпак с ушами: даром. Вит уже почти согласился, но вовремя

вспомнил о Глазунье — вдруг воспротивится?! — и важно пообещал подумать. Дублон, мостясь сбоку, одобрительно цыкнул. «Секи, Бацарь! Втыки на тебя крышу ладят! — шепнул на ухо, улучив момент. — Глядишь, к серьезной миске приставят. А скоморошить, гнилой звон с зырял сбивать...»

Подмигнул со значением. Вит в ответ кивнул: ага.

Хотя чего там «ага», и сам не понял.

Короче, явление Глазуны засек только кобель Жор: взвизгнул, попятился, норовя забиться под стол вместе с недогрызенной костью. Матильда не села — рухнула на лавку. Жадно схватила оловянный кубок с вином, осушила залпом. Замерла молча. Только губы дрожат: мелко-мелко. Синяки под глазами, волосы растрепаны, гугель набок сбился.

— Матильда! Что с тобой...

Возникший следом Крючок перехватил Вита. Увлеч в сторонку, жарко зашептал:

— Не трожь! Пророчить ее звали: по-настоящему. Эх, выпили девку до донышка!.. Ты, главное, не лезь...

Словно в ответ, скрипнула калитка, пропуская во двор нового гостя.

— А он... Он здесь откуда?! Неужто святой отец тоже...

В полном обалдении Вит глядел, как фратер Августин, памятный мальчишке еще по Хенингской Окружной, медленно идет к столу.

— Сам ты — «тоже»! К Глазунье он. Раз в месяц непременно заходит. Третий год подряд. Она ему... как дочь, в общем.

«Дочь? — изумился Вит. — У монаха — дочь?...»

— Вовремя вы, святой отец! — Бывший писец заспешил навстречу квестарю. — Будто учуяли...

Однако фратер Августин смотрел мимо Глазуны. А Крючком так и вовсе пренебрег. Строгий взгляд отца-квестаря был устремлен на Вита.

— Ну, благословен будь... — разлепились узкие губы. — *Melius est praevenire quam praeveniri!*¹ Не ожидал, право слово...

— Здоровы будьте, отче, — проямлил мальчишка, мечтая стать невидимкой.

— Хитер, блудный сын! Я, понимаешь, к пекарю Латрану: мол, как там молодой странник? А он: странник? Знать не знаю, не ведаю! Грешно старшим лгать, сын мой, а облеченным духовным саном — вдвое грешнее...

Вит побагровел от стыда:

— Я... я не лгал! Я взаправду, только... Тут лучше, святой отец!

— Бог тебе судья, — вздохнул фратер Августин. — Живи как знаешь.

И быстро направился к Матильде. Остановился рядом, вгляделся в каменное лицо.

— Опять грядущее прозревала? — осведомился монах с тайной болью. — Тяжкое дело, дочь моя. Говорил же: берегись, не насилуй душу сверх меры...

Продолжая бормотать укоризну, фратер Августин скинул на лавку суму. Нашарил внутри малый пузырек, выплеснул из кубка остатки вина. Темная пахучая жидкость закапала на дно.

— Выпей, дочь моя. Легче станет. Выпей... — Монах уговаривал девушку, как ребенка. За столом уже с минуту царила тишина: все следили за действиями святого отца. Похоже, его тут хорошо знали, и приход монаха не удивил никого, кроме новичка Вита.

Край кубка ткнулся в плотно сжатые губы Матильды.

— Прочь! Прочь, отравитель!.. Яд! Всюду яд! Отрава!.. Прочь! Не хочу!..

Матильда вскочила, толкнув цистерцианца. Кубок

¹ Лучше поймать, чем быть пойманным! (лат.).

покатился по земле, снадобье расплескалось. Взгляд пророчицы налился безумием. Или просто отразил пламя костра?

— Яд!.. дрова горят... огонь, дым! — отравы... дышать, хочу дышать!.. Убийца!!!

На фратера Августина было страшно смотреть. Он отшатнулся от девушки, словно внезапно увидел призрак. Обычно бледное, сейчас лицо монаха в отсветах костра казалось черным, обугленным. Тьма преисподней — и языки пламени жадно облизывают багровый мрак.

Адская мука — при жизни.

Здесь и сейчас.

— Отравы!.. прочь... не дам!.. — Матильда всплеснула руками. Вечер вокруг нее заструился, поплыл, замерцал звездной паутиной.

— Не позволю!

Огромный штабель бочек в углу двора начал с грохотом разваливаться. Два бочонка поменьше — Вит язык прикусил от изумленья! — взлетели в воздух, на миг зависли, колеблясь, и вдруг хищно ринулись к костру. Треск, искры... Со стола сорвались кувшин, блюдо, кружки с вином (одна сильно ударила девушку в плечо, но Глазунья только отмахнулась), тоже устремаясь в костер.

— Яд!.. прочь!..

Над костром взвился огненный вихрь. Рассыпался искрами по всему двору. Остервенело завертелись флюгера, встречая бурю. А Матильда с искаженным лицом продолжала выкрикивать невнятицу: брань? заклинания?! бред помутившегося рассудка?! Вечер ходил ходуном, делаясь то ночью, то сполохами восхода. Двор качался, в небо летели доски от бочонков, черепица с крыш, камни, одежда, сохнувшая на веревке; стая очумелых ворон взвилась целая поленница дров. Кобель Жор со всех лап кинулся бежать, подняв отчаянный скулеж и впервые в жизни бросив заветную кость.

— Изыди! Злобный бес, покинь сию душу!.. Араге, satanas!..¹

Цистерцианец бросился к Матильде, но темный ветер ухватил его за плащ, вертя волчком.

По двору гулял смерч, всасывая в себя все подряд; огненный дождь сыпался с неба, грозя Судным Днем. Глазунья стояла гвоздем, забитым в основу буйства стихий, тлеющие огрызки сыпались на девушку, но дочь Гаммельнской Пророчицы и Пестрого Флейтиста держалась, пока град досок не ударил в спину, швырнув на колени.

Вит очнулся. Сейчас полоумную деваху раздавит! сломает, сожжет!.. Знакомая букашка зашевелилась под листиком души. Дернулась, расправила жесткие крылья; скребя лапками, выглянула наружу. Вакханалия разрушения замерзла, подернулась льдом медлительности, будто во сне, летящие обломки вязли в киселе воздуха — и кузнечик прыгнул.

На свободу.

Тело жило само, легко следуя единственно верной ниточке меж камней и досок. Вот Матильда: падает. Падает, падает... Тенета вокруг провидицы стали липкими, коснулись, обволокли, пытаясь задержать. Острые углы локтей и коленей рванули паутину: сгинь! Грузное тело пушинкой легло на подставленное плечо.

— Яд!.. я...

Вит сам себе удивился. Вроде как душа из тела вынырнула, отошла и смотрит: чем это таким родное тело без меня занимается?! Ступеньки лестницы россыпью упали под ноги, чудно вскрикивая — с опозданием, уже где-то позади. Сердце в груди дремало, скучно постукивая. Не частило, не пыталось выпрыгнуть, опережая хозяина. Странное спокойствие снизошло на мальчишку. Он спасет Матиль-

¹ Отойди, сатана! (лат.).

ду, он обязательно ее спасет, по-другому просто и быть не может... шпильманы сложат балладу...

Позади бессильно завывал, издыхая, смерч. Грохотали обломки, что-то кричали оставшиеся во дворе люди: Вит не слушал. Пинком распахнул дверь мансарды. Осторожно уложил Глазунью на собственную кровать, приложил ухо к груди. Мягко... Покраснев от стыда, все-таки дождался глухого удара, другого, третьего. Девушка глубоко вздохнула, черты ее лица разгладились, теряя жесткость; за-костенелые руки обмякли, плетью упав вдоль тела.

Кажется, пронесло. Жива.

Пусть спит.

Судя по воплям, во дворе творилось неладное, и Вит поспешил обратно.

Смерч унялся. В воздухе больше ничего не летало, но миновать беды не удалось: всюду полыхал развалившийся штабель бочек. От него занялся дощатый забор, огонь грозил перекинуться на дома. Во двор высыпали «подонки», фратер Августин строил цепочку от колодца: с ведрами, мисками, кувшинами. Ох, Глазунья!.. натворила девка дел! И что на нее нашло?

Однако долго размышлять было недосуг. Схватив пустую лохань, Вит побежал к колодцу. Отметив по дороге: все вокруг опять заползали сонными мухами. Перепились, что ли? Глаза слезились, под веками началась резь. Приближался «курий слепень»: штука редкая, но гнусная, когда мальчишка надолго терял зрение.

Надо спешить.

XXXI

Церковь Фомы-и-Андрея на площади Трех Гульденов — застывший полет сокола. С руки, благоразумно одетой в перчатку булыжника, — в небо. Золоченое кольцо на куполе — птичий глаз ищет до-

бычу. Серая, увенчанная шпилем громада ратуши напротив выгодно оттеняла райскую красоту церкви: тело и душа, земное и высшее. Бренное «здесь» и вечное «там». Это отмечали все гости Хенинга, посетив знаменитую площадь, где однажды сам Альбрехт Кроткий ударил о брусчатку тремя золотыми, завершая согласно традиции открытие новой ратуши.

У церковной ограды толпился всякий сброд.

Нищие пахли грязью и застарелой тоской.

— Ты все запомнил? — в сотый раз спросил Слепой Герольд. Искренне надеясь, что его запах — иной. Сегодня это понадобится. Утром он долго плескался у лохани с ледяной водой, втайне радуясь холоду: это очищало голову от страха. Вонь нищеты, пропитав насквозь жалкое существование слепца, должна уйти. Хоть на день. Хоть на час. Можно стоять у ограды, можно даже торчать на паперти (оттуда Ламберту хорошо видны подъезды к ратуше), но нельзя кланчить грошик. Нынешний день — не для просьб. Не для жалоб. Нынешний день — для судьбы. Конечно, лучше ждать прямо у ратуши — но там стража, готовясь к встрече Рейвишского юстициария, прогнала бы сразу.

Губы высохли. Надо перестать их облизывать. Это стыдно.

Надо, но не получается.

— Я запомнил, учитель, — тихо ответил Ламберт. Волнение слепца передалось юноше: голос поводыря, обычно ровный, слегка дрожал. Слепой Герольд не стал посвящать юношу в свой замысел, надеясь, что в случае провала головорезы братьев Втыков пощадят Ламберта, но чуткий к настроению учителя поводырь ощущал: творится необычное. Юноша никак не мог избавиться от иллюзии, что под черной повязкой слепца объявились глаза. Которые все видят. Вот и сейчас: учитель привстал на

цыпочки, повернул странное, молодое, живое лицо к ратуше...

Словно бросал тьму незрячести через площадь с приказом любой ценой принести ответ.

— Повтори!

— Да, учитель. Я должен подойти к Рейвишскому юстициарию, рыцарю Эгмонту Дегю, и сказать...

Слепец перестал слушать. Конечно, мальчик все прекрасно запомнил. С его-то памятью! Главное в другом: он должен говорить быстро, чтобы не успели перебить, прогнать, но при этом сохранять достоинство, чтобы его попросту не отшвырнули пинком. Успеть сказать, чтобы услышали, но сказать так, чтоб *услышали*. Сложная задача. Ламберт слишком юн, слишком неопытен...

Мальчик справится.

Обязательно.

— ...как мне узнать его?

— Кого? — Слепой Герольд вынырнул из тревожных дум.

— Эгмонта Дегю.

— Он будет в белой сорочке. Он всегда ездит... Раньше он всегда ездил так, строго блюдя орденский устав Колесованной Рыбы. На правом плече...

Слепец замолчал. Улыбнулся:

— Не слушай меня, Ламберт. Это все глупости. Они будут верхом. Просто приглядишься, кто как сидит в седле, и ты сразу узнаешь Эгмонта Дегю. Даже если он не станет ехать первым.

Вчера утром Слепой Герольд решил зайти к мастеру Филиппу ван Асхе. Хенингский Душегуб прежде часто обращался к слепцу, тогда еще зрячему, с просьбой подробно истолковать чей-то герб (особенно новый!) или составить перечень родовых признаков после третьего Обряда в семье. Хорошо платил. Иногда любил поговорить о пустяках, за бокалом кларета. С большим знанием дела обсуждал

решения коллегии. Слепой Герольд знал: при желании мейстер Филипп способен устроить ему аудиенцию даже у Густава Быстрого, не говоря о Жераре-Хагене цу Рейвише. Если захочет. Если...

Мейстера Филиппа не оказалось дома.

«Ушли они...» — пробасил Птица Рох, известный слепцу по былым временам. Спрашивать: «Куда? Надолго ли?» — не имело смысла. Слуга уже захлопнул дверь. В итоге остался единственный, самый опасный способ. Слепец очень надеялся, что люди братьев Втыков не следили за ним, а если и следили, то восприняли приход к Душегубу как попытку нищего калеки выклянчить милостыню у старого знакомого. Мало ли, что за тайный «Droit de recherche» Втыки расплатились более чем щедро?! — нищета склонна к жадности.

Слепец очень надеялся, что возможные соглядатаи думают именно так. Главное — дойти. Успеть сказать. Он долго искал нужные слова. Драгоценные слова, способные привлечь внимание сразу. Кажется, нашел.

— Едут! Учитель, они едут!..

— Пора!

У щеки лязгнуло: оружие, предписанное обоим, Ламберт прислонил к ограде. И только когда поводырь зашагал через площадь к ратуше, слепец понял: насколько он привык к вечному присутствию юноши рядом. К дыханию. К голосу. К вопросам.

Бесконечное терпение.

Тихое счастье.

Сейчас все это шло через площадь, оставив слепца за спиной.

«Если ничего не выйдет, — подумал Слепой Герольд, — я повешусь». Он знал, что жлет. Ему никогда не свести счеты с жизнью. Не потому, что смертный грех. Просто Ламберт...

Эгмонт Дегю, бывший гюрвенал юного наследника, а в последние двенадцать лет — юстициарий графства Рейвиш, пребывал в рассеянности. Это сделалось его обычным состоянием: мягкий, теплый, уютный кокон, вовсе не мешающий исполнению обязанностей. Таковых, в благодарность за опеку, Жерар-Хаген Молниеносный доверил своему *maistre de cortisie* множество: представлять особу сюзерена в суде, следить за поступлением доходов, а также участвовать в обсуждении дел и давать советы. Дважды Эгмонт сражался бок о бок с воспитанником: при усмирении мятежа в баронстве ле Шэн и в пограничной стычке с наемниками из Майнца. Собственных сыновей рыцарь не любил так, как молодого графа, но и любовь, окутанная рассеянностью, все реже заставляла сердце биться взахлеб, как в давние годы. Жизнь превращалась в привычку. Как давно стал привычным орденский наряд: «осиные», полосатые штаны и белизна сорочки с закатанными до локтей рукавами.

Сейчас господин юстициарий подпишет две-три грамоты, и можно будет уезжать.

Завтра или послезавтра он покинет Хенинг.

Кто-то тронул стремя: скромно, просительно, но в то же время с редким достоинством. Рыцарь опустил взгляд. Бедно одетый юноша смотрел на Эгмонта, ехавшего первым, снизу вверх. К юноше уже бежала стража: обманутые спокойной походкой наглеца, стражники промедлили, опоздав задержать прежде, чем юноша приблизится к Рейвишскому юстициарию.

— Молю простить вынужденную дерзость. — Голубые глаза юноши смотрели ясно, не моргая. — Мой учитель велел передать: у него есть важные сведения, касающиеся герба цу Рейвиш. Речь идет о пурпурном пеликане под сенью шатра...

Больше он ничего не успел сказать. Подлетев волчьей сворой, стражники ухватили за плечи, за одежду. Поволокли прочь. Эгмонт Дегю рассеянно глядел вслед юноше. Станный человек. Сумасшедший? Не похоже. Слишком опрятный. Речь идет о пурпурном пеликане... Когда дело касается герба, пурпур означает высокое достоинство рода. А пеликан? Кажется, родительскую любовь к детям. И наконец, сень шатра: символ владычества над землями.

Если соединить вместе...

— Стойте!

Изумленные, стражники остановились. Юноша висел в их руках, умудряясь при этом сохранять прежнее достоинство. Даже свежий кровоподтек на щеке мало что менял. Редкое качество для простолюдина.

Конь юстициария прынул вперед. Род Дегю, древностью мало уступавший Дому Хенинга, издавна славился искусством конного боя. Рыцарю не требовались удила с уздечкой для управления благородным животным, да он и не помнил, когда оскорблял коня этими предметами. Легкое движение бедер, и гнедой скакун настиг стражников.

— Отпустите его! Ты сказал: твой учитель...

— Пусть господин юстициарий обернется. Мой учитель уже идет.

Эгмонт повернул голову. От церкви Фомы-и-Андрея к ратуше брел какой-то слепец. Черная повязка через все лицо. Предписанный сословной грамоткой, узкий меч-эсток стучал о булыжник: слепец использовал оружие вместо палки. Пурпурный пеликан?! Речь, достойная опытного герольда, а не увечного бродяги. Построенная так, чтобы сразу пробудить интерес в собеседнике, — если, конечно, твоим собеседником является бывший гюрвенал Жерара-Хагена и у тебя есть всего минута, чтобы сказать нужное.

— Как зовут твоего учителя?

— Сейчас горожане зовут его Слепым Герольдом. Раньше он носил имя Эразм ван Хайлендер.

— Хайлендер?! — Рассеянность сдуло ветром памяти. — Магистр семи коллегий? Ослепленный мятежником Карлом ле Шэн?!

Ответа рыцарь не дождался. К слепцу, замедлившему шаг на середине площади, бежали люди: трое. Нет, четверо. Бег их не сулил ничего хорошего. Опытные головорезы: по повадкам видно. Еще миг, и со сведениями о «пурпурном пеликане под сенью шатра» можно будет проститься. Со сведениями, за которые кто-то готов убить нищего калеку на глазах у юстициария графства Рейвиш.

Эгмонт Дегю бросил коня в галоп.

Так бросают нож: без замаха.

Стража, забыв о злоумышленнике, ахнула. Да и сам Ламберт не сумел сдержать восхищенный вздох. Юноше никогда раньше не приходилось видеть рыцарей Дегю в деле. Гнедой еще не поравнялся со слепцом, когда белая сорочка плеснула выюгой, и дивная птица прынула с седла в воздух, опережая бег коня.словно сама церковь, вольный сокол небес, застывший на перчатке из камня, вдруг продолжила полет, награждая верных и карая грешников. Взмах крыльев, мелькание когтей-пальцев; клекот пернатого хищника, павшего на стаю щеглов, — в ответ хриплый стон оглашает площадь, скованную немотой. Один-единственный стон самого быстрого щегла: егохватило на этот звук.

Остальные люди братьев Втыков умерли молча, не успев понять, что умирают.

Рыцарь легко вернулся в седло подскакавшего гнедого. Выпрямился:

— Я вижу перед собой герольда Хайлендера?

Черная повязка смотрела прямо в лицо Эгмону Дегю.

Карету мейстер Филипп оставил за Лысым Бугром, велел кучеру ждать его возвращения. Обнадеженный задатком, кучер молча следил: темно-бордовый, почти черный грач вприпрыжку спускается вниз, к запруде — и дальше, к мельнице.

А Филипп ван Асхе уже забыл о нем.

Когда сердце, словно привратник, встречало в дверях приход важных событий, он всегда становился медлительным, слегка не от мира сего. В глазах, апрельски-белесых, воцарялась ключевая прозрачность, движения сквозили безмятежностью покоя, а лицо примеряло улыбку за улыбкой, выбирая нужную. Эти изменения были луковой шелухой, скорлупой ореха, скрывавшей ядро сосредоточенности. Незнакомые люди мигом проникались расположением к милейшему человечку: пожилому, солидному, но сумевшему сохранить здоровье и чудесную бодрость духа.

Не одни люди. Мыши-полевки, покинув норы, спешили вслед. Над головой кружились птицы. Вереница муравьев изменила привычной тропе, свернув за дорожными башмаками. Заметив это, мейстер Филипп взялся насвистывать мотив шутиливой песенки «Марта, Марта, надо ль плакать?!», и странная свита отстала.

«Дом мельника вона! За пригорком!» — подсказала встречающая крестьянка.

Во дворе дома крупная, костистая женщина кормила цыплят. У хозяйки был вид человека, перенесшего тяжелую болезнь: бледность, вялость. Отечность лица. Но двигалась женщина уверенно: телесная крепость брала свое, преодолевая остатки хвори. Все это мейстер Филипп высмотрел в щель забора. Наверное, выглядело смешно и нелепо: дорого одетый бюргер, оставив трость, припал глазом к до-

скам. Во всяком случае, перестав подглядывать, Душегуб рассмеялся, как если бы одновременно исхитрился следить за самим собой. Или внешность хозяйки подтвердила что-то в его размышлениях.

Достал надушенный платок, вытер лоб.

Рукоятку трости постучал в ворота.

— Молю простить внезапное вторжение! Вам поклон от вашего сына!

Держа корзину с кормом на сгибе локтя, хозяйка молча смотрела на гостя. Крохотный цыпленок толкался у ее ноги, подбирая крошки. Молчанье затягивалось, делаясь неловким.

Лицо мейстера Филиппа перебрало дюжину улыбок, пока не нашло лучшую.

— Вы боитесь меня, милочка? Ваши опасенья напрасны: малыш жив-здоров, чего и вам желает! Он у хороших людей, о нем заботятся...

— Уходите, — вдруг сказала женщина, бледнея. — Уходите... Душегуб.

— Мы знакомы? — Тонкая рука коснулась края шляпы. Блеснул серебром шнурок, обвивавший тулью. — Я полагал... Впрочем, к чему лгать: я так и полагал. Ведь вы, милочка, и есть беглая шляпница, рискнувшая около тринадцати лет тому покинуть заведение Толстухи Лизхен?! Не поверите: в день вашего побега я находился у ворот заведения. Случайно. И слышал скандал: надо заметить, весьма громкий. Люди в ливреях с Рейвишским грифоном весьма досадовали. Вас ведь не нашли?

Хозяйка выронила корзину. Желтые комочки гурьбой ринулись клевать рассыпанный корм. Из-за амбара выбрались две собаки: крупный пес, явно злобного нрава, и чернявая сучка. Двинулись к воротам, скаля клыки. Мейстер Филипп снял на время улыбку. Насвистал три такта из «Баллады Призраков».

Собаки поджали хвосты. Отступили.

— Вам совершенно нечего бояться, милочка. —

Радующие вновь снизошло на лицо Душегуба. Удивительно: оно казалось искренним. — Я желаю вам и вашему сыну только добра. Возможно, вы не понимаете, но без моей помощи он, как говорится, до свадьбы не доживет. Ведь приступы становятся чаще, я прав?

Взгляд хозяйки блеснул слюдой истерики:

— Вы не поймали его. Вы хотите отдать его страже! отправить на плаху... Но вы не поймали его! Вы...

— Милочка, бросьте! Отдать страже? Плаха?! За что?!

— За убийство мытаря! Вы...

— Этого следовало ожидать, — сказал мейстер Филипп сам себе. В этот миг он настолько забыл о хозяйке, что она внезапно поняла: Душегуб явился за другим, ничего не зная о случившейся беде. — Хореныш подрастает среди цыплят. Не спрятать. Ладно...

И, снова повернувшись к женщине:

— Я не служу в магистрате. Розыск беглых преступников вне моих интересов. Пригласите меня в дом, хорошо?

· XXXIV

Жюстину в лупанарий продал отец. Бывший скобарь, пьяница Жиль Ремакль после смерти жены совсем осатанел. Бродил по улицам в непотребном виде, зарабатывал тем, что виртуозно пускал ветры, гася свечу. Случайные собутыльники веселились, ставя выпивку. Для Жюстины отец и боль шли рука об руку. Он всегда делал дочери больно, а в последний раз сделал больно чуть-чуть, но очень испугался и убежал. Хенингцам в тот день довелось увидеть чудо: трезвого Жилия, который кричал о пекле, где ему кое-что прищемят калеными клещами. Впрочем, к вечеру он вновь напился.

Утром его нашли в канаве мертвым.

А к Жюстине явилась Толстуха Лизхен, показав бумагу с отцовской подписью. Читать девочка не умела, но сопровождавший Толстуху человек в бобровой шапке сказал, что все правильно, и если приходится выбирать между счастьем и голодной смертью, то выбор ясней майского солнышка. Жюстина выбрала счастье. Будучи не особо стыдливой, она спокойно разрешила Толстухе осмотреть себя, и Толстуха осталась довольна.

«Сильная кровь», — сказала Лизхен.

«Я сделаю из тебя славную пышечку», — сказала Лизхен.

И они пошли прочь от развалюхи, боли и памяти о Жиле Ремакле.

Жюстине понадобился месяц, чтобы привыкнуть, год — чтобы расцвести, и не более дня, чтобы решить для себя: последний поступок отца был продиктован ангелами. Окажись она в обыкновенном доме терпимости, ее сразу бросили бы под веселого гостя, и неизвестно, как дальше сложилась бы судьба Жюстины Ремакль. Век блудницы короток: лепестки осыпались, и вон на помойку. Но Толстуха Лизхен была из *особых*. Опытный глаз различил в девочке, крепкой, несмотря на жизнь впроголодь, и выносливой, словно кожаный ремень, задатки будущей шляпницы. Лизхен сама вышла из шляпниц: это с возрастом она располнела, а лет двадцать назад Толстуха сумела доставить удовольствие маркграфу Швабскому, посетившему Хенинг с визитом, и остаться при этом в живых.

Для знающих людей это говорило о многом, ибо род маркграфа был древним.

Вместе с Жюстиной к дальнейшим трудам неправедным готовилась еще дюжина девочек. Сильных, плотного сложения. Малочувствительных к боли, и дочь Жили-пьяницы не раз бы вспомнила побои отца, закалившие ее плоть, добрым словом,

когда б не забыла о родителе навсегда. Толстуха Лизхен, благоразумно не спеша давать уроки лично, взяла девочкам учителя: акробата Мизогина. За какие добродетели акробата наградили кличкой, чей смысл — Женоненавистник, долгое время оставалось для Жюстины темным. По причинам, о которых будет сказано ниже.

Мизогин был не из тех вертлявых шутов, кто крутит сальто на потеху зевакам. Человек-гора, он жонглировал мясницкими гирями, рвал цепи и, уложив на плечи оглоблю, крутил гирлянды визжащих красавиц. Платили жирные пекари — крутил и их, но уже дороже. Дрался на кулачках, «по-благородному», с кузнецами; прославился победой над Жги-Ветром, великаном-молотобойцем. Прошлой зимой, застудив спину, надолго осел в харчевне «Злой карась», где и был нанят Толстухой. К весне Мизогин перепробовал всех шляпниц и, ранее будучи неприхотлив в отправлении естественных потребностей, пришел в восторг. Втайне мечтая о тихой должности привратника, он работал не за страх, а за совесть, и мечта акробата однажды сбылась.

На рассвете Мизогин подымал начинающих шляпниц криком.

Выгонял на двор.

Пока девицы умывались у колодца (греть воду запрещалось даже в феврале!), Мизогин располагался на скамеечке под акацией. Глазки акробата, похожие на две линиялые пуговицы, равнодушно следили за полуодетыми шляпницами. Труд — отдельно, похоть — отдельно. Жюстина позже вспоминала эти дни, как самые светлые в ее жизни. Румяная от холодной воды, девочка вслед за подругами принималась бегать вдоль забора, пока акробат пил три утренние кружки пива. Ровно три, ни одной больше, ни одной меньше. Медленно. Отдыхая между глотками. А девочки бегали, и подолы ночных руба-

шек развевались на ветру, открывая взглядам крепкие ноги.

Наконец пиво заканчивалось.

Начиналась работа.

Вспомнив молодость, проведенную в дряхлом фургоне, Мизогин показывал, как надо тянуть сухожилия, мучить суставы, заставляя их выворачиваться чуть ли не наизнанку, как понуждать тело выполнять безумные приказы. Учил держать удар — большинство девочек совершенно не понимали, где и зачем им это может понадобиться, но все старались. Заставлял до ломоты в костях таскать тяжести. Требовал падать: раз за разом, на утоптанную землю, на булыжник, на деревянный порожек, и бранился, если девочки жаловались.

Жюстина не жаловалась никогда.

Она была любимицей Мизогина, хотя он бы скорее умер, чем сказал об этом вслух. Холостой бездетный акробат иногда думал, что Господь несправедлив. Жиль Ремакль, скот и мерзавец, получил от провидения такую дочь. А он, отставной фигляр, ныне слугитель лупанария, не может дать бедной девочке ничего, кроме умения, столь необходимого для ее будущей работы. Если так, Мизогин отдаст все. Без остатка. Часто бывало: разогнав измученных девиц отдыхать, акробат еще час возился с одной Жюстиной, обучая разминать затекшие мышцы, снимая усталость.

Стареющий силач под любовью понимал совсем другое, поэтому не знал, как назвать тихий трепет души. Опять же, годы: связался черт с младенцем... Но, понимая, что отказа не будет, ни разу не прикоснулся к Жюстине иначе, чем касается учитель ученицы.

Толстуха Лизхен поощряла эту смешную привязанность. Вскоре Лизхен сама взялась за обучение девиц. Ее уроки были не менее утомительны, чем занятия с Мизогином, но куда более разнообразны.

Любимая поговорка Толстухи: «У коня для меня недостаточно огня!» Смысл шутки скоро стал для Жюстины ясней майского солнышка, о котором однажды упомянул человек в бобровой шапке. Дворянин из свиты графа цу Вальд заказал в лупанарии шляпницу на вечер, и выбор Толстухи пал на Жюстину. Лизхен была умницей, бережно относясь к полезному имуществу, каковым полагала своих девочек. В роду сластолюбивого дворянина цепочка Обрядов насчитывала менее пяти звеньев — для начинающей шляпницы это вряд ли представляло серьезную угрозу. Особенно для лучшей среди новеньких, каковой Толстуха справедливо считала Жюстину.

Заказчик остался доволен.

А Жюстина на всю жизнь сохранила воспоминание об этой ночи. Потому что первая. Потому что тело, испугавшись, сперва напряглось, и дело едва не закончилось печально. Дворянин был нежен, он меньше всего хотел причинить милой «пышечке» боль, но пальцы его могли содрать не кожу — кору с дубов, а объятия напоминали стальные обручи из сказки про Лягушонка-Генриха. Когда, забывшись, он задвигался вольно, отдаваясь страсти, Жюстине понадобилась вся наука Мизогина и Толстухи, чтобы уцелеть. Уже позднее она поняла: нет, не вся наука. Малая часть. Но тогда казалось: вот-вот, и брменная плоть не выдержит натиска. Хорошо хоть, можно было стонать. Нужно было стонать.

Это выручало.

Доведись молчать, и Жюстина бы не выдержала.

Толстуха Лизхен, врачуя синяки, поздравила с первой победой. Похвалила. Купила новое платье: с оборками. Чепец, весь в лентах. А Жюстина удвоила рвение, выжимая из Мизогина последние капли его мастерства. Вечерами прося Лизхен показать тайные способы. Учась варить питье для восстано-

ния сил. Смешивая целебные мази. Ставя в холодильник настои: одни позволяли легко скинуть ребеночка, другие делали боль далекой, мутной, почти не страшной. Вскоре цена Жюстины удвоилась. Утроилась. Толстуха иногда видела в дочери Жиля-пьяницы себя — молодую! упрямую! В такие минуты Лизхен всерьез подумывала завещать Жюстине лупанарий.

Эта сможет.

Вскоре Жюстина свела знакомство с белошвейками. Шляпницы и белошвейки обучались отдельно, жили также в разных крыльях дома, редко общаясь друг с другом — мешала разница в подходах. Сильные, гибкие шляпницы презирали субтильных, утонченных «ангелочков»; последние платили «ослицам» тем же. Жюстина поначалу вела себя подобно подругам, но Лизхен как-то выругала ее, намекнув: у каждой свечи есть два конца. И неглупо бы присмотреться, если, конечно, Жюстина хочет...

Толстуха многозначительно замолчала.

Жюстина кивнула, начав присматриваться.

Белошвеек заказывали астрологи, прорицатели, музыканты, был даже один колдун из Геттена. Короче, те люди, кого Обряд делал гением, одновременно превращая в полную развалину. Но, как и прочим, им хотелось случайной любви вне семьи. Жюстина отлично понимала, почему любовь дворянина может убить неподготовленную женщину, но здесь дело обстояло иначе. Помнился случай, когда плохо обученную белошвейку привели от некоего Томазо Бенони, герцогского звездочета, под руки. Бедняжка всю ночь пела «Мой милый в берете с пером!», а утром прыгнула из окошка, сломав шею. Звездочет потом прислал к Толстухе невольниканубийца с письмом, где сожалел о случившемся, рекомендовал лучше обучать девиц и передавал кошель с сотней флоринов.

Весь лупанарий сбежался смотреть на чернокожего урода.

Учитель-акробат был белошвейкам ни к чему. Равно как и уроки Лизхен, бывшей шляпницы. Девушек учили читать и писать, рисовать кистью и углем, играть на лютне, арфе и трехструнном ребеке, декламировать стансы и рондо, кружиться в танце и отличать покрой «рунделл» от покроя «гарнаш». Старуха Клотти, в прошлом знаменитая белошвейка, раскрывала им тайны ласк утонченных, изысканных, способных поднять из гроба мертвеца, заставив труп излиться в экстазе. Если дворянина требовалось скорее укрощать, то любовь белошвейки становилась целым представлением, где музыка, пение, рифмы и ритмы сливались с хрустальным соблазном, искушая хилую плоть титанов духа. При этом девицы, пройдя школу старой Клотти, оставались бесстрастными в самые пылкие минуты, сохраняя душевное равновесие.

Жюстина кое-что даже почерпнула для себя, хотя шляпницы и белошвейки отличались больше, чем небо и земля. Знатный кавалер, легко проведя ночь со шляпницей, убил бы белошвейку в первый же миг соития. Астролог вроде сьера Томазо, без последствий любя умелую белошвейку, быстро лишил бы шляпницу рассудка. Что ж, даже если Господь впрямь создал людей по Своему образу и подобию — люди мигом превратили один образ во множество и одно подобие в тысячи.

Дочь Жилия-пьяницы выучилась грамоте. Кое-как стала бренчать на ребеке. У нее изменилась речь, сделавшись более гладкой. Походка, жесты... по ночам ей даже начали сниться удивительные сны: мягкие, будто ладонь ребенка.

А потом был юный Жерар-Хаген, сын герцога Густава.

— Почему вы сбежали из лупанария, милочка?

Мейстер Филипп откинулся назад. У лавки отсутствовала спинка, поэтому Душегуб чуть не упал, но вовремя восстановил равновесие. Мягко улыбнулся, приглашая посмеяться над собственной рассеянностью. Жюстина приглашения не приняла.

Тяжелые руки женщины лежали на столе: две ковриги хлеба.

— Я любила мальчика. Можете смеяться сколько угодно, но я его любила. Совсем зеленый... всего боялся... Понимаете, он первый, кто так сильно боялся причинить мне вред. Позднее мальчик сказал: отец предупредил его заранее о возможных последствиях. И он испугался. Это было... сын Густава Быстрого: бледные щеки, робость... Вам не понять.

Душегуб взял початую кружку пива. Смочил губы.

— Отчего же? Я прекрасно понимаю вас, милочка.

— Прекратите! — Лицо женщины исказила гримаса ярости. — Прекратите делать вид, будто сочувствуете! Это вы все поломали! вы! Я не знала, что понесла!.. а вы...

Руки Жюстины сжались в кулаки: хлеб стал камнем. Но она быстро овладела собой.

— После Обряда он неделю не приходил. Десять дней. Я ждала. Он обещал... дом, содержание... Ночами я завидовала его невесте. Безнадежно, просто так. Лизхен ругалась. Звала дурой. Да, я дура! Но не полоумная — мне ясна пропасть между Жераром-Хагеном Рейвишским и шляпницей из особого лупанария. А потом он пришел.

Пиво горчило. Мейстер Филипп (...лиловая кожа винограда: светится...) отхлебнул еще глоток, слушая женщину вполуха. Он вполне представлял себе дальнейшую историю. Юный Жерар-Хаген явился взрослым Жераром-Хагеном. Торопливым.

Безразличным. Наскоро удовлетворив похоть, он не захотел поговорить с любовницей. И впервые велел Толстухе привести к нему вторую шляпницу: одной Жюстины молодому графу Рейвишскому теперь оказалось мало. Душегуб знал, что первые месяцы после Обряда титулованные особы меняются, и в первую очередь меняется их потребность в плотском удовлетворении.

Позже река входит в прежнее русло, но это позже.

— Сейчас мне легче. — Голос женщины хрустел ноябрьским ледком. — Я поумнела. Выздоровела. А тогда едва не сошла с ума. Я была уверена: он ушел, он больше не вспомнит обо мне. А если вспомнит... Впервые в жизни мне, привыкшей сносить боль, захотелось сделать больно кому-то. Ему. И я сбежала. Лучше сдохнуть в канаве. Зато он, послав за мной или придя сам, узнает... и ему будет...

Жюстина встала. Подошла к окну. Стоя спиной к Душегубу, обеими руками с силой провела по лицу. Во дворе кудахтали куры: тень ястреба пугала жирных наседок.

— Я покинула Хенинг. Без денег, не собрав вещей в дорогу: ушла, как есть. Февраль — плохое время для побегов. Когда б не наука Мизогина, я бы, наверное, и до Запруд не добралась. Замерзла под кустом. А так... Меня подобрал старый мельник Юзеф: я лежала у шлюза. Принес в дом, выходил. Я жила с ним, с семидесятилетним. Старик был крепче дуба. Потом с его сыном, со Штефаном. Мне было все равно. И жене Штефана было все равно. Даже обрадовалась: муж раньше бил ее, а теперь перестал. Когда родился Витольд, все полагали, что дитя — сын Юзефа. Недоношенный. Вит родился маленьким...

— Милочка, — сейчас Душегуб стал почти искренним. — Как вам вообще удалось родить этого мальчика? Ведь вам, опытной шляпнице, должно

быть известно: такие дети рождаются мертвыми, заодно норовя убить роженицу!

Женщина пожала плечами:

— Не знаю. Я действительно едва не умерла, рожая...

XXXVI

Наутро следующего дня Филипп ван Асхе пребывал в наилучшем расположении духа. Вчера, за полночь вернувшись домой из поездки, ему удалось, прежде чем отойти ко сну, принять решение.

Очень важное.

Разумеется, решение сие зрело у мастера Филиппа не один год. Он долго выверял его и взвешивал, прикидывал возможные осложнения и открывающиеся выгоды. Так опытный торговец пытается заранее оценить барыш от рискованной сделки, уяснив для себя: стоит ли игра свеч? Игра свеч стояла. Многих свеч: восковых, фигурных, способных ярко осветить тьму заблуждений. Теперь Душегуб был уверен в этом. И, едва встав с постели, приступил к воплощению давнего замысла. Хотя действовать, по большому счету, он начал еще вчера, в Запрудах, убедив Жюстину поставить свою подпись (к счастью, беглая шляпница оказалась грамотной!) на соответствующей бумаге.

Завтракая яйцом всмятку, установленным в серебряную рюмочку, а также свежими гренками с маслом, мастер Филипп испытывал легкое (*...ко-
сые лучи солнца шутят: радуга на кончиках ресниц...*) возбуждение. Азарт предчувствия. Предвкушения грядущих событий. На обычно бледных щеках Душегуба выступил слабый румянец, что с ним случилось нечасто.

Мейстер Филипп даже чуть вспотел.

Закончив завтракать и промокнув губы кружев-

ной салфеткой, Филипп ван Асхе тихо, но отчетливо хлопнул в ладоши. Птица Рох не замедлил возникнуть в дверях. Распоряжение было коротким и ясным. К счастью, некая Матильда Глазунья, при которой обретался мальчишка, слыла в городе особой известной. Мейстер Филипп искренне надеялся: выяснить местонахождение последней не составит труда даже для слуги, отнюдь не блещущего умом.

...Продолжая размышлять о своем, фратер Августин обернулся на скрип калитки. Меньше всего монах ожидал увидеть входящего во двор мейстера Филиппа. Однако и для Душегуба подобная встреча явилась полной неожиданностью! Особенно учитывая странное совпадение: перед выходом из дома он наконец получил долгожданную резолюцию Совета Гильдии, где...

Подходящая к случаю улыбка никак не находилась. Впрочем, та, что выползла на лицо Филиппа ван Асхе сама собой, помимо его воли, возможно, и была самой подходящей: удивленно-растерянная. Желая скрыть смятение души, мейстер Филипп заговорил первым:

— Добрейшее утро, Мануэль... Прошу прощения: святой отец. Позволь узнать: что привело тебя в сей вертеп греха?

— Да благословит вас Господь, почтенный мейстер, — цистерцианец подчеркнуто отверг дружеский тон. — Что водит монаха по миру, если не забота о ближних? Ведь вы заботитесь исключительно о сильных мира сего! Кто же тогда позаботится о слабых и убогих?

— Спасаешь грешные души? Несешь слово Божье, а заодно индульгенции с отпущением грехов?

Филипп ван Асхе говорил вполне серьезно. Но в

уголках слегка прищуренных глаз (...звон мартовской капели о подоконник...), в бархатистом шелесте голоса пряталась ирония.

— Не только души. И страдания телесные облегчаю, в меру моих скромных сил. Но позвольте, в свою очередь, спросить: что привело на Дно такого человека, как вы? Если, конечно, цель вашего визита не является тайной...

— Ты будешь удивлен, святой отец. — Мейстер Филипп успел овладеть собой, подобрав удачную улыбку: похожую на щит. — И я, ничтожный, явился сюда, движимый заботой о ближних. Видишь: наши цели сходятся.

У колодца, за штабелем бочек, в окнах домов началось смутное движение, однако собеседники не обращали на него внимания, увлеченные словесным поединком. Им было что сказать друг другу, но оба медлили, изъясняясь намеками.

Наконец цистерцианец решился:

— Что ж, я всегда рад признать свои заблуждения. Приятно, когда люди оказываются лучше, чем о них думал недостойный монах. Даже если вы, бывший друг мой, будучи не намерены пока открыть миру тайну Магистерия¹, всего лишь поможете двум несчастным детям...

Цистерцианец выдержал паузу. В упор посмотрел на Душегуба:

— ...я все равно буду искренне молить за вас Господа!

Филипп ван Асхе легко встретил взгляд монаха.

— Да, я помогу им. Собственно, за этим я и пришел. Подозреваю, мы говорим об одних и тех же детях?

¹ Имеется в виду знаменитый «философский камень», алхимический препарат, способный превращать неблагородные металлы в золото, а также обладающий рядом других чудесных свойств.

— Вам известно, кто они.

Это был не вопрос — утверждение.

— Известно. Что же касается упомянутого тобой Магистерия, друг мой Мануэлито, бывший и, надеюсь, будущий...

Вот оно! Наконец!

Фратер Августин в волнении подался вперед, боясь пропустить хоть слово Душегуба.

XXXVII

Эта история началась давно. Еще покойный дед Мануэля, фармацевт и отравитель Мигель де ла Ита, стал присматриваться к Обряду с не совсем обычной стороны. «Что есть Обряд? — задался вопросом умница Мигель. — И почему отпрыски древних династий, будь то потомки короля Кастилии, герцога Бургундского, захудалого, но гордого своими предками барона — или, наоборот, наследники потомственных хиромантов, пророков, целителей-чудотворцев... Почему дети, кому было отказано в Обряде, вскорости исчезают с глаз людских, и больше никто их не видит?!» Впрочем, на вопрос, куда деваются неудачники, ответить оказалось проще простого. Посетив часть наиболее богатых кладбищ, где не хоронили кого попало, а также деликатно наведя некоторые справки (ибо в фамильные склепы постороннего бы не пустили!), Мигель де ла Ита убедился: те, кому Гильдия отказала в Обряде, долго не живут. Разумеется, случается, что люди умирают в молодом возрасте, но в этих смертях просматривалась слишком явная и пугающая закономерность.

Заинтересовавшись еще более, дед Мануэля продолжил исследования. По всему выходило: Обряд закрепляет и развивает некие родовые качества, которые в противном случае, развиваясь самостоя-

тельно, приводят к смешению жизненных соков и скорой гибели. Тело человеческое без соответствующей поддержки лишено возможности выдержать силу, копившуюся в роду поколениями! И лишь Обряд...

Обряд!

Что же он из себя представляет? Каким образом не только предотвращает раннюю смерть, но и усиливает способности, о коих прочие могут только мечтать? Чудо? Но чудо, повторяющееся раз за разом, век за веком, поколение за поколением, от берегов туманного Альбиона и суровых норманнских фьордов до жаркой Сицилии, от снежных просторов Московии до пыльных олив Каталонии; чудо, требующее точно расписанного действия, именуемого Обрядом, — это уже не чудо.

Магия?

Дьявольский промысел?

Тогда почему против Обряда не восстает Церковь во главе со Святейшим Престолом? Почему на Гильдию до сих пор не наложен интердикт, почему на площадях не пылают костры, вынуждая корчиться в пламени чернокнижников Душегубов?! Мигель де ла Ита был человеком просвещенным, слабо веря в колдовство, однако, как истинный ученый, не спешил сбрасывать со счетов любую возможность. Все может быть, даже то, чего быть не может...

Оставалась последняя гипотеза, как ни странно, объяснявшая все. Но выглядела она излишне соблазнительно, чтобы сразу ее принять. Гипотезы следует не принимать или отбрасывать, а доказывать.

И отравитель Мигель занялся поисками доказательств.

Поиски растянулись на годы. Мигель состарился, теперь ему помогал сын Алехандро, унаследовавший отцовский талант и положение при Кастильском дворе. Перед смертью отец передал сыну

собранные фолианты, пергаменты, записи наблюдений и рассказов очевидцев — а также запечатанную сургучом шкатулку из кипариса, наказав: «Откроешь, когда уверишься, что нашел разгадку Обряда».

Похоронив отца, Алехандро продолжил изыскания самостоятельно. Через десять лет он счел, что узнал про Обряд все возможное для человека, не входящего в Гильдию или лишенного благодати (проклятья?!) Обряда. Явилась уверенность: нет, не чудо. Не магия. Таинство Обряда — мишура, ритуал, призванный отвлечь внимание от главного, что в действительности дарует силы телесные и духовные, закрепляя наследственные качества рода.

Имя этому главному...

Дрожащими руками Алехандро достал шкатулку. Взламывая печать, порезался острым серебряным ланцетом. Капля крови упала на желтый листок пергамента, дремлющий в шкатулке. Всего один листок. Всего одно слово.

МАГИСТЕРИЙ.

Ответ, уже готовый слететь с губ самого Алехандро.

И капля крови — словно подпись на *ином* договоре: сейчас Алехандро, не дрогнув, подписал бы его в обмен на тайну Магистерия.

Все-таки Гильдия нашла секрет! Нашла давным-давно! Выходит, правы были мудрейшие из алхимиков, утверждая, что Магистерий, иначе «Тинктура Адептов», и Панацея — суть одно, и трансмутация элементов — лишь побочное свойство чудесной субстанции. Магистерий воздействует в первую очередь на человека.

На человека!

С этого момента, кроме привычных трактатов «О ядах» Арнальдо де Виланова и «О металлах и минералах» Альберта Великого, а также трудов Абу Мансура и Фра Бонавентуры, на столе фармацевта

часто можно было узреть двухтомное «Завещание» Раймунда Луллия, «Могущество алхимии» и «Зеркало алхимии» Роджера Бэкона, включая целый ряд менее известных манускриптов того же направления. Странное дело: почему-то среди этих книг постоянно оказывались «Directorium vitae humanae» Иоанна Капуанского, «Венценосец и следопыт» Симеона Сифа, «Калила и Димна» Абдаллаха ибн ал-Мукаффы, труды рабби Йозеля и Буда-Сирийца, вроде бы отношения к алхимии не имевшие. Впрочем, в семье де ла Ита эти книги читались-перечитывались из поколения в поколение, и очередной фармацевт-отравитель всякий раз обнаруживал там нечто новое для себя...

Разумеется, Гильдии нет смысла делиться сокровенной тайной. Это Знание дает власть. Скрытую, призрачную — но от того не менее реальную. Гильдия решает, кто, с ее точки зрения, достоин Обряда, а кому предстоит в скором времени умереть от смешения жизненных соков. За проведение Обряда хорошо платят. Без Гильдии в считанные десятилетия угаснут величайшие династии Европы — и потому Душегубов не осмеливается тронуть даже всемогущая Церковь. Гильдия имеет целый ряд неслыханных привилегий. Большинству Душегубов разрешено вместо позорного оружия носить лишь его символ, изображенный в грамотке. Гильдия...

Но если алхимикам Гильдии удалось создать «тинктуру адептов» — почему бы не повторить их успех? «Философский камень» существует, а раз так... Трансмутация низких металлов в золото меркла перед возможностями, открывающимися для обладателя *истинного* Магистерия! На это не жалко потратить жизнь. Отец не сумел довести дело до конца, но указал сыну верный путь. А если не успеет он, Алехандро, работу продолжит его сын Мануэль. Алехандро ясно видел: мальчик обладает всеми

необходимыми задатками и склонностями, едва ли не в большей степени, чем он сам.

И тогда род де ла Ита...

Алехандро был провидцем: он не успел. Однажды утром Мануэль нашел отца спящим в лаборатории. Горн давно остыл, а отец спал, уронив голову на руки, и длинные волосы его рассыпались по столу грудой седого пепла.

Рука Алехандро на поверку оказалась холодной льда.

А в дневнике осталась незаконченной последняя, странная запись: «Крупнозернистый песок матово-серебристого или розовато-перламутрового блеска, очень горький на вкус...»

Мануэль так и не выяснил, что явилось причиной смерти отца: старость, переутомление (Алехандро не щадил себя, сутками просиживая в лаборатории: поиск Магистерия превратился для него в болезненную, всепоглощающую страсть!), или ядовитое соединение, образовавшееся в результате опытов... Но внук продолжил дело предков. Последовательно, осторожно, никуда не торопясь и не изматывая себя ночными бдениями у атанора, как называлась алхимическая печь. Да, он тоже жаждал раскрыть тайну, но у него была семья, которую надо кормить, были заказы на лекарства и яды, которые следовало выполнять; впереди у него была вся жизнь.

Мануэль не знал, что однажды, подобно скорпиону, вонзит отравленное жало в самого себя. В тех, кто был для фармацевта дороже жизни.

Что жизнь — закончится.

Прежняя жизнь фармацевта, отравителя и дерзкого алхимика, тщившегося достичь большего, нежели Красный Лев¹, бывший для иных пределом мечтаний.

¹ Красный Лев — алхимическое название золота.

Но мечта осталась. Мечта о чуде, явленном в мир Всевышним руками детей Его. Греза о волшебном Магистерии, дарующем силу и молодость, побеждающем болезни, возвращающем человеку подлинный Образ и Подобие. Новый Мануэль, приняв монашеский устав Цистерциума, знал: чудо существует. Оно — в руках Гильдии. Оставив надежду создать Магистерий самостоятельно, монах понял: тщетно противиться воле Творца. Но, быть может, теперь фратер Августин наконец вышел на правильный путь? Уняв юношескую гордыню («Я сумею! Я!..»), искупив за одну бесконечную ночь страданий грехи предков, смирившись, став другим человеком — получить тайну из рук ее хранителей?! «Чудо», — скажете вы? Да, чудо. Но все в воле Господней, и если Он захочет явить чудо...

Раньше Мануэль, подобно отцу и деду, хотел создать Магистерий для себя. Отныне цистерцианец Августин мечтал о другом: подарить Магистерий людям. Всем людям, а не избранным, кого одевают Душегубы по своему усмотрению и за немалую плату. Неужели Господь отвернется от него и на этот раз?!

Фратер Августин был искренен.

Он действительно желал Магистерия для всех.

XXXVIII

— ...Что же касается упомянутого тобой Магистерия, друг мой Мануэлит, бывший и, надеюсь, будущий... Скажи, ты действительно считаешь: жизнь стала бы лучше, будь Камень Философов доступен всем без исключения? Желаете исправить мир? Приблизить его к Господу?!

— Да! И еще раз — да. Я верю: обрета Магистерий, мир перестанет быть юдолью скорби! Это же чудо Господне! Гильдия грешит, узурпируя чудо!

Одевая одних, вы отказываете в Обряде другим, обрекая на мучительную смерть или безумие. Думаешь, зря вас прозвали Душегубами?! Кто дал вам власть над ключами?! Право вязать и разрешать¹!

— Увы, святой отец. Ты заблуждаешься. Мы не вяжем и не разрешаем. Мы — лишь исполнители воли...

— Чьей?!

— Провидения, если угодно. Не всякий выдержит Обряд. Это не отговорка. Это — правда. Как ты сам говоришь: все в руце Божьей.

И вдруг, шагнув к монаху (*...дар лозы пенится в глиняных чанах...*) вплотную, Душегуб горячо зашептал:

— Жаждешь идеала?! Да?!

— Я пытаюсь... в меру скромных сил моих... я...

Смутившись, монах отступил перед внезапным натиском.

— Ты можешь утолить жажду, друг мой! И силы твои удесятятся! Оставаясь при этом слугой Господним: никто не потребует от тебя...

Пылкую речь мастера Филиппа прервали самым бесцеремонным образом. Из дверей ближайшего дома буквально выпал тощий белобрысый мальчишка. Спотыкаясь, направился к фратеру Августину. На каждом шаге он подслеповато шурился, дергая головой.

— Святой отец... святой отец!.. вы здесь? Вы обещали... еще помазать... святой отец!

— Не думал, что у него *это* зашло так далеко... — пробормотал Филипп ван Асхе. — Кажется, я как нельзя вовремя...

Цистерцианец, разом забыв об исправлении мира целиком, заторопился навстречу мальчику. Усадил на лавку, принялся рыться в своей суме.

¹ Власть над ключами, а также право вязать и разрешать — прерогатива Его Святейшества.

— Сейчас, сын мой! Обожди, я достану мазь...

На свет явился граненый флакон с притертой пробкой и чистая тряпица.

— Не дергайся, потерпи...

— Спасибо, святой отец. Вы и вправду святой! Мамка тоже мазью пользовала! — а ваша много лучше... Я вижу! я почти все вижу!

— Зажмурься и помолчи, — строго велел монах, пряча флакон со снадобьем обратно в суму. Повернулся к мастеру Филиппу. И удивился собственному легкомыслию. Филипп ван Асхе был серьезней статуи. «Господи! — вздрогнул цистерцианец. — Господи, поддержи и укрепи! Неужели этот человек действительно хочет помочь невинному ребенку?! Просто помочь, без всяких задних мыслей...»

— Ему будет становиться только хуже, — словно отвечая, тихо произнес Душегуб. — Ему и ей. Скоро твои снадобья перестанут действовать. А я предлагаю выход. Обряд. Для обоих. Если хочешь, можешь присутствовать. Более того: ты хотел знать? Узнаешь. Хотел помочь людям? Получишь такую возможность.

Фратер Августин боялся поверить. Слишком хорошо все складывалось. Слишком легко. И слишком уж слова Филиппа ван Асхе смахивали на...

— Твои речи слаще меда, — монах наконец пришел в себе силы. — Но я даже боюсь думать о том, что они мне напоминают!

— Искус лукавого? — Душегуб саркастически усмехнулся, но глаза его продолжали оставаться строгими. — Ты знаешь меня с юности. Видел у меня рога? копыта? От меня воняло серой?! Впрочем... Тебе известен другой способ помочь детям? Кстати, давай-ка спросим у них самих...

Фратер Августин промолчал, кусая губы. Возразить было нечего. А мастер Филипп склонился над мальчишкой, честно сидевшим с зажмуренными глазами. Тронул за плечо:

— Витольд, послушай меня. С тобой такое часто случается?

— Чего?! — Впервые в жизни Вит простил кому-то ненавистного «Витольда». И глаз не открыл, выполняя наказ монаха.

— Приступы. Слепота, например?

Вит с презрением цыкнул липкой слюной:

— А-а, «курий слепень»! Хватает иногда. Еще столбун бывает. Или дергунец. Юрод Хобка говорил: «Пляска святого Вита»! Только я не святой, куда мне!

— С годами реже становится? Или чаще?

— Ну, не знаю... наверное, чаще! Ваша правда.

— Ты бы хотел прекратить это навсегда? Стать здоровым?

— Ну!!! — Вит даже глаза открыл. И растерянно заморгал, глядя в лицо Душегуба, оказавшееся совсем рядом. После временной слепоты черты чужого лица казались чудовищно резкими, отчетливыми: каждая морщинка несла скрытый смысл. — Вы, господин?!

— Я, Витольд. Тот, кто способен помочь тебе. Зови меня мейстером Филиппом.

— А вы лекарь... мейстер Филипп? Вы же...

Мальчишка с перепугу зажал рот руками. Чуть не брякнул, стоерос!..

— Душегуб? — Филипп ван Асхе весело подмигнул. — Ты веришь в сказки, друг мой Витольд? Если боишься, мы попросим фратера Августина присутствовать: вся нечистая сила от одного его вида дохнет, как от звуков Высокой Мессы. Верно, святой отец?

В ответ цистерцианец судорожно кивнул, слабо вникнув в суть утверждения.

— Кстати, привет тебе от твоей матери. Жюстина, село Запруды, дом мельника Штефана?

— Ага... — совсем растерялся Вит.

— Был я у нее. Сказал, что с тобой все в порядке. Пусть не беспокоится: я о тебе позабочусь.

— Спасибо за заботу, мейстер...

— Ну что, пойдем выздоравливать? Насовсем?!

— Прямо сейчас?

— А почему нет? Чего нам ждать? Хочешь, чтобы тебя снова этот... столбун прихватил?

— Не-е-е, не хочу, — Вит поднялся со скамейки. Робко взглянул на монаха.

Тот лишь руками развел: решай, мол, сам.

— А это долго... выздоравливать? Долго, мейстер Филипп?

— Недели две. Поживешь это время у меня.

— У вас?!

— Ты предпочитаешь свою каморку? Мой дом большой, обоим места хватит, и еще слугам останется. Я буду... стану твоим опекуном.

— Ух ты! — не удержался Вит, в восторге от красивого и незнакомого словечка «опекун». От слова пахло удачей и деньгами. Но сразу на лицо мальчишки набежала тень, лоб скомкали недетские складки. — А Глазунье... Матильде то есть! Ей вы поможете? Она тоже болеет, еще сильнее моего! Мейстер Филипп, пожалуйста! С головой у нее... вчера такое творилось...

Вит смотрел на Душегуба, как на доброго волшебника: взмахнет волшебной палочкой, и все разом выздоровеют, найдут мешки с золотом, станут рыцарями и принцессами... Он очень боялся разочароваться.

И Филипп ван Асхе не разочаровал.

— Я знаю, — мягко сказал он. — Знаю, Вит. Я хочу помочь и ей. Только мне надо кое с кем договориться. Иначе Матильду не отпустят... лечиться. Я договорюсь, и вы оба будете жить у меня.

— Здорово! — Они уже шли к калитке, и фратер Августин, чуть замешкавшись, последовал за ними. —

А можно мне будет сюда вернуться, когда вылечусь?
К друзьям?

— Ты сможешь приходить сюда, когда захочешь.

— А можно?..

— Можно.

Жизнь улыбалась Виту такой широкой и доброй улыбкой, о которой и не мечталось. Жить в настоящих хоромах! как благородный господин! у него будут — подумать только! — свои слуги! Делать теперь совсем ничего не надо, а еду станут подавать с поклоном: сплошные медовые пряники на серебряных тарелях! А он-то, дурень, полагал, будто лучше Дна ничего не бывает. Оказывается, бывает! еще как! А Душегуб совсем не страшный: добрый, ласковый. Вылечит их с Матильдой... у себя навеки поселит!.. Матильду за Лобаша выдадим, Лобаш тоже в хоромах заживет припеваючи...

Филипп ван Асхе тем временем разделял (...жухлые листья на осине: дрожь Иуд ноября...) недавние опасения цистерцианца. Слишком легко, слишком удачно все складывается! Дети отыскились за один день, мальчишка сразу согласился; с девицей, похоже, сложностей не предвидится — братья Втыки в свое время сами обращались... И бывший однокашник по Саламанке объявился рядом, нужный разговор завел: Мануэлито готов, он на пороге... Все было слишком хорошо, рождая смутную тревогу.

Чутье редко подводило мастера Филиппа.

Их встретили в переулке Тертых Калачей: сюда, как нарочно, не выходило ни одно окно.

XXXIX

Беньямина Хукса не было среди людей, преградивших путь Душегубу. Там его присутствие сочли бы лишним: голова-то у несостоявшегося нотариуса

на месте, и еще какая голова! — всем бы такую круглую! — зато кулаки подкачали. Но зачем умному человеку кулаки? Неужто дураков на белом свете мало? С дураками, как и следовало ожидать, все оказалось в полном порядке. Ибо тех, кого привел Хукс в переулочек, язык не повернулся бы назвать, к примеру, «умниками». Впрочем, звать их вслух дураками тоже рискованно: юшку пустят! Только это и умеют — а большего не требуется.

...День вчера выдался хлопотный: хуже некуда! Вначале прибежал Кудлатый Ерш: дескать, чужой мужик отирается на Дне, интересуясь Глазуньей. Вроде бы даже про мальчишку спрашивал. Дело явно пахло жареным, но Крючок обождал с трезвоном. Велел Кудлатому проследить за любопытствующим.

Кто такой, зачем тину баламутит, и вообще...

Тут Матильду вызвали к братьям Втыкам: пророчить. Пришлось сопровождать. Бредни Глазуни зачастую оказывались смутными; без толкований Крючка, успевшего поднатореть в этом деле, не обойтись. Однако с самого начала заладилась скверно: юная пророчица насилвала себя, дрожа как в лихорадке, слова визгливыми нетопырями срывались с губ, а потом глаза ее закатились, и девица без чувств упала в кресло. Вечером же, когда Матильду под руки вернули домой и Кудлатый сунулся к Хуксу с докладом — дар Глазуни вдруг прорвался наружу.

Светопреставление закончилось пожаром.

В укрощении огня Крючок участия благоразумно не принимал. И потому сразу заприметил Птицу Рох, слугу хенингского Душегуба, — детина таскал ведра с водой вместе со всеми. Крючка будто осенило! Вот кто разыскивал Матильду! И для кого старался — тоже ясно. Верный хозяину до гробовой доски, Птица ничьих других поручений выполнять не стал бы.

Дело принимало странный оборот. Больше года назад братья Втыки, прекрасно осведомленные о происхождении Матильды Швебиш, подали мейстеру Филиппу тайное прошение на Обряд. Нюх подсказывал: иначе девка скоро скиснет. Несмотря на снадобья фратера Августина. Уйдет в мир грез, где будущее сплетается с прошлым, а настоящего не существует вовсе — и конец живому талисману. Станет ходить под себя, счастливо улыбаясь. Если же что-то и способно помочь, так это Обряд. Никто не мог знать этого точно, про Обряд ходило много слухов, зачастую весьма противоречивых, — но попытаться стоило.

Прощение составлял Крючок. Он же и отнес его по адресу.

Как ни странно, Душегуб прошение принял. Долго молчал. Наконец сухо сообщил: надо обратиться в Совет Гильдии. Крючку было предложено явиться через месяц. Бенъямин Хукс подозревал, каким окажется ответ. Еще служа в магистрате, знал, что случается, когда дело начинают откладывать.

Он не ошибся.

Гильдия в Обряде отказала.

Причиной отказа мейстер Филипп назвал следующее: Матильда Швебиш во время Обряда умрет или окончательно свихнется. Бенъямин Хукс притворился, будто верит. Он догадывался: откуда ноги растут. Да, Матильда — из известной семьи, где цепочка Обрядов насчитывала больше десятка звеньев. Все ее предки отлично переносили Обряд. Девчонке просто не повезло. Останься она в Гаммельне, прежней Матильдой Швебиш, выживи в чумном аду — и Обряд был бы проведен в срок. Без малейшего противодействия со стороны Гильдии. Но кто такая хенингская Глазунья? Полоумная бродяжка. Околачивается в компании подонков, пристает к прохожим со всякими глупостями. В почете

у Донных заправил. И вот этой толстой замарашке без роду-племени Гильдия дала согласие, а моему сыну, наследнику потомственного астролога (хироманта, целителя...), отказала?! Мальчик сходит с ума у меня на глазах, и я бессилён ему помочь?! Значит, кто-то просто заплатил Гильдии больше меня! Заплатил, договорился, пригрозил — но добился своего!

Оскорбленный в лучших чувствах, отчаявшийся родитель подымет шум.

А Гильдии ни в коем случае нельзя выглядеть пристрастной.

Конечно, Обряд можно сохранить в тайне. Но тайны имеют свойство выплывать наружу в самый неподходящий момент. Рано или поздно Глазуньей, войди она в полную силу, заинтересуются. Начнут копать. Тогда уже никакие доказательства принадлежности к семье Швебиш слушать не станут. Люди, особенно в праведном гневе, слышат только то, что хотят слышать.

Братья Втыки сокрушенно вздохнули и смирились.

И вот теперь Филипп ван Асхе присылает слугу разузнать: где обитает Матильда? Что ты задумал, хенингский Душегуб? Что у тебя на уме?

Когда наутро мейстер Филипп объявился на Дне собственной персоной, Крючок заторопился. Оставил Кудлатого приглядывать за Душегубом, а сам бросил проклятый меч, с которым особо не побегаешь, и, рискуя нарваться на плети и штраф, что есть духу припустил к братьям Втыкам.

Беньямин Хукс был очень доволен самим собой.

XL

На Дне это называлось: «застолбить невод».

По обе стороны переулка, спинами грея щербатый камень стен, сидела дюжина нищих. Лохмотья,

колтуны волос, какие-то жуткие опорки вместо обуви. Дубины, предписанные сословными грамотками, валялись суковатой грудой. Все обычной обычной, кроме рож.

Сытые.

Румяные.

И в глазах вместо вечного укора — хищный вопрос.

Шагах в трех за нищими толпились случайные зеваки. Трое играли в новомодную франкскую игру — «карты» — прямо на мостовой; прочие давали советы. Игра выходила хитрая, советов требовалось много. Зевак тоже выходило немало. Вит с удивлением заметил меж ними Дублона. Мазнув по приятелю ответным взглядом, Дублон, извиняясь, дернул плечом. За что просит прощения красавчик, Вит не понял.

Зато понял мейстер Филипп.

Когда он обогнал спутников, выходя вперед, Вита пробил озноб: улыбка, выбранная Душегубом для этого случая, напоминала ушат ключевой воды, вылитый исподтишка на голову. Наверное, «невод» тоже почувствовал неладное: нищие подобрались, словно ловчие псы на сворке, зеваки прикусили языки, а игроки напряглись больше нужного. Мейстер Филипп замедлил шаги... остановился. Плотней закутался в бордовый плащ. Нахохлился: грач над камешком, похожим на зерно.

Он всегда уважал братьев Втыков за редкое умение спешить не торопясь.

И сейчас отдавал должное чужому таланту.

Двое мужчин стояли за зевачами, ближе к повороту на Левую Скорняжью. Один — невероятно высокий, на голову выше дылды Дублона. Обтяжные штаны, узкий кафтан и шляпа со вздернутой тульей лишь подчеркивали рост. Второй же, достигая приятелю макушкой до груди, отличался редкой толщиной брюха. И одежды предпочитал свободные, в

складках, отчего выглядел ходячим амбаром. Первый — мачта корабельная, о спину другого эти мачты ломать можно: не почешется. Оба носили усы, только высокий закручивал концы вверх, а у толстого они свисали ниже подбородка. Сегодня братья Втыки лично явились «столбить невод»: случай редкий, можно сказать, небывалый.

Затылок обжег жаркий выдох: фратер Августин догнал, встал за спиной.

Мейстер Филипп чувствовал огонь, исходящий от монаха. Будто годы, постриг, муки совести и благие намерения разом слетели с цистерцианца: ветер надул щеки, дохнув свежим холодком! — и вернулись годы юности в Саламанке. Кастильский идальго в третьем колене, Гранд-Мануэлито не проходил Обряда (в его семье отказывались подавать прошение...), но, подобно любому дворянину, Мануэль дела Ита не носил оружия. Орденский рыцарь, отроком пройдя Обряд, в рукопашном бою стоил двух десятков вооруженных простолюдинов. Представители древних родов и династий, такие, как Густав Быстрый или Вильгельм Фландрский, — много больше. Но и Мануэль, даже став фратером Августином, вполне мог выйти один на пятерых.

— Стыдитесь, святой отец! — строго бросил Душегуб. — Вроде бы не шальной повеса... лицо духовное...

Добавил мягче, ободряя:

— Не надо вмешиваться. Просто стой рядом со мной. Присутствие монаха...

Он не закончил. Вытянул губы трубочкой, зашвистал мотив резкий, с явными диссонансами. Цистерцианцу даже показалось: это не мелодия, а речь. Язык, отличный от языков человеческих. Но раздумывать над странностью поведения Филиппа ван Асхе не осталось времени. Свист бродил по переулку Тертых Калачей, тыкался в стены. В за-

пертые двери домов. В дыры, щели, отверстия. Свист говорил, просил, требовал.

Велел.

Из щели выглянула крыса. Повела острой мордочкой туда-сюда, выбралась наружу. Без страха уставилась на нищего: тот машинально подобрал ноги. Вслед за подругой явилась другая серая бродяжка... третья... пятая. Крысы лезли отовсюду, сбиваясь в стаю. Пятясь назад, грызуны образовали вокруг Душегуба с его спутниками кольцо: шерсть дыбом, клыки оскалены.

Тихо охнул Вит.

— *De corde exeunt cogitationes malae!*¹ — начал фратер Августин звенящим голосом, но умолк, ибо мастер Филипп, на миг прервав свист, отозвался:

— *Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros!*² Я сказал: не лезь!..

Свист Душегуба свернул на мотив франкской баллады «О дамах прошлого», мелькнула рулада из «Забавницы Трудхен». Бродячая собака забрела в переулок. Рысцой настигла кучку людей, окруженных крысами. Вывалив язык, остановилась сбоку. Шерсть на загривке собаки вздыбилась, из пасти донеслось хрипкое рычание. Крупный рыжий пес вылез из подвала. Сука с обвислым брюхом, ворча, тащилась от угла. Еще один кобель... третий... пятый...

Второе кольцо — оскал и рык — образовалось вокруг Душегуба.

А свист продолжался.

Стая воронья обсела крыши, карнизы, подоконники. Рой зеленых мух смерчем закружился над мостовой. Со стороны залива летели орланы, ранее никогда не залетавшие дальше гавани.

¹ «Из сердца исходят дурные помыслы!» Евангелие от Матфея, гл. XV (лат.).

² «А я говорю вам: любите врагов ваших!» Евангелие от Матфея, гл. V (лат.).

Душегуб свистел.

Большой Втык наклонился, что-то спросил у Малого. Кивнул. И пошел себе вперед, раздвигая оробевшее воинство. Все-таки он был храбрым человеком, этот верзила. Храбрым и умным. В творившемся явственно пованивало серой, кто другой уже бежал бы без оглядки, взывая к Господу, но возле Филиппа ван Асхе стоял фратер Августин, считавшийся меж хенингцами святым. Конечно, о Душегубах ходят разные слухи, а враг рода людского способен и в монашьи ризы завернуться... Здесь крылся еще один довод в пользу мирного решения: братья Втыки полагали себя способными договориться с чертом и ангелом одновременно.

Сейчас же выпадала именно такая возможность.

— Мейстер Филипп! — крикнул Большой изда-лека. — Как насчет пары словечек?

— Почтенный Йост! — Душегуб назвал Большо-го его настоящим именем. Странно: в звуках голоса мейстера Филиппа, эхом в теснине, по-прежнему звучал удивительный, призывный, зловеще фри-вольный свист. — Я всегда рад вас видеть! Вас и ва-шего брата Григора! Равно как и перекинуться сло-вечком-другим со столь уважаемыми людьми!..

Вороны улетели.

Крысы исчезли.

Собаки разбежались.

— Слушаю вас, — радушно сказал Филипп ван Асхе, направляясь к Большому. Пока он шел, сги-нули последние птицы с мухами. — Надеюсь, вы явились с такой свитой, единственно желая под-черкнуть свое положение?

— Вам не следует ничего бояться, мейстер Фи-липп!

— Бояться? А чего мне бояться, милейший дру-жище Йост? Разве вы не слышали о «Избиении в Артуа»?

Узкое лицо Большого Втыка вытянулось мартов-

ской сосулькой. Даже лишние кончики усов опали, стекли вниз. Разумеется, он слышал. Двадцать лет назад в столице графства Артуа убили тамошнего Душегуба. Случайно. Трое залетных «трепал» решили облагодетельствовать случайного прохожего, ибо раздача имущества нуждающимся есть несомненная добродетель. Камень, брошенный из подворотни, угодил прохожему в затылок, раздался хруст, и графство осталось без представителя Гильдии. А Гильдия на требование Зигмунда д'Артуа прислать замену вежливо заявила о невозможности сделать сие в ближайшем будущем. Сыну графа Зигмунда до Обряда оставался год-два, но «ближайшее будущее» — штука растяжимая, и рисковать наследником Бешеный Зигги не хотел.

Все законы были втоптаны в грязь.

Граф мстил артуанскому Дну за смерть Душегуба так, как, наверное, не мстил бы за гибель родного отца. «Трепал» выдали Бешеному Зигги на следующий день после того, как дружина вспахала трущобы столицы графства, сея ужас и разрушение. Сам Зигмунд голыми руками прикончил столько народу, не разбирая правого и виноватого, что Донные вожаки (кто успел скрыться!..) долго еще потом чесали в поседевших затылках. Ибо после выдачи убийц дружина графа до конца недели продолжала свирепствовать. На добрую память. Чтоб и детям рассказывали. И внукам заказали.

И правнукам.

— Йост, я всегда уважал вас с братом за деловую сметку. — Продолжая пристально следить за лицом Большого, мейстер Филипп заговорил сухо. Не речь, крошки черствого хлеба. — Уважаю и сейчас. Но вы поторопились. Верьте: если в позапрошлом году я отказал в Обряде вашей Матильде Швебиш, так на то имелись веские причины.

— Сейчас они исчезли? — осведомился Большой.

Старший Втык был опасен. Очень опасен. Несмотря ни на что. Душегуб понимал это лучше многих. Можно, не отнимая жизнь, отяготить ее в достаточной степени, чтобы превратить в ад. Братья по праву считались мастерами на подобные штуки.

— Нет. Остались. Но возникли новые обстоятельства. Вижу, вы прекрасно осведомлены и о происхождении сего юного отрока... Значит, мое уважение небезосновательно. Учтите: малыш и девица без моей помощи вряд ли проживут больше года. Я готов удовлетворить прошение на Обряд для девицы. Возвращу ее вам до конца месяца: в полной силе. Что же касается юного отрока, давайте вернемся к этому разговору позже. Когда вы поймете всю опасность его пребывания здесь. Когда вы...

Ему помешали договорить.

По переулку Тертых Калачей бежали Юлих с Добряком Магнусом. На руках громилы несли Глазунью: бледную, дрожащую. «Быстрее! — кашляла девица. — Быстрее! Опоздаем!» Поравнявшись с монахом, Глазунья прыгнула на землю. Упала, охнув; с трудом поднялась сперва на четвереньки, а там и в полный рост. «Я! я...» Она вряд ли бы дошла до мастера Филиппа, когда б не Вит: опередив громил, мальчишка поддержал Матильду.

В спокойных глазах Душегуба вдруг полыхнули лукавые огоньки.

Взяв мальчика с девушкой (...*первый снег исповедует землю*...) за руки, он подмигнул Большому Втыку, обалдевшему от вольности обычно сдержанного мастера Филиппа.

— Короче, верьте мне, Йост...

Продолжая крепко держать обоих, мастер Филипп шагнул к двери ближайшего дома. Запертая изнутри, дверь тем не менее послушно открылась

перед ним. «Стойте! обождите!» — фратер Августин кинулся следом. Монах успел. Дубовые створки захлопнулись сразу, едва отец-квестарь миновал порог, и, наскоро обернувшись, он увидел, что ожидал: дверь.

...двери.

...много.

Бесконечный портал дверей, стрелой летящий назад.

PRELUDIUM

I

— Помнишь, мы говорили: надо брать с собой детей и на войну — конечно, зрителями, на конях, а где безопасно, так и поближе; пусть они отведают крови, словно щенки.

— Помню.

— Кто во всем этом — в трудах, в науках, в опасностях — всегда будет выказывать себя самым находчивым, тех надо занести в особый список.

— В каком возрасте?

Платон. «Государство».



у став Быстрый взял меч. Солнце плавилось в тигле оконных витражей. Прощальное солнце октября, монетка из кошелька тетки-осени. Капли стекали в тронную залу, брызжа золотом на настенные шпалеры с оленями и трубадурами. Дерзко пятнали — огонь! пшеница! желток!.. — ослепительно-белые сорочки рыцарей. Вассалы Дома Хенинга стояли рядами: немые призраки, готовые скорее сгинуть с наступлением дня, чем пошевелиться. У многих, чей род древностью соперничал с герцогским, были до локтей закатаны рукава, и ладони, много поколений не знавшие позорной тяжести оружия, гордо лежали на кожаных поясах.

Орден Колесованной Рыбы ждал.

Сегодня никто не дерзнул явиться, накинув вырезной, опушенный соболем плащ или сверкая изумрудами пуговиц. Узорчатый брокат? пурпурная тафта?! шелк, весь в орнаментах мавров?! — ничуть. Полосатые штаны до колен, перечеркнутые по талии тисненой кожей поясов, и белизна сорочек делала рыцарей похожими на странных шершней-альбиносов. Гордецы, сердцееды, *maistres de corteisie*,



юные сорвиголовы и седые паладины, успевшие вдоволь навоеваться в Святой Земле — сдерживая биение сердец, они стояли живой колоннадой, потому что Густав Быстрый, XVIII герцог Хенингский, взял меч.

Брезгливо, двумя пальцами. Так держат тухлую рыбу, прежде чем швырнуть в кучу мусора. И одновременно: с торжеством. Огромный фламберг в руке герцога казался соломинкой, не имеющей веса. Пламя лезвия извивалось, струясь из мощной крестовины, тщетно надеясь вырваться, освободиться, прятнуть вон из хватки судьбы. Всего в двух случаях дворянину «Зерцалом Обряда» позволено касаться оружия без ущерба для чести. В бою, а также обучаясь воинской науке — ломая грязь, назначенную черни провидением. И при посвящении в рыцарский орден.

Черный сугроб у тронного возвышения шевельнулся, сбрасывая плащ.

Преклонив колени, обнаженный по пояс Жерар-Хаген цу Рейвиш смотрел на отца снизу вверх. Капель солнца пылала под ресницами: длинными, девичьими. Тринадцать лет он предвкушал сей миг триумфа. Носил надежду, как дитя во чреве, истово мечтая разродиться. Мудро правил графством: заслуживая. Подавлял мятеж в баронстве ле Шэн: доказывая. Отстаивал границу с Майнцем: подтверждая. Год за годом, день за днем. Происхождение здесь не могло подменить собой заслуги. Какой из рыцарских орденов дерзнет равняться с Колесованной Рыбой? Орден Серафима, учрежденный Магнусом Шведским. Орден Змия Обращенного, чей основатель — император Сигизмунд. Орден Лебедя, созданный Фридрихом II, курфюрстом бранденбургским. Орден Сантьяго-де-Компостелла.

Пожалуй, все.

Рыцари ждали, и ждал Жерар-Хаген, втайне удив-

ляясь: чего не хватает ему для полноты счастья?! Тайная червоточинка ныла внутри, мешая насладиться сполна. Вспоминался Обряд — пожалуй, единственное воспоминание, неподвластное тлену времени. Многое подернулось дымкой, притупилось, упало на самое дно. Многое, но только не это. Словно вчера. Сегодня. Сейчас. Возможно, именно здесь крылся секрет червоточинки, ущербности торгова, долгожданного, но какого-то тусклого, пыльного...

Если ответ крылся здесь, то Жерар-Хаген был бессилен его найти.

Пламя лезвия обожгло голое плечо. Молодой граф еле сдержался, чтобы не отпрянуть. Эгмонт Дегю предупреждал: надо терпеть. Умница Дегю, преданный вассал Хенингского Дома — в орденовой иерархии, как один из вице-командоров, он стоял гораздо выше своего знатного воспитанника. И пожалуй, не меньше отца заботился, чтобы все прошло согласно традиции.

Но укротить порыв, вьевшийся в плоть и кровь, — прочь! уничтожу!!! — оказалось трудно.

Ничего. Терпеть придется самую малость.

— Памятуя о заветах Великого Дракона...

Голос отца, обычно низкий, слегка звенел. Ах, отец... Каково тебе держать фламберг за рукоять, словно простолюдину?! Жерар-Хаген подумал, что однажды займет отцовское место. Будет вот так же стоять, произнося заученные слова. Держать оружие, принимая в орден очередного счастливица. Которым никогда не станет его собственный сын. Не здесь ли червоточинка? ущерб?! трещина поперек дареной монеты?! А еще подумалось: отец сейчас разделяет мысли наследника.

По привычке именуя себя наследником, Жерар-Хаген знал, что лжет. И что отец знает это в десять

раз лучше. Командорство в ордене? — пожалуй. Скорей всего. Даже можно сказать: наверняка.

Но не герцогская корона Хенинга.

— ...известного людям как Артур из Камелота...

Ну конечно. Артур Пендрагон и Круглый Стол в Камелоте. Где в центре лежало «Зерцало Обряда» — составленный благим королем свод законов рыцарства, переплетенный в кожу фолиант, с застежками из вечно сияющей меди. Где в дюжине кресел сидели достойнейшие из достойных, равные среди равных. Образцы для подражания. И перед каждым на плахе стола валялись обломки казенного собственноручно оружия. Видом своим напоминая рыцарям: сильному достаточно того, чем Господь при сотворении одарил Адама, а в прочем нет нужды. Лишь перед пустым, тринадцатым креслом лежал целый, несломанный меч, отчего место звалось Гибельным.

Когда его заняли, Камелот пал.

В назидание потомкам.

— Мы, Густав-Хальдред, XVIII герцог Хенингский, командор ордена Колесованной Рыбы...

Жерар-Хаген поднял правую руку. Пальцы клещами сомкнулись на клинке. Преодолевая желание опередить события, граф до боли в деснах стиснул зубы. Нет. Нельзя. Отец должен закончить. Надо терпеть. Костяшки пальцев налились молочной белизной, став похожими на зерна августовской кукурузы. Тело бунтовало, разрываясь между «немедленно!» и «ждать!».

Рано.

Еще рано.

— ...встаньте, рыцарь благороднейшего из орденов...

Поднимаясь с колен, молодой граф сжал пальцы сильнее. Затвердевшая, «латная» кожа ладони громко скрежетнула о лезвие. Звук всколыхнул тронную залу: камень, брошенный в густую воду пруда. Лица

вассалов озарились светом: счастье, радость, торжество. А Жерар-Хаген наконец дал себе волю. Выпрямился во весь рост, резко опуская руку, закаменевшую на клинке фламберга. С жалобным взвизгом сталь лопнула под напором, осколок острия хищно вонзился в ковер, засыпанный ароматными цветами и листьями ситника, разделяя отца и сына. Мерцая от испуга, дрогнули свечи на свисающих с потолка паникадилах; подвесные шандалы изошли трепетом фитилей, и солнце иволгой забилося в витражных силках.

В руке герцога Густава осталась рукоять с раздвоенным наподобие змеиного жала обломком. В кулаке нового рыцаря хрустел кусок клинка: лезвие изрядно выщербилося от рывка.

Но вот и *это* упало под ноги.

Эгмонт Дегю вместе со вторым вице-командором, бароном цу Ритерзиттен, приблизились. Обернув ладони тряпицами из шалона¹, подняли искалеченное оружие. Аккуратно уложили в заблаговременно подготовленный реликварий: ларец из хрусталя. Веничком подмели мелкие осколки; собрав золотой лопаткой, ссыпали поверх обломков. Передали реликварий Густаву Быстрому, который захлопнул крышку. Обойдя с двух сторон, надели белую сорочку на брата по ордену. Обождали, пока Жерар-Хаген закатает рукава до локтей: с тщанием, никуда не торопясь. И склонили головы, глядя исподлобья, как герцог с сыном медленно идут к дверям.

Они шли в семейный склеп Дома Хенинга.

Остановившись на пороге, Густав-Хальдред слегка обернулся:

— Рыцарь Эгмонт! Следуйте за нами!

¹ Шалон — шерстяная ткань, сотканная из глянцевитой (камвольной) пряжи.

Эгмонт Дегю умел принимать честь с достоинством. Даже такую неслыханно высокую честь, как сейчас.

II

По дороге им не встретилось ни единой живой души. Заранее предупрежденная, челядь попряталась кто куда: замок вымер. Праздник случится позже: взорвется хмельным фейерверком, раскатится дробью хохота и гулом здравниц. Но это вечером, а сейчас — благоговейная тишина. Камень стен едва согрет фламандскими гобеленами, ступени лестниц тускло блестят железом скреп. Статуи предков в углах. Из мраморных глазниц слепо глядит память: давным-давно юный Жерар-Хаген по наивности считал ее пустотой. Понадобилось без малого полтора десятилетия, чтобы избавиться от заблуждения. Двери: дубовые, с кольцами в виде змей, или наборные, с тусклыми панно, чей лак давно пора подновить. Иногда кажется — это все один дверной портал, ведущий невесть куда. Просто он притворяется, змий пагубы: накручивает кольцо на кольцо, узел на узел, оплетая мир. Дремлет до поры в засаде, вьется лживой спиралью, где каждая чешуйка — дверь дома, хижины, дворца, храма, геенны, царства небесного... Все двери мира — ложь. Отражения единого портала, вымощенной благими намерениями дороги в неизвестность, в сердцевину яблока, где тихо дышит судьба.

Странные мысли.

Чужие.

И никак не избавиться от ощущения, что на самом деле по замку идут четверо: мейстер (*...нетли задумались: скрипеть?..*) Филипп, улыбаясь растерянно и слегка виновато, вприпрыжку движется

рядом. До смешного важный грач, которому здесь не место. Которого здесь нет.

...но чудится: есть.

Последняя лестница свернулась в кольцо. Вот и усыпальница.

Пройдя вглубь, трое (четверо?..) остановились возле ниши, где ждал пустой саркофаг с надписью: «Жерар-Хаген из Дома Хенинга». Гордая скромность слов. Жерар-Хаген. Из Дома. Хенинга. Для понимающих — более чем достаточно. Для Всевышнего — тем паче. Но каждый из молчаливой троицы (...нет четвертого! нет!..) сердцем чувствовал всю тайную боль, всю несбыточность и разочарование, крывшиеся в этой гордыне и этой скромности. Давний турнир в Мондехаре, рок в маске случая, разрушил нечто куда большее, чем целостность брэнного тела. Он оборвал преемственность династии. Опрокинул навзничь жизнь Жерара-Хагена, Рейвишского, кому не быть Жераром-Хагеном Хенинским, а прочее — грядущее командорство, покорность вассалов и трепет врагов — лишь дешевая штукатурка, придающая развалинам обманчивый вид жилья.

Жилье вместо жизни.

Жерар-Хаген поднял взгляд. Малый неф над входом в нишу, где дремал ларец с Обрядовой статуэткой, напоказ зевал черной пастью. Готовясь принять реликварий. И все-таки: зачем отец велел Эгмунту Дегю сопровождать их?

С поклоном приняв из рук герцога хрустальное сокровище, молодой граф потянулся вверх.

Знак посвящения в орден занял свое место в глубине нефа.

Рядом с напоминанием про Обряд.

— Ее высочество Амальда... — вдруг сказал герцог Густав. Невпопад, будто дряхлый старец, пожал губами. Скривился и закончил очень просто:

— Мать сильно сдала за эти дни. Не думаю, что ей осталось больше года. Знаешь, мы ведь не собирались больше иметь детей...

Эгмонт Дегю подобрался. Еще с начала церемонии, видя пустующее кресло герцогини, рыцарь заподозрил неладное. Ее высочеству полагалось присутствовать не только как матери Жерара-Хагена или как Амальде Хенингской. Магистрисса ордена Подпоясанных Дам, она имела право первой после мужа возгласить здравицу. Но заговорить при посторонних о телесных недугах герцогини, о возможности ее скорой смерти...

Узкое, костистое лицо юстициария затвердело.

В глазах появился намек: мне уйти, государь?

— Останьтесь, Дегю. Таким, как вы, лучше доверять полностью. Или не доверять вовсе.

Сказанное можно было расценить двояко. В слабость Густава Быстрого, пусть даже временную, верилось плохо. Если герцог решит, что полезней не доверять вовсе... если он уже решил, и потому велел сопровождать...

Эгмонт знал: ему не выдержать боя с герцогом. Тем более — с отцом и сыном.

Не выдержать еще и потому, что вассал Дегю не окажет сопротивления.

— Рыцарь Дегю! — Голос Густава Быстрого окреп. Хлестнул плетью. — С каких пор юстициарий моего сына и первый вице-командор Колесованной Рыбы сомневается в доверии своего государя?! Впрочем, тут не место для подобных разговоров. Прошу, господа...

Сохраняя молчание, они прошли ближе к центру усыпальницы. Здесь, напротив ниши с саркофагом Альбрехта Кроткого, располагалась малая каморка: некое подобие часовни. Скамьи у стен, пятиугольный алтарь с покровом из черно-белого шелка. На алтаре хранилась рака со знаменитой Альбрехтовой

цепью — каждое звено представляло собой Святой Круг, заключавший Рыбу, и было освящено лично папой Урбаном II. Зайдя внутрь, Густав-Хальдред остановился у алтаря, спиной к спутникам.

— Граф цу Рейвиш, вы слышали нас?

Жерар-Хаген смотрел в затылок отцу. Волна кудрей, падая от зубчатой короны на плечи, еще оставалась светлой, почти без седины. На горностаевой оторочке мантии это виделось особенно отчетливо. Но разговор о матери... резкость переходов от трогательного «я» к державному «мы»...

«Да, государь, я слышал», — беззвучно кричало сердце.

Впервые обожгла мысль о преклонном возрасте родителей. Впервые хотя бы потому, что люди, в чьем роду цепочка Обрядов насчитывала более пяти звеньев, — а уже в Альбрехтовой цепи их было одиннадцать! — начинали стареть поздно. Очень поздно. За год-два до смерти. Больше ста лет жили редкие счастливики, но блистать на турнирах или балах, преодолев рубеж восьмидесяти, — дело вполне обычное. Вряд ли, конечно, вельможе в столь почтенных летах захочется выйти на арену. Вряд ли знатной даме взбредет в голову возглавить танцоров, среди которых веселятся ее собственные правнуки. Но сама возможность незримо присутствует: сражаться, блистать, быть первым, начинать и рождать потомство. Вечная ошибка молодости, коснувшаяся и графа цу Рейвиш: когда твои отец с матерью *все время* выглядят одинаково, мнится, что они бессмертны.

Дряхлость приходила в семьи, подобные Хенингской династии, словно тать в ночи: внезапно и сразу. Майской грозой, волком из засады.

Рука об руку с Госпожой Костлявой.

— Это моя вина...

Сперва Жерару-Хагену показалось: отец говорит

о быстром старении матери, вызванном рождением позднего ребенка. Но нет, герцог имел в виду другое.

— Мне следовало остановить тебя там, в Мондехаре. Дождаться, пока со дня Обряда минет хотя бы год... Сбереечь сына для расцвета и закрепления. Но ты был прекрасен: юный, порывистый. Безудержный. Невеста рукоплескала тебе с балкона... Я решил не портить праздника. В твои годы я мечтал превзойти Альбрехта Кроткого. Кого мечтал превзойти ты?

«Тебя...»

— Я так и думал, — не оборачиваясь, Густав Быстрый кивнул. — И ошибся. Лучше испортить праздник, чем жизнь. Проклятый русин... Как бы я хотел возненавидеть его! Не получается. Наверное, потому что он ни в чем не виноват. Случай. Судьба. Рок. Но если корону Хенинга унаследует Жерар Бездетный... Ты тоже не вечен, сын мой. Что, лишь сегодня осознал?

Эгмонт Дегю тихо шагнул к стене.

Прикусил губу, наблюдая.

Это в мальчике от матери. Неподвижность. Умение замирать надолго, без малейшего шевеления: истуканом. Сам герцог так не умеет. Его высочество подобен зыби на воде, расплавленному серебру, ветру в кронах. Мальчик же перенял от герцогини Амальды часть качеств рода Лафарг. Со временем это сделает его многожды опасней отца: слабый ветер, обернувшийся вихрем, пугает меньше, чем камень, ставший ураганом. Развитие естественно; сочетание противоположностей — чудесно. Умри Амальда к вечеру, отзвук ее останется жить в старшем сыне. Пока мальчик окончательно не станет мужчиной... стариком... прахом в саркофаге. Пожилой рыцарь редко думал о собственной старости. Однажды утром, вставая с ложа, он узнает: скоро. Может, завтра. Но до конца осени — наверняка.

В поисках опоры он оглянулся на Эгмонта Дегю. Но опоры не нашлось и здесь.

— Мой государь, я знаю, о чем вы говорите, — поклонился рыцарь. — Простите за дерзость, но если дело обстоит именно так... Вам действительно следует поторопиться.

III

— Также недопустимо, считаю я, чтобы наши стражи привыкали уподобляться — и словом, и делом — людям безумным.

— Сушая правда.

— Дальше. Станут ли они подражать ржанию коней, мычанию быков, журчанию потоков, гулу морей, грому и прочему в том же роде?

— Но ведь им запрещено впадать в помешательство и уподобляться безумцам.

Платон. «Государство».

Эти сны были порождением всех дьяволов ада.

...бой шел в проломе. Западная башня уже горела, но двое лучников, надрывно кашляя, еще стреляли из-за зубцов парапета. Жерар-Хаген возблагодарил Господа и миланскую сталь доспехов: двойная кираса с оплечьем оказались выше всяких похвал. Щит давно треснул, его пришлось бросить на краю рва. Сейчас молодой граф бился короткой секирой, зажав в левой руке кинжал. Упоение схваткой кружило голову, близость победы лишь добавляла хмеля в происходящее. Мятежники гибли угрюмо, без надежды на милость, сражаясь за каждую пядь замка Шэн. Верного Эгмонта оттеснили к караулке: стоя на пятой ступени лестницы, он прорубал путь наверх с холодным упрямством, достойным рода Дегю. Высоко подняв щит,

чтобы прикрыть лишенную шлема голову, рыцарь мерно взмахивал широким мечом. «Наверное, так косит смерть, — подумалось Жерару-Хагену. — Жестко, метко и... равнодушно». Больше для посторонних мыслей времени не осталось. На мостике, соединявшем передовую башню с замком, мелькнула гигантская фигура Карла-Зверя, и молодой граф ринулся туда. Кинжал застрял в чем-то кольчатом воротнике; перехватив секиру двумя руками, закованный в броню сын Густава Быстрого был похож на «травяного монашка», Божьим попущением достигшего роста человека. Решетка забрала помялась, но казалось, что мститель и слепым чувствовал бы себя не менее свободно — секирный месяц порхал меж тучами, и искры-звезды отмечали путь... месяц... звезды... дым над башней...

Сгинь! рассыпся, пропади, бесовское виденье! Стыдно, Боже, Господь милостивый, как стыдно! — Говорят, конокрадов по селам топят в нужниках, и я, граф цу Рейвиш, ветвь Хенингского древа, барахтаюсь в вони и позоре мерзкой грезы, бессилен...

...они встретились. Отражая удары секиры щитом, Карл-Зверь нехотя пятился к подъемным цепям. Узурпатор и убийца родичей, ценя в людях и действиях прежде всего силу, лжебарон отступал перед собственным идеалом: силой, превышавшей его собственную. Карла терзал страх. Впервые в жизни: бурной, стремительной и кровавой. Секира Жерара-Хагена грохотала весенним ливнем, отмечая клеймом разрушения все, к чему прикасалась, — бляхи щитового наворачивания, гребня шлема, пластины поножей... Трудно было угадать в столь хрупком на вид бойце скрытую мощь, удесятеренную яростью и сознанием правоты.

Удары гулко отдавались в вышине, словно вся битва сошлась воедино здесь, на замковом мосту, словно небо, дыша чадом и дымом пожара, вскрикивало от удовольствия. А внизу, задрав голову, всматривался в поединок вождей рыцарь Эгмонт, и лестница за рыцарем полнилась жертвами его меча... дым... небо... лязг металла, трижды упоительней песен шпильманов о любви...

Прочь!!!

Господи, за что?! Чем прогневал тебя, если караешь?! Сон обрывками паутины виснет на руках, ногах, сердце, сон болотной топью тянется следом, желая поглотить целиком, без остатка, и что самое страшное — мне сладок мой позор, тяжесть секиры, нелепое железо на теле, я занял Гибельное место за Круглым Столом, и цитадель рыцарства вскоре падет от этой сладости, слабости, позора в личине почета... я больше никогда не буду спать!.. никогда...

Просыпаюсь.

Лежу с открытыми глазами, чувствуя, как медленно высыхает пот, делая кожу липкой.

IV

Жерар-Хаген отвернулся, боясь, что отец с Эгмонтом заметят его предательскую бледность. Долго смотрел на саркофаг с прахом Альбрехта Кроткого. Неужели славному предку снились точно такие же сны? Неужели изредка *это* снится всем дворянам, чей род славен длиной Обрядовой цепочки?! Ответ уже пришел, но молодой граф боялся признаться самому себе: да.

Снится.

Все.

И ночью, купаясь в ужасе порока, каждый пола-

гает грезу настоящей, единственно возможной жизнью, — чтобы на рассвете вздохнуть с облегчением. Эти качества: умение вздыхать с облегчением, способность быстро успокаиваться и трезво глядеть на обстоятельства, явившись вскоре после Обряда, они весьма помогали жить.

— Ты прав, Эгмонт, — сказал герцог Густав. — Мне надо спешить. Сын мой, я не стану требовать, чтобы ты заранее подписал обязательство инвеституры¹. Я не ростовщик-ломбардец, а ты — не должник, заверяющий вексель. Просто здесь, в присутствии твоего отца и государя, а также любезного нашему сердцу Эгмонта Дегю, поклянись честью рода и памятью предков, что...

Жерар-Хаген смотрел на саркофаг.

— ...после того, как герцогиня Амальда и я отойдем в мир иной, ты станешь регентом-опекуном своего младенца-брата, творя опеку со строгостью и чистосердечием, до дня свершения Обряда над сиротой...

Жерар-Хаген смотрел на саркофаг Альбрехта Кроткого. В малом нефе наверху дремал ларец: один из многих. Неудержимо захотелось вскрыть святыню и заглянуть в лицо золотой статуэтке предка. А потом двинуться по усыпальнице, вскрывая ларец за ларцом. Случались дни, когда молодой граф ощущал себя глиняным големом, полым изнутри. Ждал: вот-вот польется золото. Наполнит, согреет. Полагая себя безнравственным уродом, укоряя за подобные причуды рассудка, сейчас он всерьез задумался: неужели мы все временами чувствуем себя големами, созданными с целью тайной и недоступной для нас?!

¹ Инвеститура — символический обряд передачи земельного владения (титула), сопровождавшийся установлением вассального подчинения сеньору (сюзерену).

— ...если Господь не захочет смилостивиться и ты по-прежнему останешься бездетным, ты передашь трон Хенинга в руки младшего брата в тот счастливый день, когда он подарит тебе племянника...

Герцог Густав вдруг прервал речь.

— Нет. Не надо клятв. Господу угодно шутить, вынуждая нас нарушать обеты. Просто скажи: да будет так.

— Да будет так, — сказал Жерар-Хаген.

Он знал, что исполнит волю отца. Большинство дворян через десять-пятнадцать лет после Обряда замечали: их чувства начинают притупляться. Насколько тело сохраняло силу и молодость, настолько сердце билось ровнее. Это не мешало жить отпущенный срок. Скорее помогало: на смену восторгам приходил покой, экстаз сменялся удовлетворенностью. Чревоугодники пресыщались, распутникам надоедал порок, гордецы делались равнодушными к лести и почестям. Даже изуверы вроде Санчеса Кровавого или Фернандо Кастильца — оставалось лишь догадываться, какими дикими злодействами ужаснули бы они мир, не покройся их естество пылью скуки. Приснопамятный Карл-Зверь был слишком молод. Не рискни он поднять мятеж сразу — спустя годы он вряд ли согласился бы узурпировать баронство родителя, посягнув на жизнь близких. Из добрых чувств? из боязни? — нет.

Просто пламя вошло бы в пределы очага, перестав грозить пожаром.

Не потому ли границы государств Европы оставались прежними вот уже который век?

— Да будет так.

— Государь мой, — Эгмонт Дегю сделал шаг вперед, качнув перьями берета. — Я преклоняюсь перед вашей мудростью и прозорливостью. Господин граф, не меньше я преклоняюсь перед вашим

чувством долга. Но у меня есть сведения, способные воспрепятствовать исполнению сего благородного обещания. Причем воспрепятствовать в самом лучшем смысле слова. Проезжая через Хенинг, я посетил ратушу с целью подтверждения старых привилегий магистрату. На площади Трех Гульденов... сейчас, у этого саркофага, я понимаю: святой государь Альбрехт хранит Дом Хенинга! Так вот, на площади Трех Гульденов ко мне подошел некий юноша, заговорив о пурпурном пеликане под сенью шатра...

«На тебя, Господи, уповал...» — шевельнулись губы Густава-Хальдрёда.

Сквозняк устал играть покровом, и края повисли крыльями спящего ангела.

V

— Даже если сведения не подтвердятся...

— Государь! — Ламберт вскочил. Щеки юноши пылали. — Ваше высочество! Мой учитель лично...

— Перебивать нас, — без малейшей тени улыбки бросил Густав Быстрый, — является государственным преступлением. Совершенное простолудином, карается усекновением главы. Но я прощаю тебя, ибо не ведал, что творишь. Итак: даже если сведения, предоставленные тобой и твоим учителем, не подтвердятся — Эразм ван Хайлендер обретет пожизненный пенсион, а ты останешься в свите моего сына, ибо в нашем роду умеют ценить верность. Но если выяснится, что ты, рискуя жизнью, сообщил правду...

Слепой Герольд спал в углу, прикорнув на лежанке. Войдя, герцог жестом запретил его будить.

— Тогда во всех геральдических коллегиях узнают, что Жерар-Хаген цу Рейвиш, будущий XIX герцог Хенингский, назначил нового главного героль-

да при своем дворе. Ученика великого Эразма Слепца, которому не нужны глаза, чтобы видеть.

— Он очень похож на вас, государь... — Юноша-поводырь моргнул. Было трудно смотреть на герцога: будто за морской зыбью уследить пытаешься. И все-таки сходство несомненно. — Этот мальчик. Очень. Именно на вас. На господина графа — меньше...

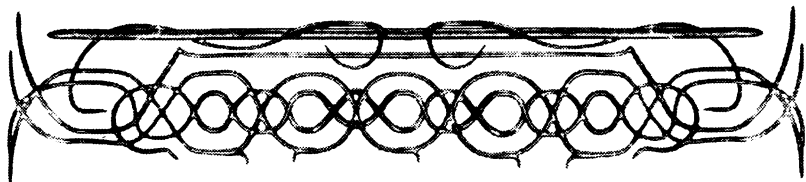
И второй раз дрогнули губы герцога. Неслышной, едва различимой слабостью, допустимой лишь наедине и допущенной уже дважды в присутствии посторонних. Стареешь, Густав-Хальдред. Стареешь, Быстрый. Откуда-то ударили колокола: праздничные, гулкие. Наслоилась поверх дребедень малой звонницы. Герцог смотрел на Ламберта-поводыря и видел надежду. Дар судьбы. Тайную силу, какую не раз замечал в ныне покойном астрологе Томазо Бенони. Люди, подобные звездочету, редко доживали до настоящей старости: слишком бренное тело не выдерживало напора внутренних расстройств. Пять лет назад, придя к постели умирающего, Густав Быстрый лишь мимолетной тенью на лице позволил себе выказать упрек. «А ведь ты обещал!.. Помнишь?! Звезды ясно говорят: род будет продолжен, причем продолжен именно вашим благородным сыном...» Улыбнулся сьер Томазо. На пороге ухода, светло и счастливо. Видеть измученное, распухшее тело в свете этой улыбки было невыносимо. Три его последних слова: «Звезды не лгут...» Даже обычное «Ваше высочество» опоздал добавить. Или не захотел. Умирающему простительно. Умершему — тем паче. Звезды не лгут... Тогда герцог Густав лишь плечами пожал. А сегодня, глядя на взволнованного поводыря, спиной к рассвету, он видел тайную силу, надежду и звезды, которые не лгут.

Небо тлело на горизонте.

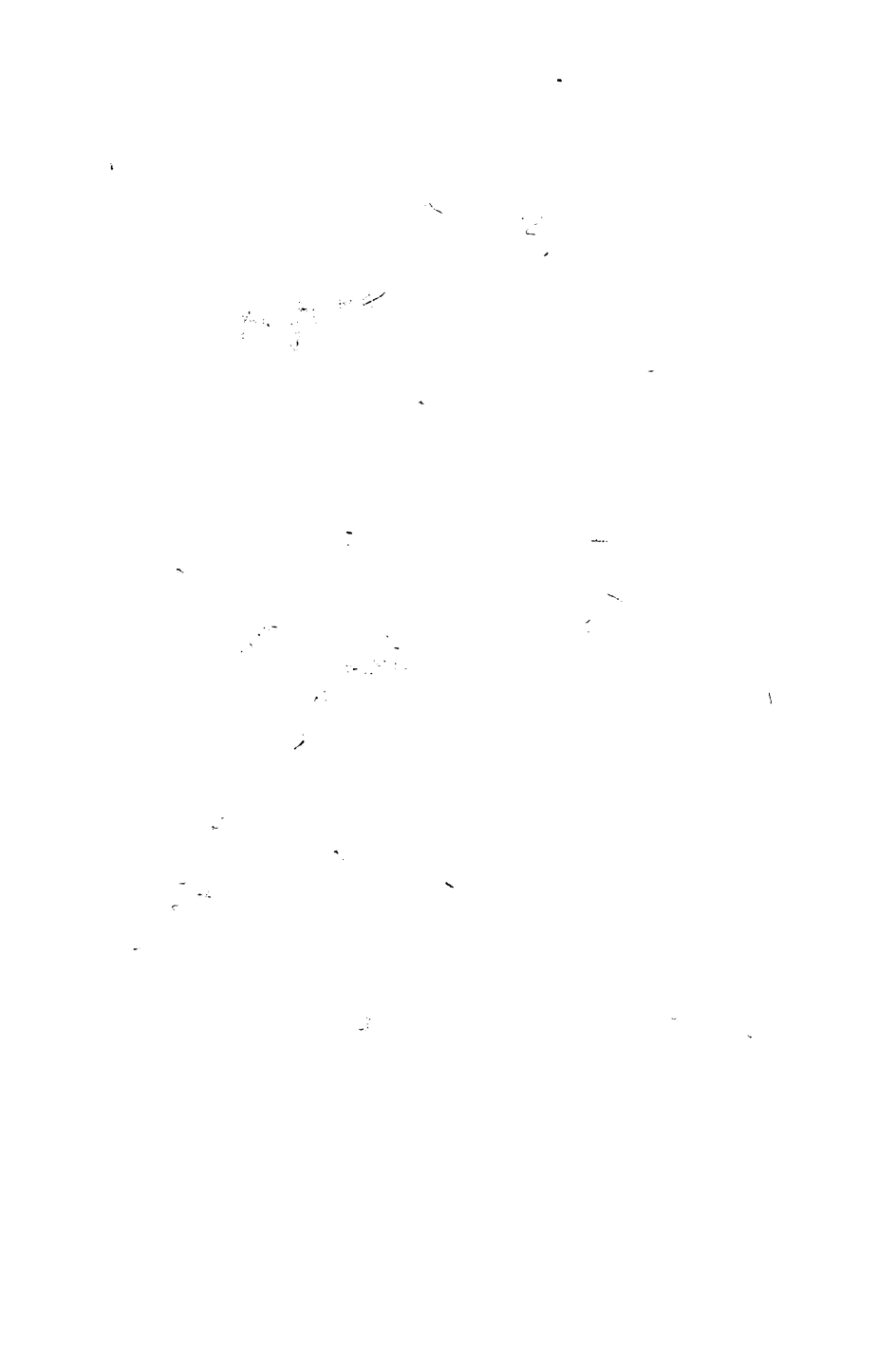


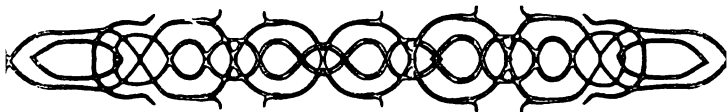
Солнце вставало навстречу желтым рощам октября.

Далеко, у излучины Вешенки, за миг до пробуждения плакал дурачок Лобаш: ему снился Вит-приятель, который больше никогда не захочет играть с дурачком.



КНИГА ВТОРАЯ





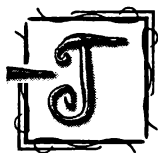
— Значит, благо — причина не всяких действий, а только правильных? В зло оно неповинно.

— Безусловно.

— Значит, и бог, раз он благо, не может быть причиной *всего*, вопреки утверждению большинства. Он причина лишь немногого для людей, а во многом он неповинен: ведь у нас гораздо меньше хорошего, чем плохого. Причиной блага нельзя считать никого другого, но для зла надо искать какие-то иные причины, только не бога.

Платон. «Государство».

XLI



де?... — Вит очумело моргал, вертя головой. — Где мы?!

— Кажется, в рефектории...

Ответ слетел с губ фратера Августина сам собой. Эхо сказанного еще гуляло вокруг, упирая на «кажется...», но длинные, почерневшие от времени столы с низкими скамьями, свод потолка, ряды стрельчатых окон и главное — изображение Святого Круга на дальней торцевой стене, строго напротив входа — не оставляли сомнений.

— Ре... фре...

— В трапезной, сын мой, — поправился монах, сообразив, что мальчик и слова-то такого: «рефекторий» — отродясь не слышал. — По-моему, мы в монастыре.

И вопросительно глянул на Душегуба.

Мейстер Филипп был вполне доволен собой. Стоял чуть в сторонке, улыбаясь (*...переливы струн арфы смущают торжество тишины...*) искренне и благостно. Искося наблюдал за своими спутниками.

— А ты чего ожидал, святой отец? Угодить прямиком на адскую сковороду? Или в вертеп тюрлюпенгов? Ты прав, мы в монастыре.

В трапезной царили сумерки. То ли узкие окна препятствовали свету, то ли на дворе сделалось пасмурно, — хотя недавнее утро в Хенинге горело янтарем на солнце.

— Девочка, — вдруг отчетливо произнесла Матильда. Оперлась на ближайший стол, глядя в стену. Вит даже испугался, что старая штукатурка осыплется под этим взглядом-тараном. — Пойдем к ней.

— К кому? — мягко поинтересовался мейстер Филипп.

Наверняка обычная блажь Матильды. Никак не связанная с окружающей действительностью. Глазунья еле держалась на ногах; после вчерашнего «светопреставления» девица была слабей мышонка. Удивительно ли, что заговаривается? И все же Филипп ван Асхе счел нужным переспросить, меньше всего надеясь на ответ.

— К девочке.

— К какой девочке?

— Что сидит на звездных облаках. Защита и оберег. Она везде. Она здесь. Мы пойдем к ней?

«Бредит», — с жалостью подумал монах.

А Душегуб растерялся. Даже попятился слегка. С трудом выдавил:

— Откуда... откуда ты знаешь, что это *девочка*?!

— А вы разве не знали? Она ведь давно здесь... на облаках...

Взгляд Матильды Швебиш стал осмысленным, — рывком, сразу. Так просыпается волк. Будто девица заново рухнула в сумрак трапезной, те-

перь взаправду. Булькнув горлом, она начала грудой тряпья оседать на пол. Душегуб с монахом кинулись одновременно, едва не столкнувшись лбами. Подхватили, не дали упасть.

— Обморок!

— Нет. Просто сон. Переутомление. У нее бывает...

— Надо перенести ее в келью. Пусть отдохнет.

Идемте.

Мейстер Филипп шагнул к укромной дверце в стене. Открыл без малейшего скрипа; приглашающе обернулся. Цистерцианец с Матильдой на руках и Вит, поспешивший к святому отцу на помощь, двинулись следом. Перед ними предстал монастырский дворик с крытыми галереями по краям. Напротив — глухая стена, без единого окна. Ее вполне можно было бы принять за часть наружных укреплений, когда б не узкая дверь входа — серая, невзрачная, она нарушала каменное однообразие самым своим существованием.

— Дормиторий... — пробормотал монах на ходу.

— А? Что?!

Вит по наивности счел сказанное бранью. По-краснел от стыда.

— Дормиторий. Помещения для сна и отдыха. Здесь должны находиться монашеские кельи.

— Вы бывали тут раньше, святой отец?

— Нет. Но я бывал во многих монастырях: их устройство весьма сходно. Вон то здание, справа — скорее всего, капитул... левой — базилика... Церковь монастырская.

Тем временем Душегуб успел пересечь двор. Но, прежде чем войти, взял один из факелов, выложенных рядом под черепичным навесом. Кресало нашлось в эмалевой шкатулке. Сразу чувствовалось: мейстер Филипп здесь далеко не впервые.

Факел весело вспыхнул, разгоняя темень, и маленькая процессия втянулась в дормиторий.

— Слева и справа — кельи. Выбирайте любую.

Прямо — общая спальня. — Мейстер Филипп остановился в тесном коридоре. Поднял факел выше, давая всем осмотреться.

— Любую? А братия?

— Кроме тебя, отче, в обители больше нет монахов.

— Что же случилось с местными братьями?

— Не знаю, — с искренним равнодушием пожал плечами Филипп ван Асхе. По стенам качнулись длинные, зыбкие тени. — Наверное, в раю давно. На арфах бряцают. Э-э, да у тебя сейчас руки отвалятся, отче! Иди за мной...

Душегуб поспешил толкнуть ближайшую дверь.

Чтобы войти в келью, пришлось нагнуться. Внутри было тесно: крохотная каморка, гроб из камня. Окошка нет. Стол, табурет, на столе — пять восковых свечей; вдоль стены — деревянные нары, и на них, уместная в аскетической обстановке не более, чем епископская митра на пьянице-водовозе, — пуховая перина. Еще подушка: огромная, блестит розовым атласом. Будто кто-то наперед знал, что сюда принесут обеспамятевшую девицу, и заранее расстался.

Цистерцианец уложил Матильду на перину, а Душегуб выбрал свечу — больше локтя длиной и толщиной в руку ребенка. Зажег фитиль от факела.

— Чтоб не испугалась. Иначе проснется, а кругом тьма египетская! — пояснил он. — Эта свеча до утра гореть будет.

Монах согласно кивнул, и все трое вышли на цыпочках, прикрыв за собой дверь.

— А мы теперь здесь ж-ж-жить станем? — осведомился Вит, заикаясь. — Это м-меня, значит, в м-монахи постригут?

— Не говори глупостей, сын мой!.. — принялся было увещевать мальчика фратер Августин. Но тут мейстер Филипп, поднеся факел ближе, взгляделся в сонное лицо Вита, увидел, как слипаются его глаза...

— Да ты на ходу валишься, парень! Пойдем. Утро вечера мудренее.

В самом скором времени Вит мирно сопел на нарах в келье напротив: здесь тоже нашлись тюфяк с одеялом. Засыпая, он успел позавидовать Матильде: девице досталась такая роскошная перина!

Через минуту ему явились две перины. Три. И восемь подушек.

Сон оказался щедрым.

XLII

— ...Итак, все-таки: где мы?

Они стояли посреди двора. В черном небе над монастырем бродил фонарщик-месяц: зажигал первые звезды. Рисунок созвездий выглядел знакомым, но не вполне. Словно звезды, хлебнув лишку, качнулись спьяну в разные стороны. Впрочем, фратер Августин никогда не был силен в астрологии. Мог ошибаться.

— В монастыре.

— Не увиливай, Филипп, — впервые цистерцианец обратился к Душегубу на «ты», сняв вежливую отстраненность, которую прежде строго выдерживал. Коротко, остро полоснул взглядом. — Я тебе не сельский простак. Во-первых, это *бывший* монастырь. Покинутый. Что в нем сейчас? И во-вторых: где он расположен? Мельком я слышал шум моря...

— Ты умница, Мануэлито, — с внезапной легкостью согласился Душегуб. — Бывшая обитель, теперь — *богадельня*. А вот где мы находимся — не скажу.

Монах натянуто усмехнулся:

— Тайна?

— Ни в коей мере! Знал бы — сказал.

— То есть как это?!

— Проще простого. Никто из Гильдии не знает. Если выяснишь, скажи мне.

«Шутит он, — подумалось цистерцианцу, — издается или говорит всерьез?»

— Есть у нас один бывший звездочет из Бухары... Абд-Рахим именует богадельню «Нитью Времени». Мол, судя по звездам, обитель прошивает насквозь разные эпохи, сохраняя постоянство места в пространстве. Возможно, он прав. Если ты помнишь, мы покинули переулок Тертых Калачей ранним утром. И вот: вечер... Хотя многие уверены: время здесь течет по обычному руслу, и место расположения богадельни легко определимо. Только места называют разные. Кстати, море действительно рядом. Спустимся на берег?

Не дожидаясь ответа, Филипп ван Асхе направился в дальний (*...шепот незримых крыльев над головой...*) конец двора. В тишине спящего монастыря шаги по плитам раздавались отчетливо и гулко. Цистерцианец заторопился следом. Миновав базилику, они свернули в тесный проход между церковью и дормиторием. Вышли к наружной стене, высотой в два человеческих роста. Массивные ворота оказались незапертыми: когда мейстер Филипп толкнул створку, та нехотя поддалась.

— Есть, однако, и другие предположения, — обернулся ван Асхе к монаху. — Кое-кто, например, всерьез считает это место раем. Маленьким таким раем. Земным. Не подумай, святой отец, я не кошунствую! Просто к тому есть весомые аргументы...

По узкой тропинке, начинавшейся от ворот, они двинулись вниз. Месяц упал отдыхать за скалы, но звезды сияли столь ярко, что цистерцианцу вспомнилась родина. В Кастилии, ясными августовскими ночами, созвездия пылали очень похоже. Спуск оказался пологим: даже ночью идешь без риска свернуть себе шею. Вскоре под ногами зашуршала потревоженная галька. Шум прибоя надвинулся, вытесняя тишину. Фратер Августин подумал, что завтра непременно надо будет выбраться на берег

при свете солнца. Осмотреться. Вдруг места окажутся знакомыми? Давно он не купался в море...

Ночь дышала теплом, словно осень вдруг повернула вспять.

— Насколько я понимаю, в богадельнях дают приют нуждающимся. Где же убогие, которых опекает Гильдия? — нарушил монах затянувшееся молчание.

— Разве Витольд с Матильдой не нуждаются в помощи? Ты непоследователен, святой отец!

— А... другие?

— Иногда сюда приходят люди. Живут. Потом уходят. Или в других богадельнях дело обстоит иначе?

— Некоторые остаются. Те, кому некуда больше идти.

— И у нас остаются. Навсегда. Остаться — не значит торчать тут все время безвылазно... Кстати, Матильда на чем-нибудь играет? Арфа, цитра? лира? псалтериум?!

Вопрос застал фратера Августина врасплох.

— На цитре. А в чем, собственно...

— Рисует? Кистью? Углем?

— Не знаю. Никогда не видел. Ты...

— Это нужно для подготовки Обряда. Придется покинуть вас до утра: раздобуду девочке инструмент.

— А для мальчика что нужно?

— Ему-то как раз требуются сущие пустяки. Только с этими пустяками будет сложнее, чем со всеми цитрами Хенинга. Но я что-нибудь придумаю. Не беспокойся, святой отец.

— Я буду молить Господа о счастливом исходе.

— Правильно, Мануэлито. — Речь Филиппа ван Асхе сверкнула иронией: доброй, тихой. — Хорошая молитва всегда кстати. Но мне потребуется от тебя и иная помощь. Ты умеешь плавить золото?

— Разумеется! Я давно не подходил к горну, но старые навыки умрут лишь вместе со мной!..

«Вот оно! Вот!.. — стучало в висках бывшего фармацевта. — Рецепт Магистерия! Филипп явно намекает, что готов поделиться секретом! Я узнаю тайну! узнаю... я...»

— Чудесно. И наконец: индульгенции у тебя с собой?

— Они всегда со мной.

— Попозже я куплю одну.

— Вы решили очиститься от грехов, мейстер Филипп? Может, сперва желаете исповедаться? — Монах, сам того не заметив, вновь вернулся к строгой отстраненности.

— Исповедь тоже не помешает. Это большая удача, что ты оказался с нами. Жаль, твои услуги предназначены не для меня. Для мальчика.

Отец-квестарь не нашелся, что сказать, а Филипп ван Асхе уже шагнул обратно к богадельне. Звезды ехидно подмигивали с купола небес, сверкающего алмазной пылью.

— Между прочим, здесь есть библиотека, — сообщил Душегуб, обождая, пока монах догонит его. — Думаю, ты найдешь в ней много интересного. Но у меня к тебе убедительная просьба: возмись переводить одну из книг, что там хранятся.

— Какую?

— Любую, на выбор. Какая больше понравится.

— А на каком языке?

— На любой, какой знаешь. Или которого не знаешь, — беззаботно махнул рукой мейстер (...нарастает грохот копыт: сейчас из ущелья вынырнут...) Филипп, окончательно поставив святого отца в тупик. — Ну, я пошел. Проголодаешься — кухня рядом с трапезной. Ищи в кладовой; наверняка остались запасы. Да, и если здесь кто-нибудь объявится, сохраняй спокойствие. Поздоровайся и

продолжай заниматься своим делом. Счастливо оставаться!

Над стеной обители вскрикнула птица: громко, отчетливо. Шепот прибоя захлебнулся, внимая жалобе; в расщелине мелькнул рог месяца, недовольно шевельнувшегося на жесткой постели. Камешек сорвался, покатился вниз, мечтая стать лавиной. Так и упал в гальку: камешком. Наивным пустяком, одним из множества. А птица долго молчала, прежде чем крикнуть еще раз: тихо.

Чш-ш-ш...

— Мейстер Филипп! — монах глядел в спину уходящему. Сухие губы еле шевельнулись, треснув словами. Задавая вопрос, он чувствовал себя лишним на этом берегу. — Но все-таки... мы были в Хеннинге... утро... И вот — здесь! Как же это, мейстер Филипп?..

— Чудо Господне!.. — не оборачиваясь, ответил Душегуб.

Цистерцианец готов был поклясться: он серьезно.

XLIII

Открыв глаза, Вит сперва ударился в сомнения. На свежую голову в заброшенные монастыри и тайные ходы Душегубов верилось слабо. Однако, проморгавшись, он разглядел скудное убранство кельи, где провел ночь. Ничего общего с мансардой. Свеча на столе умирала, оплыв лужей воска; пламя дергалось в агонии. Мальчишка резво соскочил с лежанки, запалил от меркнувшего огонька другую свечу, поменьше, и, сунув ноги в башмаки, выбрался в коридор.

Дверь во двор находилась в каких-нибудь пяти шагах. Слегка приоткрытая, она весело золотилась ковриком теплого света. Вит честно задул свечу (чего зря добро транжирить?!) — и через миг был

уже во дворе, зажмурясь от брызнувшего в глаза солнца. Меньше всего задумываясь, куда несут его ноги, пересек дворик, выйдя к внешним воротам. Толкнул створку. Шагнул наружу.

И не сумел сдержать восхищенного возгласа: перед ним было море.

В Хенинге он вместе с друзьями ходил на залив. Глазел на стальные волны, поражался обилию воды. Но лезть купаться даже в голову не пришло: осень, знаете ли! Плескаться в мрачной холодрыге Вит был не охотник. Да и залив плохо располагал к купанию: толчея рыбацких лодок, берег затянут сетями, вывешенными для просушки, а дальше начинается гавань, где швартуются бригантины, галеоны и эти... с веслами... А, вспомнил! Дублон звал их «галерами», всякий раз приговаривая: «Сущий ад!» Сунешься купаться — враз раздавят!

Зато здесь — кр-р-расота!

Море подмигивало тысячами золотых блесков, дыша пряной лаской водорослей, солью и совершенно особенной, *морской* свежестью; ветер ерошил волосы, всклокоченные со сна... Вода чистая, прозрачная, будто хорошее стекло, и совсем без медуз. Плавать оказалось куда легче, чем в речке. А еще оно и вправду соленое, море. Вит об этом, конечно, слышал, но, когда на залив ходили, проверять застеснялся.

Наплескавшись вволю, мальчишка выбрался на берег. И, натягивая одежду прямо на мокрое тело, обнаружил в сторонке мастера Филиппа: тот с улыбкой наблюдал за купаньем.

— Замерз?

— Не-а!

— Первый раз в море?

— Ага!

Как-то само получилось, что Вит забыл добавить к ответам «гере Филипп» или «мастер Филипп». А Душегуб воспринял это как должное. С ним было

легко и ни капельки не страшно. Чего бояться? — он добрый и веселый. К тому же их с Матильдой вылечить собирается!

— Завидую я тебе, парень! Мне б твои годы... Голоден небось? Завтракать пойдем?

— Пойдем!.. А Матильда проснулась? Ей лучше?

— Проснулась. Завтрак нам стряпает. Давай-ка и мы ее порадуем. Как думаешь, вон тот цветок ей понравится?

Филипп ван Асхе указал на верхушку отвесной скалы, где на ветру трепетал розовый венчик.

— Конечно! Красивый...

— Достанешь? Мне туда точно не вскарабкаться.

— Запросто! Я сейчас, я мигом... — Вит кинулся на скалу, что называется взалхб. Будто всю жизнь мечтал оказаться на вершине. По правде говоря, на эдакую кручу лезть довелось впервые. Свалишься — можешь сразу отходную заказывать. Но мальчишка об этом не думал. Лез себе и лез, всякий раз безошибочно отыскивая опору для пальцев рук и ног (башмаки он догадался оставить внизу). И все-таки едва не сорвался! У самой вершины гад-камешек, на вид казавшийся вполне надежным, вдруг вывернулся из-под руки. Вит на миг потерял опору, сердце сжалось перепуганным птенцом — но словно кто-то поддержал его, давая передышку: уцепиться, прижаться к скале, восстановить равновесие...

Мальчишка перевел дух. Осторожно покосился через плечо. Как и следовало ожидать, рядом никого не оказалось, а маленькая фигурка Душегуба виднелась далеко внизу. Виту померещилось, что он разглядел тревогу на (...*высверк молнии в толще грозовых туч...*) лице Филиппа ван Асхе. Решил было помахать хорошему человеку рукой, но вовремя опомнился.

Полез дальше.

Когда, чуть-чуть испуганный (...а навернулся бы?!), но гордый, Вит спустился обратно с цветком

в зубах, ему очень захотелось поделиться с мейстером Филиппом пережитым. Рассказать о страхе, о незримой поддержке. Поверит? поймет? Может, он все-таки немножко добрый волшебник? Не сходя с места, взмахнул украдкой чудо-палочкой: не падай! держись!.. Мальчишка отважился посмотреть Душегубу прямо в глаза, и сразу выяснилось: мейстер Филипп крайне взволнован.

— Ах я, старый дурак! Век себе не прощу! Витольд, ты меня не слушай, ладно, вечно мне в голову всякая ерунда приходит!..

«Ага, не слушай! — тайком ухмыльнулся Вит, чувствуя, как от переживаний этого взрослого и опытного человека мальчишечья гордость возносится до небес. — Завтра опять сюда залезу. Мне это раз плюнуть!..»

И они пошли завтракать.

XLIV

Трапезная встретила их шкворчаньем жарящейся яичницы. Судя по ароматам, доносившимся из кухни, яичница намечалась с ветчиной и луком. У Вита слюнки потекли: точь-в-точь волчара Хорт, когда мельник хрюка разделявал. Фратер Августин хлопотал у стола. Расставив глубокие тарели, уместные в монастырском рефектории не более памятной перины с подушкой, он задумчиво вертел в руках роскошный дражуар¹ — золотой, в форме розетки, с гербами по краям. В конце концов, так и не найдя иного применения сему чуду, монах сложил туда горкой ломти хлеба.

Выглядел цистерцианец осунувшимся, усталым. Белки глаз воспалились, треснули красными прожилками; мешки под глазами набрякли синевой.

¹ Подставка для конфет или фруктов, считавшаяся посудой комнатной, в отличие от посуды столовой.

«Небось тоже голодный!» — посочувствовал Вит, вслух желая святому отцу доброго утра. Однако голод телесный терзал монаха в последнюю очередь. Накануне он провел бессонную ночь. Думал: забегу в библиотеку на минутку, мимоходом! — не тут-то было! Снаружи занялся рассвет, когда фратер Августин опомнился и, прихватив огарок свечи, удалился в поисках места для ночлега. Сон валил с ног, но возбуждение никак не хотело гаснуть. В первую очередь изумлял странный для обители подбор книг.

Ни единого богословского трактата!

Ни одного труда отцов церкви!

Даже Святого Писания...

Тем больший интерес вызывали наличествующие тексты. Отнюдь не крамола или ересь, как следовало предположить, исходя из отсутствия канонических работ. Часть рукописей цистерцианец превосходно знал, о других слышал, третьи видел мельком. Четвертые встретились впервые. Здесь бок о бок хранились свитки, чей возраст исчислялся веками, и относительно новые инкунабулы: всего около сотни. Некоторые догадки, похоже, начали подтверждаться, но высказываться определенно было пока рано.

Зато идти спать — поздно, но надо.

— Господь Всевышний — моя опора!

Дождь, и град, и пуста сума...

Приют неблизко, покой нескоро,

Ах, в пути б не сойти с ума!..

Подходя к dormitorio, монах столкнулся с незнакомцем. Темнота мешала как следует рассмотреть чужака. Мужчина, одет на мавританский манер: длиннополый халат, плащ-марлотта, чалма... Радужно поклонившись, «мавр» произнес — нет, скорее выплеснул на монаха певучую фразу.

— Простите... — растерялся фратер Августин, ничего не поняв. — Я не местный...

«Мавр» умолк. Нахмурился. И вдруг звонко хлопнул себя ладонью по лбу.

— Это я молю о прощении, о брат мой! Успехов в Науке Разумного Поведения!..

На этот раз монах все прекрасно понял. А человек растворился в тени базилики. Цистерцианец мог голову дать на отсечение: «мавр» повторил свою первую фразу, причем язык остался прежним. Лишь чуть-чуть сместил некие едва уловимые акценты. Еще одна загадка? Впрочем, Душегуб предупреждал и советовал хранить спокойствие.

Последовав мудрому совету, фратер Августин отправился дальше.

— ...А вот и яичница! О, да вы уже здесь...

Глазунья возникла из дверей кухни в облаке вкусного пара, с трудом неся перед собой увесистую сковороду. Раскрасневшаяся, веселая, пышущая жаром, она показала Виту на удивление милой. Словно мамка, когда у печки хлопочет, вкусенькое варит-парит... А Глазунья (которая со сковородой), вооружась здоровенным ножом, уже нарезала кусками глазунью (которая на сковороде). Держалась она заправской стряпухой: вчерашняя безумица сгинула. Вит подождал, пока Матильда закончит, отложит ножик в сторону...

— Это тебе...

Протягивая девушке цветок, он явственно ощутил: уши становятся пунцовыми.

Глазунья присела в смешном реверансе:

— Ой!.. спасибо!.. Нет, правда, спасибо! Красота какая! Где ты его нашел?

— На скале... — Вит почувствовал, что сейчас сгорит со стыда. Слома голову кинулся за стол, притворяясь, будто умирает от голода; ухватил кус яичницы, второпях целиком сунул в рот. Обжегся. Из глаз брызнули слезы. Фратер Августин строго

посмотрел на мальчишку, но выговаривать не стал. Прочел коротенькую молитву, осенив стол Святым Кружением, после чего приступили к трапезе.

Завтрак Матильде удался на славу. Троица мужчин расхвалила стряпуху до небес — Глазунья даже засмушалась, чего раньше за ней не водилось.

— Тело ублажили, о душе святой отец позаботился... — Мейстер Филипп аккуратно отер губы платочком. Вынул из-под стола два кожаных футляра, жестом кудесника извлек из первого цитру. — Хорошо бы теперь сердце согреть. Что скажешь, милочка?

— Я?! Я чуть-чуть...

— И я чуть-чуть, — улыбнулся Душегуб. — Значит, получится отличный дуэт. Итак?

Из второго футляра он достал новомодную альтовую виолу. Установил перед собой, придерживая сверху за широкий гриф. Смычком коснулся струн... Печальная мелодия, спотыкаясь с непривычки, растекалась по трапезной; слегка запоздав, к ней присоединилась цитра Матильды, и два инструмента пошли рука об руку, тихонько ведя беседу. Только разговор выходил, как у заики с шепелявым. Оба разумны, да жаль, косноязычны. Звуку временами было тесно, смычок заставлял басы поскрипывать. То виола, то цитра на миг запинались, рассыпая мотив сухими крошками, но вновь спешили вернуться в общее русло — стылая осенняя (...*жухлые листья мечты: вдаль...*) река текла, петляя в теснине круч, дребезжа льдинками на перекатах...

В общем, у дуэта выходило пока не очень. Хотя душевно.

— «Lamento di Tristano», — тихо, сам себе, пробормотал монах, едва последние отголоски умолкли под сводами. В груди щемило тайное чувство стыда: будто подглядывал в щелку за первой ночью любовников. Юных, неопытных — смущенье поцелуев, наивность ласк, пальцы дрожат, дыхание срывается,

но страсть творит чудеса, подменяя опыт невинностью, которая иногда порочней любой искушенности.

Откуда явилось такое странное сравнение, монах не знал.

Матильда встряхнула головой, гоня грусть прочь. Ловко пристроила в волосах подаренный Витом цветок и вдруг обернулась к юному кавалеру:

— Вит, а ты на чем-нибудь играешь?

— Не-а, — растерялся мальчишка. — Я это... я в «хвата» бацаю...

— Ладно, в «хвата» еще сбациаешь. А пока...

Пальцы вновь легли на струны. Под своды трапезной величаво вступил радостный и одновременно торжественный «Basse danse La Brosse». Виола мастера Филиппа заторопилась подхватить. Музыцировали всего двое — неумело, сбивая ритм, наслаиваясь случайными диссонансами, но цистерцианцу с Витом казалось: в рефектории играет малый оркестр... откуда-то явилась, то и дело фальшивя, труба, плеснула золотой волной, упала, сорвалась на смешной щенячий визг... Чудеса! А Матильда, не доведя тему до конца, перескочила к другой. Безудержное веселье «Trotto» захлестнуло залу; Душегуб опаздывал с аккомпанементом и потихоньку (...*пламя свечей дрожит от сквозняка...*) отложил смычок. Но этого никто не заметил. Как и того, что в трапезной объявился новый слушатель. Был он высок, статен, с русой бородкой кольцами, и одет не по погоде: теплынь вокруг, а на госте — полушубок нараспашку, кафтан на вате, шаровары алого сукна. В руке шапка соболя. Оружья при госте не наблюдалось...

Стоял себе человек у двери. Смотрел. Слушал. Ухмылочку в усах катал.

И вдруг не удержался: в пляс пошел! поплыл! полетел! Вприсядку, коленцами, орлом, лебедем! — мало что искры не летят. Может, и не великий плясун, как Душегуб с Матильдой — музыканты. Зато

полы вразлет, шапка под ноги, полушубок на пол, да сапогами их, сапогами, каблуками наборными — зверя-соболя, седую лису! Эх, душа, ходи-приговаривай! Тут-то уж все гостя заметили. У Вита кусок в горле застрял: эдакое добро топтать! Не нравится? — подари, отдай, но зачем портить?! Матильда сбилась, еле-еле плясовую до конца довела.

Раскраснелся гость, разругманился.

— Привет честной компании!

Выговор мягкий, чужой. Только сразу видно: веселый человек. Глянешь на него — самому улыбнуться хочется. А Душегуб уже навстречу: обниматься лезет, по плечам хлопает. И как бы невзначай в сторонку отвел.

— Что, Филипп? Вижу, решился?

— Решился, Костя. Такой случай упускать грех...

— Ясно. На то и Совет, чтоб советы давать, а поступать всяк по своему разумению волен. Сказать по чести: сомнительна затея твоя. Раньше тебе говорил и сейчас скажу. Но помочь — помогу. Ежели ладить избу, так на совесть. Мальцу, разумею, пестуны нужны?

— Нужны, Костя. И лучше, чтоб издалека.

— Из моих краев — в самый раз будет.

— Спасибо. А тебя-то сюда что привело?

— Сердце покоя возжаждало. Обрядов раньше Масленицы не предвидится — дай-ка, думаю, на недельку залягу. Чтоб ни баб, ни вина, никого, ни души — только я! Ага, как же! Залег медведь в берлогу, ан тут ловец с рогатиной! Ладно, жди: за пару деньков управлюсь.

— Дождусь, Костя.

И мейстер Филипп обернулся к троице, примолкшей за столом:

— Ну что, Витольд? Готовься к благородным забавам!..

Косте Новоторжанину повезло: в раннем детстве оставшись сиротой, он был пригрет в семье новгородского посадника Буслая. Старик-вековик, славный тысяцкий, менявший князей, как перчатки, три года назад овдовел и сейчас женился во второй раз — отчего крутой нрав его ненадолго смягчился. Смышленный мальчишка полюбился седому Буслаю; по нраву он пришелся и молодой посадничьей женке, Мамелфе Тимофеевне. Новгородцы тайком дивились: застряв меж двух жерновов, чей норов гремел от Городища до Пискупля, Костя умудрился не стереться в муку.

Видать, тоже не зерном уродился — камешком.

К малому Ваське, позднему сыну Буслая и Мамелфы, Костя сразу прикипел сердцем. До смешного доходило. Пацанва играла за Волховским мостом в «варягов», снаряжая ладьи аж до самого Царьграда — юный Новоторжанин качал люльку. Народ сбегался глядеть на кулачную, «княжью» потеху бойцов Славны и Нереевского конца — Костя кормил дитятю жеваным хлебцем. Первым на закорках отнес к Софии: малиновый звон слушать. Кусая губы, стоял на похоронах Буслая-благодетеля, держа Ваську за руку. Оба не плакали.

Не умели.

Чернец Макарий, грек по происхождению, выучил Костю грамоте. Буквенная премудрость далась на удивление быстро: словно Новоторжанин знал ее еще до рожденья, а сейчас просто вспоминал. Позже настал черед языкам: вертяться близ заморских купцов, Костя, кроме родного, освоил речь фрязинов, угров и лэттов, а с легкой руки чернеца заговорил на древнеэллинском, арабском и латыни. От корки до корки вызубрил подаренную книжицу «Двенадцать снов царя Шахияши», взалхлеб пугаясь картин светопреставления, описанных там. Стал

обыгрывать Макария хоть в шашки, хоть в заморские шахматы. Честная вдова, Мамелфа Тимофеевна, поощряла дружбу сына с ладным да умелым парнишкой — хоть и держала Костю в строгости, не давая повода счесть себя ровней. Зато посадничий сын Василий Буслаев, прозванный Червлёным, готов был живот положить за друга. Одаривал сверх меры. За столом одесную саживал. В проказы — вместе, в драку — бок о бок, ответ держать — на двоих.

Косте стукнуло двадцать три, а Василию пошел осьмнадцатый годок, когда Гильдия удовлетворила прошение Мамелфы Тимофеевны на Обряд для сына. Отказа, говоря честно, и не ждали: посадник Буслай был Старо-Обрядцем, пятым в цепочке боярского рода — значит, Ваське по всему судилось стать шестым. Сила Терентьич, местный Душегуб, сладил дело чисто, красиво: семья Буслаевых осталась довольна. Зато вскоре начал браниться не единожды битый Васькой народ. Степенные ольдермены являлись к Мамелфе Тимофеевне жаловаться: буян Васька по пьяни вдрызг разносил иноземные торговые дворы, щедро одаривая голь чужим добром. Огонь бродил по жилушкам, требовал выхода.

И Костя Новоторжанин, переговорив заранее со вдовой Мамелфой, подбил друга ушкуйничать.

Кипели реки-моря под смолеными ладьями. Кипели облака-небеса над головами ватаги Васьки Буслаева. Кипела кровь в сердцах молодецких. Ходили в Заволочье, на Югру, в землю Суомь: трепать чудь белоглазую. Пушнину лихим промыслом добывали, зуб моржовый. Попривыкли к кистеню, к топорешку. Кроме самого Буслаева, свято хранившего чистоту рук посадничьих, прочие ватажники горodu дерн целовали¹ — коль родом не вышел, носи

¹ Целовать дерн — давать кабальную клятву. В данном случае: подтверждать свое худородство.

позор оружия. Как говорится: со свиным рылом — в Кузнецкий ряд. Возили скань с узорочьем¹ в Ганзу, возили в Скандию, Любек. По Хвалыни плавали. Топили-грабили свейские драккары: ни один «пенный ярл» не выдерживал боя с «Червлёным Базилем». Добрались греховодники до святой речки Иордань: искупались голышом. Грехи на сто лет вперед смыли. Безгрешными, загорелыми, буйными вернулись домой.

— Эх, народ! — сказал Костя, сходя на пристань, усыпанную зеваками.

И плюнул.

Последние три года Костю начал привечать неизвестный Сила Терентьич. Как ладьи к мосткам, так сразу Новоторжанина кличут к Силе. С поклоном. В доме Душегуба всегда были рады башковитому парню. Вели речи о жизни, о людях, о мирском устройении. Допустили к книгам: редкости знатной, хранившейся с превеликим бережением. Часто говорили, что земля качается, да укрепить некому. Везде одинаково: «Это мое и то мое, а что твое, дык накось-выкуси!» Однажды Костя, вовсе разуверившись в земной справедливости, чуть было не ушел в Десятинный монастырь, но вовремя передумал. Тайная мысль точила Новоторжанина, мысль, требовавшая воплощения, и он решился.

Удивительный поступок Василия Буслаева потряс город, но никто не догадывался, что взаправдашним заводилой был Костя.

Вернувшись из очередного похода, «Червлёный Базиль» указал новгородцам на свои ладьи, доверху набитые богатым товаром. «Берите!» — сказал Васька. «Даром!» — крикнул Васька. «Кто сколько унесет!» — расхохотался Буслаев. А бок о бок с другом детства стоял Костя Новоторжанин, закусив губу,

¹ Скань — филигранные изделия из крученой (сканой) проволоки; узорочье — украшения.

как на похоронах старого Буслая. Вот сейчас нищие станут имущими, а бедные — зажиточными. Сбудутся мечты. Укрепитя твердь земная. И счастье снизойдет...

В давке затоптали кучу народа: больше женщин и детей.

Две ладьи, накренившись, стали тонуть.

Вспыхнула драка в Волховской гавани: кто схватил, тот хотел больше.

И понял Костя: только пуще раскачалась твердь. Скотов в ангелов дармовой милостыней не переделывать. А Василий Буслаев, грозный сын посадничий, вскипел сердцем. Засучил рукава по локоть и пошел сам-один на Великий Новгород: ум кулаками во лбы вколачивать. Следом ватага двинулась: атамана плечами подпереть. Ох, гуляла бойня! — от Корыстных рядов до Ярославовой звонницы, от паперти Успения до Дворищ. Сам владыко новгородский, архиепископ Питирим, явился Ваську урезонивать. Куда там! Унесли владыку на руках, беспамятного. Тут уж старосты кончанские-уличанские клич кинули, тут верхние бояре холопов оружных созвали, тут вечевой колокол разгуделся: бей Буслаева! бей ватажников Буслаевых!

Костя Новоторжанин бился в первых рядах.

На Славне подранили молодца.

Быть бы жизни в грязь втопанной, когда б не Сила Терентьич. Откуда и взялся Душегуб? Не иначе, из-за плеча левого. Ухватил Костю под мышками, в дверь ближнего дома силком втащил, саму дверь за собой захлопнул. А снаружи некий паскудник возьми да и ударь вослед копьем. Насквозь просадил доску березовую. Так и запомнилось раненому Новоторжанину, когда оглянулся, летя чудоптицей сквозь дверной портал: бабочка на игле. Сила Терентьич, наставник-учитель, к створке копьем прибитый.

И улыбка на лице. Будто дело сделал, а там хоть потоп.

Хоть Страшный Суд.

Косте повезло: в богадельне оказались люди. Один человек. Филипп ван Асхе, хенингский представитель Гильдии. Он и выходил. Все знал, все понимал мейстер Филипп с его вечно разными улыбочками — будто умирающий Сила Терентьич себя до него добросил, дошвырнул. За Костю попросил. А выздоравливая, сел Костя от безделья, от муки сердечной «Двенадцать снов царя Шахияши» на лэттский язык переводить. Перевел. До последней буквицы.

Ночью кричал во сне: не по-человечьи.

Душа кричала.

Утром встал бодрый, веселый. Здоровый. Следующей зимой, когда Новгород поклонился Гильдии земным поклоном, запросив нового Душегуба взамен убитого, — был дан городу новый, да знакомый.

Костя Новоторжанин.

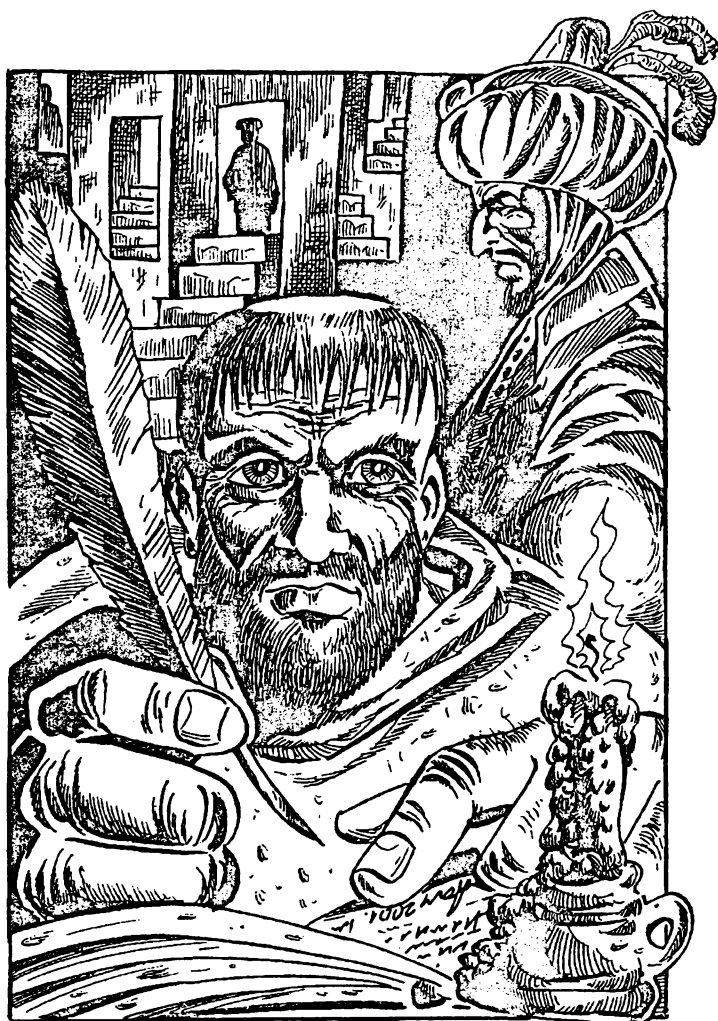
Посадник Василий Буслаев, избранный битым народом, зело радовался.

XLVI

— Господи! В руки Твои предаю себя! Видишь сокрытое, знаешь незнаемое; беспокоен духом, припадаю к стопам Твоим...

Фратер Августин молился.

Эхо в испуге бродило меж кипарисовых столбов колоннады: две шеренги титанов, подпиравших сводчатое небо базилики, давно оглохли и онемели, с головой уйдя в вечность. Эху, нимфе-невидимке из громокипящего язычества эллинов, здесь было неуютно. Пыль и тьма копились по углам, скрадывая шаги; Святое Кружение на потолке, прямо над



коротышкой-алтарем, опасным нимбом падало на молящегося, сияясь упасть окончательно. В боковых нефх молчали грубо резанные статуи святых. Подписи на постаментах отсутствовали. Оставалось лишь догадываться: хмурые бородачи — апостолы, столпившиеся вокруг раненого Иуды, что бился мечом в Гефсимани, а женщина, с головы до ног закутанная в покрывало, — Лилит из Магдалы. Лица статуй едва намечены: резчик, новичок или гений, заставлял молящегося напрягаться в ожидании. Казалось, стоит отвернуться, припасть к алтарю, сосредоточась на молитве, — и из примитивных масок за спиной прорастут настоящие, подлинные лица, сокрытые до поры. Вглядятся: искренность? страх? правда? ложь?! Кто пришел нарушить покой сердца богадельни?!

— Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно? Вспомни, какой мой век: на какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих?! Кто из людей жил — и не видел смерти...

Фратер Августин молился.

Ему здесь нравилось. Базилика наполняла душу покоем и радостью. Грешно сказать, но тут монах особенно остро ощущал близость к Всевышнему. Даже в ночь Искупленья, с индульгенцией под подушкой, когда зубы стирались в крошку, а мука телесная кричала, опутанная стальной цепью воли, — даже той страшной ночью, изменившей всю его жизнь, фратер Августин мечтал лишь о покое. Честном, выстраданном покое. Как о последнем приюте.

О радости не мечталось.

Также не испытал он радости, когда до монастыря докатилась весть: Фернандо Кастилец окончательно повредился рассудком. Особ столь знатных часто одолевала скука, утрата интереса к жизни, но кастильский изувер ухитрился изрядно смочить кровью пыль финала. Задушил собственную жену,

заперся в Вальядолиде; полгода провел там в одиночестве, допуская лишь шута — последнего бил по любому поводу, однако не до смерти. В итоге шут и обнаружил однажды утром остывшее тело владыки. Говорят, король смеялся в лицо Костлявой. А фратер Августин просто кивнул, узнав о смерти Кастильца. Удовлетворение от свершившегося возмездия? Почтение к Божьим мельницам, которые мелют медленно, но неумолимо? Нет. Не было *ничего*. Гулкая пустота в душе. Цистерцианец нашел в себе силы помолиться за упокой грешной души Фернандо, и особенно — за упокой королевых...

Он не предполагал, что отыщется место, где на него снизойдет радость.

— Благодарю Тебя, внявшего слову моему, тайной просьбе моей...

Три дня, пока отсутствовал веселый Костя, монах провел в библиотеке. Считай, безвылазно. Он уже наметил будущую работу: перевод «*Directorium vitae humanae*» с латыни на родной кастильский. Такой перевод делался однажды: тридцать лет назад, неким Родриго Тельесом из Сьерра-Эльвиры. Монах был знаком с трудом Тельеса, полагая его слишком возвышенным и далеким от оригинала. Пора вернуться к истокам. Но не предвкушение соперничества, не возможность часами корпеть над любимыми пассажами, заставляя их звучать по-новому, выверенно и точно, волновали сейчас сердце. Подтверждалась давняя догадка: книги в библиотеке укрепляли веру в собственную правоту.

Еще живя в миру как Мануэль де ла Ита, будущий цистерцианец полагал, что «Наставление жизни человеческой» Капуанца, «Венценосец и следопыт» византийца Симеона Сифа, «Калила и Димна» еретика Абдаллаха ибн ал-Мукаффы, а также свитки рабби Йоэля суть различные трактовки одного первоисточника. Несмотря на серьезные, порой совершенно убийственные расхождения в

тексте, на разное количество глав, на изменение названий и авторские добавления, умело вплетенные в общий строй. Намек на это крылся в самих книгах: Капуанец темнил, Симеон Сиф и Абдаллах говорили открыто (впрочем, поди проверь их правдивость!), хитрый рабби уходил от ответа, как должник уходит от кредитора-разини. Добраться до истины стоило многих сил. Часто самые талантливые авторы выдавали собственный труд за перевод гениев древности: имя, осененное благодатью веков, делало книгу великой в глазах профанов куда быстрее, чем любые красоты стиля и тонкость мысли. Тот же рабби Йозель с усмешкой вспоминал своего друга Моше бен-Нахмана, якобы нашедшего в Палестине великую книгу «Зогар», дело жизни прадавнего каббалиста Шимона бар-Йохая.

Вслед за Йозелем фратер Августин полагал: «друг Моше», прекрасно зная нравы людей, таким образом подбавил весомости личным умозаключениям.

Известно: хороший мудрец — мертвый мудрец.

А великий мудрец — давно мертвый мудрец.

Понимая, что перевести «Directorium vitae humanae» целиком за две-три недели (именно столько отводил мейстер Филипп на подготовку Обряда) не удастся, монах собрался ограничиться вступлением и первыми двумя главами. Даже это выглядело непосильным. Особенно учитывая дотошность цистерцианца: фратер Августин твердо решил ознакомиться со всеми возможными вариантами, имевшимися в библиотеке. Насколько хватит его знания языков. Шустрый червячок глодал душу: найти исходный манускрипт! корень ветвистого дерева, где каждый лист — речь человека, расколовшаяся вдребезги у подножия Вавилонской башни.

Он боялся признаться самому себе: работа над переводом занимает его никак не меньше тайны Магистерия. И вдвойне боялся сойти с ума, когда глубоко внутри оживало робкое предположение: вдруг это *одна тайна*?!

— ...святой отец! Святой отец, вы здесь?..

Тихий оклик отвлек монаха от размышлений, которые, в свою очередь, уже давно отвлекли фратера Августина от молитвы. У входа в центральный неф топтался Вит, оглядывая пространство базилики. Мальчишка прекрасно видел в темноте — монах имел возможность в этом убедиться, — но хрупкая черта между светом и тьмой, именуемая «сумерками», застила взор непрошеной слезой. Однако «курий слепень» постепенно сходил на нет и, если верить Душегубу, должен был исчезнуть совсем.

После Обряда.

— Я здесь, сын мой! У алтаря...

Голос цистерцианца зазвенел удивлением. Мальчишка, целиком поглощенный новым образом жизни, забыл про скучного монаха, меньше всего ища встреч наедине. Вместе с мейстером Филиппом часами пропадал на берегу, в скалах, карабкаясь за ярким цветком или красивым камешком, ныряя в пену прибоя с отвесной кручи, бегая по гальке наперегонки с ветром и швыряясь плоскими «блинчиками», смешно скачущими по воде. Душегуб всячески поощрял эти действия, подбрасывая новые идеи: залезть на монастырскую стену без помощи ног, цепляясь пальцами за крохотные выбоины, или успеть трижды взбежать-вернуться по тропинке, пока мейстер Филипп сосчитает до ста.

Матильда редко сопутствовала Виту в сих забавах. Но девице Филипп ван Асхе уделял ничуть не меньше внимания, ежедневно слушая игру на цитре, прося погадать или нарисовать углем портрет Большого Втыка. Монах видел: между этой троицей — мальчишкой, девицей и Душегубом — устанавливаются обманчиво-хрупкие связи, оплетая людей паутиной, сводя воедино. Ничего плохого на

первый взгляд в этом не крылось, но фратер Августин мучился дурным предчувствием.

— А, вот вы где...

«Как он вырос! — изумился монах, вставая с колен. — Где рубеж, отделяющий ребенка от подростка? И подростка — от юноши?! Где межа, из-за которой больше нет возврата?! Он прежний, я ведь помню! — он прежний и совсем другой! Глаза, рот... осанка!...» Вит действительно сильно изменился. Сгладилась былая угловатость, жесты стали точнее, проще, сгинула детская разболтанность. Так отличается молодая собака от вчерашнего щенка. Фратер Августин отметил: Вит старается сдерживать себя, двигаясь медленнее, *отчетливее*, чтобы монах успевал следить за ним. Получалось не всегда: временами чудилось — парень не шевелится, а просто исчезает в одном месте, дабы возникнуть в другом. Лишь слабая рябь соединяла «здесь» и «там». Вот: правая рука висела плетью, а теперь приглаживает вихры... снова упала... Текучесть движений мешала наблюдать. Зато лицо отвердело, сделалось строже, почти утратив наивную живость.

Вспомнились лица святых в нефах.

— Я тут ни разу не был...

Фратер Августин улыбнулся, но быстро стер улыбку с лица. Такое впечатление, что все свои улыбки кончились. Что берешь взаймы: у мейстера Филиппа, из его богатейшего запаса. Потом хочется умыться холодной водой.

— Зря, сын мой. Тишина сей базилики — бальзам для души. Если хочешь, помолись вместе со мной.

— Не-а... Вы небось прямо Богу в уши, а я что? Глупости всякие... мешать буду. Я просто подумал: вы небось обижаетесь, что я все с гере Филиппом да с Матильдой... Про вас забыл...

Чистая душа. Ах, малыш... Монах потянулся, ласково тронул острое, твердое плечо.

— Я не обижаюсь, сын мой. Я ведь понимаю... Если хочешь, давай походим здесь, посмотрим. Вместе. Иди сюда: это колоннада... алтарь... боковые нефы...

— Нефы?

— Иначе, «корабли». Так их зовут франки. На латыни «navis».

— На них плавают, святой отец?

— Плавают, сын мой. Только плавание это куда более дальнее и многотрудное, нежели обычное хождение по хлябям морским. А это называется «апсида» — видишь, полукруглая ниша в глубине...

— Апсида... Красиво. А кто в ней сидит, отче? Божий Младенчик?!

Фратер Августин присмотрелся. Обычно он подолгу замирал у алтаря, не проходя дальше. И внутрь апсиды не заглядывал. Да, действительно: в нише, прямо на полу, располагалась статуэтка, разительно отличавшаяся от грубых работ местного резчика. Тонкая, ювелирно точная резьба. Молочно-белый тон дерева: еле-еле светится, разгоняя сумрак. Таким принято изображать Первоответчика в детстве, размещая образ в качестве «запрестольника». Чернь испокон веку зовет подобные статуи Божьими Младенчиками, а на родине цистерцианца, в Кастилии, — Боженьками, ласково уменьшая слово. Поджав ножки, рукотворное дитя сидело на полу апсиды, благостно глядя пред собой...

Нет.

Цистерцианец сосредоточился. Отличия от канона лишь теперь стали заметны. Глаза этого ребенка были полузакрыты, тогда как Божьему Младенчику полагалось взирать на мир ясно и светло. Отсутствовал постамент: священный лик обычно располагался чуть выше голов прихожан, вынуждая паству смотреть снизу вверх; здесь же кудрявая головка находилась едва ли не на уровне колен фратера Августина. Темная накидка сползла с плеч, упала,

закрывая нижнюю часть тела, тогда как по канону статуя должна быть одета в короткую тунику. Но суть различий крылась все-таки в другом.

— Красиво...

Монах не ответил Виту. Он вспоминал сотни Божьих Младенчиков, виденных им в различных храмах. Везде это был вопрос, обращенный к тебе. Всюду кроткий взгляд Агнца преследовал тебя, самой беспомощностью, добротой своей вопрошая: ну что же ты, сын мой?! блудный сын мой, что же ты?! — и ты стоял пред Ним, потупя взор, стоял ответом пред вопросом: вот я, Милосердный! такой, каков я есмь!.. Здесь все выглядело иначе. Дитя, погруженное в раздумья, дышало столь великим покоем, столь упоенным счастьем, не нуждающимся в свидетелях, что ты торчал у входа в апсиду нелепой башней, дурацким вопросом: ну что же ты, Агнец? ведь это я, сын твой! я пришел, а ты? подыми голову, взгляни на меня! пусть снизу вверх, только взгляни!...

В храмах на постаментах возвышалась опека воздаянья.

В базилике на полу сидела безмятежность судьбы.

Держа за руку присмирившего Вита, фратер Августин уходил из базилики. Уходил, уходил, уходил... У порога обернулся. Свет дня, разбившись на смерть об узкие прорези свода над колоннадой, осколками рухнул на пол. Вспыхнул, чтобы быстро угаснуть. Дрогнули свечные фитили, отдавая умирающему последние капли огня. Пятна, тени... Острые блики струились по камню пола, затекая в нишу; ночным, полным звезд небом ложились под немое дитя и все никак не могли оторвать от земли, поднять ввысь, туда, где тщетно ждали круги рая.

Затворив дверь, люди тихо вышли прочь.

— А... — сказала Матильда, когда монах с Витом

вернулись в трапезную. — Вы видели девочку. На звездных облаках...

— Откуда ты знаешь, что это девочка?! — Без улыбки мейстер Филипп казался голым.

— Знаю. Я тоже видела.

XLVIII

Этим утром Вит проснулся с предвкушением праздника. Камнем из пращи вылетел во двор. Зажмурился. Ну, утро. Ну, солнце. Сквозь ресницы радугой брызжет. Ну, небо голубое... Хоть плюнь и протри, все равно голубее не станет! Птицы... Вчера тоже летали, глупые. И позавчера. А праздника не было.

Зато сегодня — вынь да положь!

Однако ломать голову над причудами сердца Вит не стал. Эй, душа, чего хочется? Наружу?! Мальчишка сунулся к колодцу. Опрокинув на себя ведро студеной воды, завопил от восторга. И припустил в трапезную — босиком, мокрый, шлепая пятками по гладким, прохладным с ночи плитам двора. Есть хотелось до умопомрачения, аж брюхо к спине прилипло.

Матильда сегодня превзошла сама себя: пирожков гору напекла. Мамка и та обзавидовалась бы — румяные, поджаристые! Пальчики оближешь! А на Дне ни разу не стряпала... Выходит, на все руки мастерица? На цитре бренчит, судьбу угадывает и углем рисовать горазда. Душегуба вчера ойфово намалевала: как живой! Только прищур чужой, бесовский... Рука, видать, дрогнула. Вит думал: обидится мейстер Филипп. Не-а, не обиделся... смеялся. Матильда на него глядела-глядела и сама расхохоталась. Точно мамка: улыбнется — будто изнутри кто свечку запалил! Пирожков Виту больше всех положила, с корочкой. Ешь, мол, худоба, поправляйся...

Вит рад стараться: наворачивает. Он ведь тоже молодцом: столбун сгинул, дергунец удрал... кукиш вам от сглаза! Наверное, мейстер Филипп обоих уже лечить взялся, исподтишка...

Беда, если кусок пирога в горле застрянет. А чего ж ему не застрять, горемычному, когда дверь мало что с петель не сорвалась?! Была трапезная, стала людская: шумно, ярко и... как это, когда толпа народу вваливается?... Толписто! Первым объявился давешний Костя, чью длинную «гремуху» Вит успел забыть. А за ним... благородные! всамделишные! да еще и не наши! Двое их, которые без оружия. Сразу видать — братья. Оба здоровенные, как три дядьки Штефана каждый. В дверь бочком да по очереди. Бородачи лопатой, хоть и молодые; ряжены, опять же, на один манер. Наряд петушьим хвостом пестрит: шаровары — рябина зимняя, кафтаны — луг васильковый, кушаки — серебро с чернью.

Не господа — диво дивное, заморское.

Следом повалила челядь, одетая больше по-палачески, в красное. Оружьем с ног до головы увешаны. Мешки всякие тащат, котомки, а у последнего на плечах — цельный бочонок.

— Встречайте гостей!

Хорошо, Матильда Вита по спине огрела. От души. Вскочил Жеськин сын из-за стола, мало лавку не опрокинул. Кусок проклятуший из горла воробьем:

— Здра!.. б-бухдь!..

Ох, стыдоба! Решат небось: заика. Вит от срама гостям в пояс — а гости в ответ норовят до земли поклониться! Смеются басом. Бороды встопорщили: «Бу-бу-бу! Бу-у-у!» Хорошо, Костя рад стараться. Толмачит:

— Якун Васильич и Ондрий Васильич Буслаевы тебе доброго здравия желают, Витольд. А также всем честным хозяевам.

Точно, потешаются! Где ж это видано, чтоб к селюку-простаку вперед других?! Спасибо мейстеру Филиппу: выручил. Встал навстречу гостям, за стол пригласил. Засновала челядь красная по трапезной, снесь из мешков повытряхивала. Вит наладился было удрать, так старшой, который Якун Базильсон, лапищу на плечо положил. Сбеги тут, если бревном придавило! Пошел пир горой. Ясно теперь, отчего они медведями выросли: на завтрак столько съедают, сколько иной за весь день не осилит! Даже вечно голодный Вит к концу трапезы лишь икал от сытости.

— Благодарствуем за хлеб-соль! — объявил Костя, подымаясь с лавки. Словно забыл, чьи хлеб-соль кушал. — Самое время жирок растрясти!

«Растрясти ему! Из-за стола бы встать...» — Давя икоту, Вит полез наружу. И сразу оказался между братцами-Базильсонами. Как меж двух дубов неохватных. В левое ухо: «Бу-у-у!» В правое: «Бубу-бу!» Не ровен час, оглохнешь. И чего им от бедняги надо?!

На этот раз спас не Костя — мейстер Филипп.

— Витольд, они спрашивают: к каким забавам ты привык? По-благородному, на кулачках? на поясах? Против оружных смердов биться? Или еще чего желаешь?

— Я?! ж-желаю?!

Душа ухнула в пятки. Взгляд суматошной мухой заметался по трапезной, ища путь к бегству. На кулачках?! на поясах?! С *этими*?! Убьют, как Круг свят, убьют — и не заметят! «Вот т-те, злыдень, и праздничек!.. — злорадно каркнули откуда-то из прошлого. — Вот т-тя, ведьмачину окаянную, и обласкают!..»

— М-мейстер! Мейстер Филипп... скажите им!..

Рука Душегуба мягко тронула солону волос. Улыбка Душегуба легла на сердце теплым одеялом. Уку-

тала, согрела. Голос Душегуба нес в себе покой и безопасность:

— Не бойся, малыш. Ничего не бойся. Ты понял меня? Ничего и никого. Пошли купаться, дурашка...

XLIX

Братцы-Базильсоны чуть море из берегов не выплеснули.

Бесились зверьми-левиафанами: с фырканием, с молодецким гиканием, норовя притопить друг дружку. Тепло и воде гости радовались совершенно по-детски. Мейстер Филипп плавал неподалеку, «собачкой», щурясь на солнце. Вит старался держаться поближе к нему. Потом, голышом вывалив на берег, затеяли пускать «блинцы». Тут Виту честь и хвала: его «блинец» аж семнадцать раз скакнул! В качестве награды победителя, раскачав, забросили на глубину — и побежали топить для верности. Навалились гурьбой: «Бу-у-у!» Юркий мальчишка выскользнул угрем, поднырнул между ног Базильсонов; расхрабрившись окончательно, изо всех сил дернул волосатую ножищу, норовя опрокинуть. В этом, правда, не преуспел — проще корову на горбу унести!

Но Андре Базильсон ничуть не обиделся на подобную вольность. Вот ведь, благородные — а забавляются, будто с ровней! Видать, люди шибко хорошие. Везет ему, Виту, на хороших людей!

«Хорошие люди» тем временем совсем разошлись. Затеяли кидаться друг в дружку мокрой галькой. Чисто огольцы в Запрудах. Как-то так само собой вышло, что скоро вся галька полетела в Вита — вертись-поспевай! Вит сперва боялся, а там приноровился. Даже разок в ответ засветил в лоб доброму Андре. А челяди ихней — и не раз! Игра все-таки...

Молодым козленком он скакал по пляжу, не за-

мечая, что в него летит уже не галька, а изрядные каменюки. Заметил только, когда вдруг понял: не увернуться. Корявый обломок песчаника ввинтился в воздух едва ли не со свистом; Виту показалось, что душа от страха выскочила через макушку. Глупая, насмерть испуганная душа трепетала в лучах солнца, готовясь улететь навсегда, а тело, оставшись без души, вдруг разучилось бояться. Просто не знало, как это делается. Телу было хорошо, телу было весело, тело дышало, играло, жило, тело сжимало кулаки странными, угловатыми шишками, заставляя руки плясать в обнимку с медленным, ленивым, неуклюжим камнем: два ткацких челнока взбесились, заматались — туда-сюда-обратно, туда-сюда-обратно... майская гроза, дробь по крыше...

Душа ахнула и упала.

Вит сидел на песке. Кашлял. Моргал. Кругом валялись каменные осколки. Один больно врезался в тощую ягодицу. Надо бы встать или просто подвигнуться, да кашель, пакость этакая, одолел.

Костя Новоторжанин с уважением качнул кудлатой головой:

— Ишь ты!

— Бу! бу-у! — азартно рывкнул Якун Базильсон, выворачивая из песка глыбу с самого Вита размером. Мальчишка задушенно пискнул и бросился наутек.

Грянул дружный хохот.

— Стой, Виталя! — донеслось вдогонку. — Вертайся! они ж шутейно!..

Вит с опаской покосился через плечо. Обнаружил, что никто в него больше ничем не швыряется, а мейстер Филипп приветливо машет рукой. И, слегка пристыженный, повернул обратно.

Шуточки у них, у лбов заморских!..

Душегуб очень внимательно смотрел, как малыш возвращается. Даже улыбаться забыл. Именно сейчас Филипп ван Асхе с обжигающей остротой по-

чувствовал: дело сладится. Как задумывал, так и сладится. С девицей (*...алмаз в венчике тюльпана: светится...*) все сразу было ясно. Кровь давняя, звонкая; не кровь — песня. А за этого бастарда, пасынка случая и упрямства, Душегуб волновался. До той минуты, пока душа не взлетела к солнцу, а телу стало лучше лучшего. Сладится дело.

Сладится тело.

Теперь видно.

L

Нашествие гостей оставило фратера Августина равнодушным. Работа над переводом всецело поглотила цистерцианца — не воздав должного роскоши завтрака, он поспешил тихонько удалиться. Однако в библиотеке монаха ждал сюрприз. Над столом с грудой фолиантов склонилась долговязая фигура незнакомца. Белая, вышитая золотом риза. Святой паллиум, закрепленный булавками, чьи головки — гиацинты. Тиара в виде тройной короны. Сердце екнуло: не может быть! Сон, греза! бред!.. Память услужливо шепнула голосом мейстера Филлиппа: «...если здесь кто-нибудь объявится, сохраняй спокойствие...» Как же, сохраняй! Легко ему, Душегубу, советовать, когда...

Человек обернулся, и сомнений больше не осталось. Это лицо монах видел во дворце Фернандо Кастильского, на картине безумного живописца Фонтанальи: «Иннокентий II в базилике св. Лаврентия возвещает «Медную Буллу».

Но ведь папа Иннокентий, примиривший Гильдию с церковью, давно мертв!

— Ваше Святейшество?..

На груди мертвого папы дюжиной драгоценных камней блеснуло Святое Кружение. Пальцы правой руки задумчиво перебрали четки. Отец-квестарь не-

вольно отметил: пальцы у понтифика длинные и тонкие, как у музыканта. Говорят, превосходно играл на арфе.

— Простите, Ваше Святейшество, что помешал Вам! Но меньше всего я ожидал...

Глубина карих глаз вдруг налилась светом. Узкие губы тронула улыбка, и папа, подобно таинственному мавру, произнес певучую фразу. Язык был цистерцианцу неизвестен, но он прямо-таки источал доброжелательность.

— Я... я не понимаю... — растерялся Августин, сообразив, что папа мог, в свою очередь, не понять его, и переходя на латынь.

Однако Его Святейшество, пропустив благую латынь мимо ушей, продолжил говорить. Цистерцианец заслушался, не различая смысла — столь приятным и мелодичным оказался язык, на котором изъяснялся понтифик. Перебирая в уме все знакомые наречия (словно четки! четки Его Святейшества!..), монах находил в каждом из них отголоски, привкус, тень музыки сей речи — как в каждом из человеков, порой глубоко, кроется образ и подобие Творца. Достаточно увидеть, ощутить сердцем, и не останется места для смуты духа!.. Наверное, он мог бы слушать долго. Все время чудилось: еще чуть-чуть — и станет ясно, пронзительно ясно, о чем говорит удивительный гость! Но Иннокентий II внезапно оборвал тираду. Кивнул цистерцианцу, как старому знакомому, и направился к выходу из библиотеки.

Миг — и монах вновь остался один.

Фратеру Августину потребовалось десять минут, чтобы прийти в себя. Призрак? видение?! — или на самом деле сюда из Авиньонской усыпальницы изволил явиться покойный папа?! Воистину странные вещи творятся здесь, в странном месте под странными звездами. Чудны дела Твои, Господи! и пути непостижимы...

Наконец цистерцианец сел за стол.

С усилием вернулся к своим штудиям.

Шелест страниц — шелест волн. Ласкает, манит, притягивает. Нырнуть вниз головой, раствориться, забыться... Под гладью пергамента, под барашками-завитушками букв и знаков сокрыты бездны, тая секреты от робких, но доступные упорным. Не раз спускался сюда, знаешь дно в мелочах. Ан глядь — ветвятся ранее невиданные кораллы, открылся дальний грот, маня темнотой! Взять книгу — все равно что взять в жены привлекательную женщину. Если она понятна и доступна с первой попытки, если всякий раз, снимая с нее одежды, ты не испытываешь сладкого, священного трепета, если годы спустя она не кажется тебе любимой и уютной, как старенькие шлепанцы, которые ты не выбросишь ни за что на свете...

На миг оторвавшись от очередной книги, монах вновь погружался в текст.

Это напоминало тяжелый, беспросветный запой.

Тайное знание исходника брезжило в сотне отражений, будто солнце в волнах. Зачерпни горстью — уйдут сквозь пальцы и вода, и солнце. Многократно сверяя слово за словом, фразу за фразой — теплится ли надежда извлечь первоизданный смысл, тайную суть из-под позднейших напластований? Как ювелир заставляет алмаз играть сокрытым блеском, превращая его в бриллиант чистой воды? Для начала — восстановить хотя бы одну главу. А потом...

А потом монах впервые увидел Башню. Вавилонский Столп. Величие Столпа поражало воображение. Исполинским древом он тянулся к небу, раскинув по тверди мощь корней-опор. И мнилось: нет силы, способной остановить его рост, не дать подняться к ревнивым небесам. Но так могло казаться лишь земному тщеславию. Есть Тот, Кто превыше всего. В Его власти положить предел даже

тому, чему предела быть не может. Не из камней и бревен возводился Столп Вавилонский — из самих людей (...людей?...), вознамерившихся сообща достичь звезд! Бренные создания ложились этаж за этажом, твердо зная отведенное место, цель, способ... Один человек подобен муравью, но вместе мириады букашек строят огромный муравейник. Однако на сей раз цель оказалась непосильной даже для Столпа-муравейника...

Почему?!

«И сказали они: построим себе город и башню, высоту до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город и башню...»

Мираж давно исчез; в окнах гасли брызги заката, под сводами библиотеки клубился вечерний сумрак. А отец-квестарь все сидел, глядя прямо перед собой слепыми глазами, не в силах вернуться к работе. Откуда столь яркое видение, на грани прозренья, на грани... Фратер Августин чувствовал: эта грань рядом. Перейди монах рубеж — и он делается другим человеком. Откроет истину многоликой книги, постигнет мелодию удивительного языка. И тайна Обряда — она же тайна Магистерия! — перестанет быть загадкой. Цистерцианец покрылся холодным потом. Что-то творилось с ним, творилось внутри его, а он отнюдь не был уверен, что здесь кроется промысел Творца. Впервые за много лет стало

страшно. Кто ведет его по пути, увлекая в пучину шуршащих страниц, все глубже и глубже? Что ждет в конце: сокрытые от людей чудеса Господни или огонь геенны, где дерзкому Мануэлю де ла Ита довелось побывать, искупая грехи семьи?

Но сейчас речь шла о большем, нежели муки телесные. Речь шла о самой душе. Сделай он последний шаг — возврата не будет. Еще не поздно отступить. Отказаться. Замереть на пороге... и никогда не узнать: что там, по другую сторону?! Различенье добра и зла? смертный грех? Или, напротив, блаженство рая?! Однако кто ведает, в чем заключается роковой шаг? Во всяком случае, тем, что некий монах закончит перевод первой главы «*Directorium vitae humanae*», вряд ли оный монах погубит свою бессмертную душу! Цистерцианец попытался усмехнуться, и это ему удалось. В конце концов, сказал же Он: «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть!»

Взяв со стола заранее приготовленную лучину, отец-квестарь зажег от теплившейся в углу лампадки две толстые свечи. Живой огонь радостно вспыхнул, разгоняя по углам трусиху-темноту. Гоня прочь сомнения, гнездившиеся в душе.

Глубоко вздохнув, словно усталый ныряльщик перед очередным погружением, фратер Августин вновь склонился над книгой.

LI

Матильда Швебиш накручивала локон на палец. Детская привычка, давно забытая, здесь вернулась. Возьмешь прядь волос, начнешь вить кольца, и улыбка разгорается на губах летней зарей. Мейстеру Филиппу хорошо, у него этих улыбок — пруд пруди. А у Матильды одна-одинешенька, редкая гостья. Пальцы задумчиво тронули струны цитры. Взяли

аккорд: ломкий, стеклянный. Будто спросили: «Что дальше? Знаешь?..» Инструмент отозвался светло и чуточку грустно. Цитра умная, понимает: все хорошее рано или поздно заканчивается. Свою жизнь никакой пророчице, будь ты хоть Кумская Сивилла, не увидеть, не угадать... И значит: не переделать.

Так к чему грустить раньше срока?!

Игривая мелодия взвилась стаяй чаек. Белые перья, черные клювы. Пошла гулять по изумленной келье, весело шурша крыльями о наждак стен. Все хорошо! Жаль, мейстер Филипп с Витом не слышат. Им бы понравилось. Душегуб — тот вообще на части готов разорваться. Ему ведь и с Матильдой быть надо, и с мальчиком... Вот и мечется между ними. Сейчас к Виту удрал. Как бродячий пес между кухней и мясной лавкой. Или нет, иначе: как паук, который разом двух мух пеленает! Друг к дружке паутинкой вяжет: круть-круть, мушки-душки...

Девушка рассмеялась.

Скверный из мейстера Филиппа паук. Кровь сосать?! — он небось при виде крови в обморок шлепнется! Глупости. Помнится, еще малышкой у няни спрашивала: а чего вон того дядю все, когда дядя не слышит, Душегубом зовут? И ты, нянюшка, и садовник Кугель, и даже мама! Нянька думала-думала, да только плечами пожала. Хромого Йошку за спиной Бегунком кличут, а Йошка от крыльца до калитки полдня тащится! Мало ли чего народ измыслит? А Тильда-Колокольчик няне в ответ: может, это оттого, что дядя души губами трогает? Как мы — булочки? или когда целуемся?.. Няня, помнится, чуть с табурета не упала. Где ты теперь, морщинистая старушка, ворчунья в рогатом чепце? Глядишь с облака на блудную Тильду? Не гляди, няня! не бойся за свою девочку... Помощь Душегуба честная, искренняя. Червонного золота. Дочь Гаммельнской Пророчицы это сердцем чувствует — иначе не

пошла бы сюда и мальчишку не пустила. Вон у Вита все болячки разбежались. Да и ей самой тут... как дома...

Матильда резко встряхнула головой, гоня непрощенные мысли. О доме, родителях, о былом, сгинувшем в чумном Гаммельне она запретила себе вспоминать. И без того приходят время от времени. Сами. В такие моменты Глазунья забывала, что отца с матерью больше нет: беседовала с ними, смеялась... Но до чего же больно потом возвращаться!

Усни, память!.. хочешь, сыграю тебе колыбельную?

Нет, ты не хочешь.

Ты никогда не хочешь спать, дитя-память, ласковая и безжалостная, как любой ребенок...

Отложив цитру, девушка решительно встала. Взяла зеркальце в черепаховой оправе, на длинной ручке. Всякий раз, глядя в блестящее озерцо, она краснела. Два дня не знала, как подойти к мастеру Филиппу. Робела, смущалась; перед сном бранилась втихомолку. Наконец решилась. Отозвала в сторонку, еле слышно шепнула: «Принеси!..» Душегуб и бровью не повел: кивнул. А к вечеру раздобыл где-то. Выждал, когда остались с глазу на глаз. Тогда и отдал. Молча, без шуточек, без дурацких подковырок. Будто и впрямь тронул душу губами улыбочивыми. Почуял: отдай он зеркальце при всех, сторгит девка от срама. Брызнет об пол дареной безделушкой. Жила-была, на себя не глядела, а тут...

Ага, вот и гребень.

Тоже Душегуб принес. Просто так, без просьбы.

Из зеркала на Матильду глядела пунцовая замарашка. Щеки свеклой натерты. Густо-густо. «Разве это прическа? — ворчливо шепнула нянька с облака. — Чистый сеновал!» Так, уже лучше... локоны по вискам, а кудряшки распушить... Долг платежом красен: схожу помогу мастеру Филиппу. Как?

Очень просто. Выйти к остальным, оказаться рядом с Витом, чтобы господин ван Асхе не разрывался пополам. Да и самой интересно: чем они там забавляются...

«Ой ли, девка? — Сегодня нянюшка оказалась еще неотвязней, чем при жизни. — Душегубу на подмогу собралась? Для гостей прихорашиваешься? А не для парня-прощелыги, на которого в квартале Булочников не хуже гончей по следу вышла?»

Вот еще! Дался он мне!..

Вспомнилась первая встреча с будущим Баца-рем. Тогда, ранним утром, Глазунья чуть не захлебнулась увиденным. Мир вдруг утратил яркость, делаясь старой картиной, реальность чешуйками краски осыпалась с холста, и нитками основы, бывшей или будущей, сверкнуло: седой герцог на коне. Едет по площади Трех Гульденов, мимо ратуши, во главе отряда. Из-под копыт искры. Беззвучно ликует толпа. Шапки в небо. А в грозном вояке, словно ядрышко в орехе — смешной мальчишка, селюк-простак. Глубоко спрятан, не сразу разглядишь. Только и видно: куда б ни ехал, откуда б ни бежал — к ней он едет-бежит. К Матильде Швебиш. Чтоб спасла от себя самого. Если уметь правильно видеть; если уметь правильно ждать...

Дальше краска снова на холст полезла. Обратно. Всякой дрянью: мытарь бок рукой зажимает, кого-то кнутом хлещут, монах у канавы... Недоглядела Глазунья до конца. Искать побежала. Знать бы, что искала? кого нашла?!

«Ох, девка! Нашла на свою голову!»

Матильда презрительно надула губы — и вдруг показала язык собственному отражению. Что нашла, все мое! Для кого хочу, для того и прихорашиваюсь!

Бегом из кельи на берег, а там — хохот до небес...

Костя смеялся.

— Хватит! Ох, богатырь, наломал ты дров! Айда ужинать...

Вит с сожалением поглядел на разбросанные кругом обломки стрел. Он только-только вошел во вкус новой игры. Хотя Костя прав: темнеет, и жрать до заезу хочется.

— Ужин вам? А хворост? а вода?! — крикнула издалека Матильда.. — Я на вас, что ли, одна пахать должна?!

Челядь Базильсонов мигом взялась за дело. Вит сунулся помогать, но старший из братцев увлек мальчишку прочь, строго выговаривая по дороге:

— Бу! Бу-бу-бу! Уб-бу...

— Негоже светлому княжичу вкупе с холопами черной работой мараться, — пояснил Новоторжанин в ответ на красноречивый взгляд. — Честь рода блюсти должно в чистоте.

— Так я... — заикнулся было Вит и прикусил язык. Он, значит, «светлый княжич»?! Прибьют ведь, когда правду узнают! Сердце сбилось, зачастило саженками. Эх, будь что будет! Душегуб не выдаст... Чтоб мейстер Филипп на кого-нибудь донес?! Да ни в жисть! И Вит за него тоже в огонь и в воду. Матильда вообще — могила. Если не найдет на девку, конечно. А святого отца никто не спросит. Он в книжки зарылся, его оттуда крюком не вытащишь. Врать, конечно, грех — так ведь Вит и не станет врать! Промолчит всего лишь. Про молчание в Заповедях ничего не сказано.

А «благородные забавы» — дело славное! Вроде «Лиходея-хватя!», только лучше. Камнями кидаться, наперегонки бегать, на скалы карабкаться, а особенно — в «Постреленка» играть! Сначала испуг взял: продырявят насквозь, и вся недолга! Будешь, как баран на вертеле. Но мейстер Филипп (всегда-

то он вовремя подоспеет: успокоит, разъяснит... хорошо, когда он рядом!) — так вот, мейстер Филипп ему стрелу показал. Наконечник-то тупой! Даже если промедлишь — не убьет. Ударит просто. Чтоб не зевал.

А Базильсоны свое: «Бу-у-у!» В смысле, хошь-не-хошь, а вертись, постреленок.

Язык чужой, да ясней ясного.

Стал Вит напротив дядьки с луком (имя еще у него чудное... Онцифир, вот!). Шагах в тридцати. Онцифир лук натянул... От первой стрелы мальчишка шарахнулся, как черт от ладана. Братья ржут жеребцами, лучник ухмыляется, Душегуб подмигивает. Ободряет, значит. Глядь — аж на пять шагов отскочить успел, пока стрела летела, и за камнем спрятаться! Тут Вит в самый раж вошел. Прыгал кузнечиком, ужом вертелся, плашмя на землю ящеркой падал. А разок отмахнулся наугад... Стрела хрясь — напололам! Стоит мальчишка: зенки вытарашил. Своей прыти дивится — как исхитрился-то?..

Ну и проморгал следующий подарочек!

Это верно: нечего ртом ворон ловить.

После того раза Онцифир из штанов выпрыгивал, а все мимо. Взопрел дядька, тетивы две штуки порвал. Лук, видать, кривой достался: стрелы не летят, а ползут улитками. Мейстер Филипп Виту в ладоши хлопал. И Матильда хлопала. Прямо как знатная дама рыцарю на турнире. Горстяник, бывало, рассказывал: дамы, они завсегда с табуреток хлопают. И платье в клочья рвут: дарить на память. При мысли о Матильде (...платье!.. в клочья!..) вдруг сделалось жарко. Сердце всполошилось: тук-тук-тук... Неужто она ему нравится? Нет, нравится, конечно: добрая, умная, и на все руки, а в последние дни — так совсем... Ох, селюк! врешь! Подмастерье Томас Бычок вечерами учил: как взрослым парням взрослые девки нравятся!

Стыдоба! Вот еще!..

Вит почувствовал, что неудержимо краснеет. Особенно уши.

Вспомнилось: вечер, звезды, Казимир вдовую Жаклину в стог тащит. А они втроем: Вит, Пузатый Крист и дурачок Лобаш — следом крадутся. Подглядывают. Эти двое в стог повалились, Казимир вдовушке подол задираТЬ принялся — а та не противится, блудня... Дальше в сено целиком зарылись, ничего не видно стало. Зато слышно: Казимир пыхтит, Жаклина стонет, словно он ей брюхо кулачищем давит...

И чтобы он, Вит, так с Матильдой?! Уши раскалились докрасна — хоть очаг ими разжигай! Да и вообще: она ж дурнушка... Дурнушка?! Разом сделалось стыдно, еще пуще, чем когда о срамном думал. Хотя пуще, казалось, некуда. Будто вслух Матильду обидел. Ну, не Хрустальная Принцесса... зато...

Да что ж за мысли подлые в голову лезут! Отродясь такого не бывало!

Это, наверное, от стрел.

LIII

После ужина гадать затеяли. Верней, затеял мейстер Филипп, а гадать, ясное дело, Матильде. Гости дивятся: она человека за руку берет, на ладонь не смотрит, глаза закрывает — и давай судьбу предсказывать. Разве ж так гадают?

— А у вас как?

Вот ведь штука! Гости-то про себя дивились, вслух сказать постеснялись. А девка спрашивает, будто мысли слышала. Никак и вправду ведьма! Без клюки, без ноги костяной...

Отвечают через Костю-толмача:

— По-всякому у нас. Воск в воду льют. Сапожок через плетень; венки девичьи по речке. Колечко, опять же, на воду кидают. Орехи по столу рассыпают. По зеркалу еще можно.

— Давайте по-вашему, — соглашается девка.

И вот уже: Новоторжанин толмачить бросил, воск на печке растапливает. Дядька Онцифир чашу с водой тащит, другой челядинец свечи зажигает. Напротив Матильды — Вит. Глаза запали, налились чернотой; пляшут в омутах бесенята-огоньки. Невтерпеж мальчишке на гаданье заморское глянуть. Мейстер Филипп — тот позади держится, котом вокруг миски со сметаной шастает. Вроде как нет его здесь. Только мнится Глазунье: стоит Душегуб между ними с Витом, обоих за руки держит. А она через ту хватку Витову ладонь чувствует. Крепкая у мальчишки рука, не по возрасту. Надежная. На такой хоть над пропастью висеть — ничего на свете не страшно. Нет у Матильды тела, одна душа осталась. Сладко душе над бездной качаться. Легонькая она, душа. Вишневый цвет майский.

Молчит девица. Щеки — розанами. Всю жизнь спала, а теперь просыпаться начала. Жить, оказывается, есть зачем.

— На кого гадать будем, красавица?

— На него, — Матильда прищурилась, и Вит отпрянул.

Телом отпрянул. А сердцем — чуть вперед не упал.

Это оказалось даже легче, чем читать Книгу Судьбы с листа. Воск, остывая, стягивал нити поиска. Для умелой вещуньи без разницы: рассыпанные бобы, зеркало, переливы воска в воде. Жаль, поздно уразумела. Сейчас, когда сила через край хлещет, можно по-всякому, а раньше... Раньше не думалось, что удастся по-другому. Не карабкаться на кручу, а спокойноенько двинуться в обход.

Воск судьбы хлынул в чашу чужой жизни.

Застыл с шипением.

...пылит дорога под копытами коней. Отряд въезжает в город. Хенинг? Герцог возвращается из похода во главе изрядно поредевшего воинства. Едва ли поло-

вина рыцарей уцелела. Но — победа! Границы остались нерушимы, а маркграфу Майнцскому пришлось выплатить изрядную контрибуцию и подписать мирный договор на едва ли не вассальных условиях. Торжествующее солнце встречает государя. Радостно сияет начищенное до блеска зеркало доспеха. Зайчики опасно скользят по рукояти фамильного меча, по тяжкому яблоку наверху. Дедовский клинок не подвел и на этот раз. Сейчас — на площадь. Дать толпе захлебнуться волной ликования. Сегодня у людей праздник. Пусть все будет, как заведено. А потом — в замок? к законной супруге?! Нет. Сперва к ней. К той, что ждет в доме на окраине, к той, которая однажды и навсегда властно вошла в его жизнь. Похитив сердце, забрав душу. Он не жалеет о случившемся. Никогда не жалел.

Никогда не пожалеет.

Витольд Бастард, XX герцог Хенингский, позволил себе улыбнуться краешком рта.

«...князь?! Оружный князь?!»

Злое изумленье стило в немоте вопроса Ондрия Васильича, посадничьего сына. Но, поскольку младший из братьев молчал, Матильда поняла его. Так бывает. Так бывает, если ты — дочь Гаммельнской Пророчицы и Пестрого Флейтиста. Если они видят то же, что и ты.

«Ведьма! Не иначе, в сны мои пролезла...»

Остальные прятали глаза.

LIV

— Здрав будь, чернец! Моли Господа за мя, грешного...

— И тебе всяк чих во здравие, Якун Васильич! — машинально отозвался фратер Августин, даже не понимая, что говорит по-русински. Лицо монаха

перебрало с десятков улыбок, пока не остановилось на лучшей. Музыка тайной речи пела в душе, с каждым общаясь на его языке. Даже птицы, садясь (...*тихий, печальный снег: саван? фата?..*) на плечи цистерцианца, щебетали в лад.

— Помяну в молениях раба Божьего Якуна, да простятся прегрешенья его...

Якун долго смотрел вслед блаженному. Сам идет, сам речи ведет. Думалось: не услышит... ан нет, все примечает, божий человек. А фратер Августин уже был далеко. Даль эта не в саженьях мерилась, не в локтях. И для перевода «Наставленья жизни человеческой» с латыни на кастильский монаху больше не требовалось корпеть за столом в библиотеке.

Латынь? кастильский?! — чепуха!

Личины, в коих смысла не больше, чем в любой маске.

Перевод неминуемо близился к завершению; перевод кипел в душе, звуча единой, общей, перво-зданной речью, существовавшей до гибельного смешенья языков. Наполнял сердце ликованием. И рядом, ликуя вместе с цистерцианцем, по богадельне шли люди. Множество людей, находившихся здесь с самого начала, но видимых не для всех. Их нельзя было разделить на живых и мертвых, реальных и мнимых, вчерашних и сегодняшних, как нельзя разделить тело на части, оставив его при этом в живых. Как нельзя раздробить цельность праязыка на тысячи осколков, если ты не Господь.

Это напоминало первое знакомство с мудрой и увлекательной книгой. Герои еще не стали друзьями, ожили не до конца, ты путаешься в именах и прозвищах, тонешь в девятом вале слов и фраз — взлетаешь на поверхность! глоток воздуха! и снова в пучины!...

Восторг постижения.

Однажды, еще до пострига, фармацевт и отравитель Мануэль де ла Ита сказал мастеру Филиппу:

— Знаешь, я иногда думаю: чем вы похожи? Разные, но все равно: сразу видно...

— Сразу видно: Душегуб, — ответил мастер Филипп. Спокойно и без обиды.

Теперь брат Августин знал: чем они похожи, Душегубы. Общим языком, мерцавшим в душах членов Гильдии. И крысы с собаками, вставшие на защиту людей в переулке Тертых Калачей, больше не казались чудом. Если знать, как произнести, сказать... насвистать... просто улыбнуться, верно и вовремя... Господи, прими (...*грязь невпопад чавкнула под колесом*...) хвалу! Ибо привел меня сюда путями Своими, сберег, дал припасть к изначальному роднику! Осанна...

Монах опомнился. Такие минуты, когда в душе переставал звучать хор, наступали все реже. Он стоял в базилике, перед нишей со статуей ребенка. Девочка, как любила говорить Матильда. Сам цистерцианец был не в состоянии различить: девочка или мальчик. Да и не пытался. Просто стоял перед нишей, глядел сверху вниз на молочно-белую, хрупкую фигурку — и видел Башню.

Вавилонский Столп.

Сооружение из человеков, знающих свое место. Громаду от тверди до звезд, где скрепляющим раствором служил единый праязык.

...но нет! не только!

Сейчас брат Августин впервые ясно и пронзительно увидел то, чего не замечал прежде. Вокруг Вавилонского Столпа, пролитым молоком светясь в ночи, сидели недвижные дети. Мальчики. Девочки. Еще не отмеченные ясно видимым клеймом греха и потому бесполое, будто ангелы. Очень похожие на создание, дремлющее в тишине базилики. И от каждого ребенка к ярусам Столпа тянулись нити, рас-

тяжки, скрепы, не позволяющие исполину рухнуть. Наверное, было бы легче, отразись на лицах младенцев боль, мука, страдание. Тогда любой свидетель оправдал бы паденье Башни, лишь бы освободились эти невинные узники, крохотные атланты. Тогда монах первым кинулся бы спасать и рушить.

Великий покой.

Великое счастье.

Великая безмятежность.

Башня росла к звездам, а дети, оставаясь на земле, *уже* сидели на облаках из звездного света.

Некого спасать. Незачем.

Фратер Августин присел на корточки. Заглянул в лицо девочке-статue. До крови закусил губу. Воля цистерцианца — стальной обруч. Задавить страшное сравнение до конца не удалось — ибо статуя действительно напоминала сейчас покойную дочь фармацевта Мануэля, погибшую от дыма ядовитых дров, от изобретения собственного отца. Но умерить боль, что взяла сердце в осаду, удалось. Умерить, вернуть в обыденное русло; принудить к повинению. Казниться виной, которую Господь, может, и простит, да сам себе не простишь никогда? К чему, если вина и так навеки с тобой: ежедневная казнь.

— Кто ты? — тихо спросил монах.

«Моя дочь... младшая...»

У алтаря ждал один из тайных обитателей богдельни. Фратер Августин еще раньше обратил внимание: этот человек, в отличие от остальных, никогда не приближался для разговора. Впрочем, и остальные, похоже, либо не видели его, либо притворялись слепыми. Был человек смугл, с орлиным профилем; на крупном, волевом подбородке залегла ямочка. Оденься он в рясу, многие сочли бы его родным братом цистерцианца. Но одевался мол-

чаливый спутник по обычаю древних персов: широкие у бедер штаны, куртка с прорезями, башлык.

Полы башлыка распахнулись, не скрывая черт лица.

Зато руки прятались: углубясь под куртку, они безостановочно гладили священное вервие с тремя узлами. «Добрая Мысль», «Доброе Слово» и «Доброе Дело». Узел за узлом — и снова...

«Грехи искупает?!» — подумалось фратеру Августину, оживляя боль.

«Это моя дочь, — молчал человек. — Я врач Бурзой, и это моя дочь... младшая...»

Монах кивнул, чувствуя, что перевод близится к завершению. Ибо чужое знание кипело в душе, делаясь своим, подымаясь ввысь, к рассудку, способному понимать и сопоставлять.

А рассудок грозил сорваться вниз.

В пропасть безумия.

LV

...Темна история эта, обильна именами и названиями, чьи корни поглотил змей времени, но сказано в книге, о коей пойдет речь: «Среди прочих целей четвертая цель — самая далекая, и относится только к философу!»

Итак?!

На далеком Западе истек на треть VI век от Первого Ответа, когда на трон Ирана взошел шах Ануширван Хосрой, прозванный Справедливым. Царствование его длилось сорок восемь лет. Шах был просвещен. Шах был озабочен делами государства. Святые огни горели в храмах без дыма и чада. Но для полного счастья Ануширвану Хосрою не хватало малого: древней книжицы, хранившейся под замком в казнохранилище индийских царей. Книжицы, написанной, по слухам, на языке животных,

птиц и насекомых, способной просветить владык и вразумить советников. Книжицы, называемой подобно авраамитской Торе: «Пятикнижие» — а сведущие непременно добавляли: «Наука разумного поведения».

Сказано было:

— Она — корень всякого знания и вершина всех наук, путеводитель ко всему полезному, ключ к поискам жизни будущей и средство спасения от ее ужасов; она удовлетворяет все нужды царей при управлении царством своим, и все потребности существования их...

И тогда шах призвал к себе врача Бурзоя.

Лучший выбор трудно было сделать. Сын военачальника и женщины из древнего рода магов-огнепоклонников, Бурзой слыл мастером на всякие штуки. Явившись в город Махилоропья, где за семью замками хранилось сокровище, он тратил деньги направо и налево, расточая лесть и мудрость, пока не свел знакомство с корыстолюбивым индусом, имевшим допуск в казнохранилище. Похитить книгу индус не рискнул, но тайком переписал исходный текст и продал копию Бурзою. Щедро одарив изменника, лекарь-лазутчик покинул Индию. Еще в дороге, знаток языков, он взялся за перевод «Пятикнижия» на чеканный язык пехлеви — и вскоре по возвращении обрадовал Ануширвана Справедливого добычей.

Бурзоя осыпали золотом с головы до пят.

Восхвалили до небес.

Разрешили включить в текст «Пятикнижия» главу о его доблестном деянии.

Но другое смущало ловкого врача. Трудясь над переводом, он никак не мог взять в толк: что такого

ценного в «Пятикнижии», хранимом от глаз людских под замком? Ибо был это сборник басен о львах и шакалах, соколах и кузнечиках, лягушках и быках, с выводами нехитрыми, доступными любому глупцу. Да и писалась книга отнюдь не на «языке животных, птиц и насекомых», а на санскрите, хорошо известном мудрому Бурзою. Возможно, закончив перевод и будучи одарен сверх меры, врач скоро забыл бы о своих сомнениях, взявшись за другую работу, если бы однажды не решил заново сравнить оригинал с переводом.

Он пришел в восторг, смешанный с ужасом.

Тексты оказались существенно разными, словно переводчик держал в руках иную книгу, лишь похожую на «Пятикнижие». Да и количество глав выросло. Образованный человек, Бурзой сразу узнал лишнее: три дополнительные главы оказались из знаменитой «Махабхараты», из XII ее книги «Мокшадхармы», что значит «Основа Освобождения», а еще четыре главы — вовсе не известно откуда. Словно во время перевода, незаметно для врача, в книге открылась потайная дверца, дав хлынуть ручью сокрытого меж строк знания.

Жена врача проболталась: этой ночью муж ее плохо спал.

Кричал во сне на языке, лишь похожем на человеческий.

Утром Бурзой встал бодрый и необыкновенно радостный. Вскоре он уехал в Сирию, в Мардинский монастырь, к своему другу — пресвитеру Буду, также знатоку языков. Доставив последнему славный подарок: копию оригинала и свой перевод на пехлеви. К 570 году от Первого Ответа пресвитер Буд закончил собственный перевод «Пятикнижия» на сирийский. Сравнение показало: текст опять получилась иной, во многом сходный с оригиналом, но во многом отличный от него и от пехлевийского ва-

рианта. Разное количество глав, разные притчи, выводы зачастую тоже разные. Ночью монастырь объял переполох: Буд кричал во сне, будто его душил дьявол. Но с утра к нему вернулись ясность рассудка и доброе расположение духа.

Кто были остальные переводчики, заложившие основу будущей Гильдии, — осталось неизвестным. Но шах Ануширван, привечая этих людей, счастливо правил едва ли не полстолетия, что само по себе говорит о многом.

В VIII веке от Первого Ответа, он же I век Лунного Бегства, меж людьми прогремело имя Абдаллаха, потомственного сборщика податей из области Вех-Кавад на берегах Тигра. Впрочем, имя Абдаллах, что значит Раб Аллаха, сей ученый муж принял в зрелости, вместе с исламом, на словах отказавшись от язычества отцов своих, а на деле оставшись верным огнепоклонником. Более известен в миру он стал под прозвищем Ибн ал-Мукаффа, то есть Сын Калеки: родителю Абдаллаха сломали руку в пыточной, поймав на ошибках в податном отчете. Перевод «Пятикнижия» с пехлеви на арабский, выполненный Сыном Калеки, явился истинной жемчужиной — правда, совсем уж отличной от оригинала. На этот раз изменилось даже название: книга стала именоваться «Калила и Димна», по именам двух шакалов, ведущих в тексте просвещенную беседу.

Санскритские Каратака и Даманака с поправкой на разницу в произношениях стали арабскими Калилой и Димной. Добавился раздел о сомнительности любой религии. Вновь изменилось количество глав. И пожалуй, самым важным было краткое замечание Сына Калеки: «Тот, кто читает эту книгу, не понимая ее цели явной и тайной, не воспользуется тем, что ему выпадает на его собственную долю. Так человек, если ему предложат здоровый орех, не воспользуется им, пока не разобьет его и не

употребит то, что *внутри*». И мудрецы скорбели, когда, обвиненный халифом в ереси, Сын Калеки подвергся мучительной казни: его отрубленные руки и ноги были сожжены у него на глазах, а затем огню предали изуродованное тело несчастного.

А книга осталась.

И Гильдия — осталась.

Хотя и двинулась с Востока, ставшего негостеприимным, на Запад.

В X веке автор каталога «Алфихрист» упоминает о «Калиле и Димне», говоря: «Книга состоит из семнадцати глав, а говорят, их восемнадцать, и я видел одну рукопись, где были две лишние главы». Непостоянство количества глав, кстати, отмечали все исследователи, от Абу-л-Фараджа до Бируни. В 1080 году византийский литератор Симеон Сиф переведет арабский вариант на греческий, будучи крайне свободен в переложении. Текст опять сильно изменится, в придачу обретя название «Венценосец и Следопыт». Эту странность попробуют объяснить тем, что византиец ошибочно понял некоторые арабские слова, — многие согласятся с таким объяснением, кроме Гильдии и ее нового члена, Симеона Сифа, тоже кричавшего во сне на языке, отличном от языков человеческих.

В 1144 году возникнет новый персидский перевод Низамаддина Абул-Меали — тяжеловесный, уснащенный риторическими красотами, позже он послужит основой для ряда других переложений.

В самом начале XII века рабби Йозель переведет текст с арабского на древнеавраамитский.

Труд рабби Йозеля в XIII веке будет переведен на латынь Иоанном Капуанским под названием «Directorium vitae humanae», что значит «Наставление жизни человеческой». Одновременно с этим Родриго Тельес заставит книгу заговорить на «кастильском», а латинский текст Капуанца станет достоянием

языков Западной Европы: франкские, германские, итальянские ученые возьмутся за дело.

Но и прочие дороги станут торными. Еще в XII веке «Венценосец и следопыт» Симеона Сифа переведется на сербский, а там и на славянские языки. В холодной Московии книга явится как «Сказание о двенадцати снах царя Шахияши» — ее авторство припишут св. Иоанну Лествичнику, полагая наставлением в благочестии, а сам текст будет изобилловать самыми страшными картинами Судного Дня.

Басни? Шакалы? птички-кузнечики?!

Нет.

День Гнева.

В ливанском монастыре Дайр аш-Шир отыщется рукопись, датированная 1339 годом, также весьма отличная от прочих.

А Гильдия будет тихо трудиться, повторяя цитату из украденного некогда оригинала:

— Кто ревностным трудом постиг науку жизни,
Того и царь богов не в силах погубить...

LVI

Щербатая ухмылка секиры нагло скалится в лицо. Щербатой секира стала за минувшую неделю, от промахов и ударов о равнодушие камней. Вот и сейчас...

...а-а-ааахххх...

Взмах.

Тягучий. Долгий.

Уклоняться можно не торопясь. Краем глаза отслеживая остальных, подбирающихся со спины: кистень, меч, шестопер. Залихватский свист и молодецкое «гых!» пропадают втуне: лезвие с размаху врубается в дерево. Здесь мигом раньше стоял Вит.

...вз-з-зсссс...

Вязнет.

Острое в сыром.

Охнув, секирщик катится вниз по склону. Меч дядьки Онцифира скользит впритирку, чтобы улететь прочь. Сам Онцифир кланяется в пояс, сгибаясь от тычка под ложечку.

Теперь — кистень и шестопер.

Виту казалось, что он наблюдает за потехой откуда-то со стороны и чуть сверху. Лениво, с улыбкой — так взрослый смотрит на возню детей. Лишь изредка требовалось вмешаться, одернуть увлекшееся тело. Обычно тело само знало, что ему делать. Верней, не тело, а угнездившаяся внутри букашка-подружка: во, гляди! гляди! наружу лезет! Это он, Вит, драться не любил. Не умел. А букашка умная. Все знает, все умеет. Надо было ее просто разбудить.

Разбудили.

Душегуб с братцами Базильсонами.

Теперь букашка за Вита старается. Только иногда придержать надо: дай ей волю, поубивает народ! Невдомек букашке: что значит вполсилы? как это — понарошку?! Вокруг люди с гнусным железом. Порубить лапки-усики хотят. Зачем их жалеть? Это Виту ясно: драка — потеха. Люди с оружием — хорошие люди. Учат по-благородному тешиться. А букашка свое: прыг-прыг. Для того и следит Вит со стороны и чуть сверху. Чтоб успеть вовремя. Оттащить. Не дать потеху в смертоубийство обратить.

А мытаря букашка убила. Сейчас Вит уже все-все понял. Он раньше маленький был, опоздал с букашкой-проказницей. Теперь вырос. Теперь большой. Шиш тебе, букашка! шалишь! Я тебя на цепь посажу да приглядывать стану. Хватит с меня одного мытаря. Это раньше тело кузнечиком выкаблучивалось, а Вит лишь моргал: что?! где?! Отсюда, со стороны и чуточку сверху, хорошо видно: что и где.

Ладно, конец потехе. Лезь, букашка, в темную коробочку.

Спи.

Базильсоновы челядинцы, кряхтя, подымались на ноги. Отряхивались. Собирали оружие. Кажется, кузнечик слегка накуролесил: Вит сегодня впервые сам-на-пять вышел. Но гости оказались ушлыми. Кольчуги и стеганные поддевки на вате удар держали. Весельчак Костя сказывал: дядька Онцифир у братцев Базильсонов пестуном был.

Не впервой дядьке.

Вит с гордостью оглядел плоды ратных подвигов. Подбоченился. И вдруг встретился взглядом с Матильдой. Девушка в последние дни часто выбиралась из богадельни: следила за мужскими забавами, тихонько бренчала на цитре. Рисовала углем — по мнению Вита, все лучше и лучше. Иногда просто сидела, глядя в небо. В такие моменты она своей отрешенностью напоминала фратера Августина. Монах тоже, если не горбился над книжками, так бродил по коридорам, болтая вслух с невидимками. Как Матильда раньше. Небось ангелов видит. Со всем святой стал.

Сейчас в глазах девушки явственно читалась тревога. «За меня испугалась, — возгордился Вит. — Боялась, что посекут. А шиш они меня посекут!»

— Видала?! Эх я их!

— Видала... Бацарь! — Матильда мимо воли улыбнулась наивной мальчишечьей похвальбе. Но улыбка вышла растерянной, жалкой. — Глянь, что я тут... думала вас нарисовать...

Вит мигом оказался рядом. Глянул на Матильдин рисунок. Вздрогнул. Облик существа был смазан, расплывчат, словно глаз художницы не успевал отслеживать его движения. Однако из стремительного вихря ясно проступали угловатые руки-ноги, разбрасывая сонную, медлительную челядь. Руки? ноги? Скорее — лапы «травяного монашка». Шипы, зазубрины, колючки...

Но более всего поразила Вита бесстрастная, нечеловеческая морда, взглянувшая на него с рисунка.

Букашка!

Подружка!

Сбитых с ног людей Вит рассматривать не стал. Лишь отметил: сбоку за побоищем с интересом наблюдают два косматых медведя. Очень похожие на братьев Базильсонов.

— Здорово! Я себя тоже так вижу, когда дерусь.

— Но ты же другой, Вит! Ты человек! А получилось...

— Полно, душенька! — Руки Филиппа ван Асхе легли обоим на плечи. Сразу стало спокойнее; девушка, взведенная натянутой тетивой, расслабилась. — Вот он, Витольд. Перед тобой. А в бою он меняется... ненадолго. Ты ведь тоже меняешься, когда пророчишь. Это у вас в крови: у тебя, у Витольда. Ничего тут страшного нет.

На миг Вит ощутил себя одним целым с этими двоими — Матильдой и Душегубом. Будто трехглавый дракон из сказки. Чувство было волнующим и приятным. Нахлынув, оно исчезло, оставив воспоминание: манящее, сладкое.

Очень хотелось испытать это снова.

— ...герой! витязь! А теперь Якун Васильич зовет тебя в круг, — донесся сбоку голос веселого Кости. — Сам-на-сам тешиться. Не сробеешь, княжич?

— Я? Да я!.. — взвился мальчишка. И только потом испугался. На Якунища Лохматого выйти?

Поздно.

Слово сказано.

LVII

Они стояли друг против друга: босиком, голые по пояс.

Якун Васильич, сын посадничий, и Витка из Запруд, мытарев убивец.

Медведь и «травяной монашек», вымахавший до размеров сухощавого паренька. Но все равно: камешек против горы. Верно Матильда нарисовала! Насквозь видит, вещунья. Сейчас Якун выглядел отнюдь не добродушным увальнем, каким обычно казался. Развел лапищи, пригнулся. Весь ядреной силищей взбугрился; глазки буравчиками. Как бы половчее комара-надоеду сцапать? Схватит — раздавит. Не зевай, букашка: на ладонь посадят, другой прихлопнут! Мокрого места не останется...

Влево.

Вправо.

Шиш тебе, комарик. С маком. Не обмануть мишку. Замер мохнатой глыбой. Глазки-буравчики в самую душу въелись. Зоркие, острые. В лоб на такого кидаться — смерть. Обойти бы хитро...

Опоздал Вит с хитростями. Одно успел: прочь метнуться, когда медведь заревел. Упал на мальчишку рев, оглушил. Упала вдогонку из рева лапа: тяжкая, быстрая. Упал Вит от рева с лапой. Небо, земля, камни, деревья — кувырком, больно ударяя отовсюду. Якун Васильич случайной плюхой едва душу не вышиб.

Или таки вышиб?!

Глядит вышибленный Вит со стороны и чуть сверху: букашка наружу высовывается. Жужжит во злобе. Откатилась, на задние лапки встала. Медведище — грязно-белый, косматый, страшный — на нее! Вот-вот задавит. Вит бы точно со страху штаны обмочил. Перед смертью не стыдно. Только внизу уже не Вит — букашка с медведем бьется. А букашка о страхе не знает, не ведает. Это людям страшно бывает, а букашкам — нет. Нырнула под лапы загребущие: вот оно, брюхо косматое! И заходили лапки «травяного монашка» туда-сюда, туда-сюда, глазом не уследишь.

Был бы кто другой на месте Якуна — пал бы за-
мертво. Жестко букашка била.

Жестоко.

Насмерть.

Опоздал Вит придержать дуру. Замешкался с
перепугу.

А медведю хоть бы хны: взревел и всей тушей на
врага навалился — к земле прижать, раздавить! Вы-
вернулась букашка, отскочила. Юлит вокруг косо-
лапого: поди-поспей! Прыг-прыг, удар-укус! — и
назад, пока не сграбастали. Осерчал Якун-медведи-
ще, ох осерчал! Досталось ему от букашки на орехи.
Рычит мишка, рывкает, достать норовит. Зацепил-
таки лапой. Букашка — кубарем. Едва вскочить ус-
пела — во второй раз чуть не заломал ее косолапый.
Куда там челяди с оружием позорным: Якун Васи-
льич десятка таких стоит, а то и двух!

Только и Вит с букашкой не пальцем деланы.
Снова танец завели: прыг-прыг, укушу-отскочу. И по
кругу — тяжело мишке вертеться. Кто раньше выдох-
нется: медведь или букашка? Оба двужильные, оба
усталости не чувят. Хотя нет. Вроде утомился мед-
ведь. Букашка скачет-жалит, а он лишь ревет —
даже лапами махать бросил. Без толку. Увертливый
комаришко, вытечет звоном...

Сдох косолапый! скис!

Вот на этом букашки и горят ясным пламенем.

На желанье куснуть напоследок.

Ожилдохлый медведь. Сгреб лапищами, стис-
нул — ага! Брыкается букашка. Наизнанку вывора-
чивается, а толку — чуть. Уж и ребра трещать нача-
ли. Все, конец «травяному монашку». Раздавит ко-
солапый, бросит на траву комком бесформенным,
кровавым. А Вит навсегда здесь, на стороне и чуточ-
ку сверху, останется. Потому как возвращаться —
некуда...

Фыркнул мишка. Моргнул на букашку. Ухмыль-



нулся-оскалился. Поплыла морда звериная, личной потешной съехала. Исчезла. А из-под личности — лицо. Якун Васильич наружу идет. Хмурится на Вита шутейно, смеется по-человечьи. Хватку свою медвежью ослабляет помаленьку.

Отпустил.

С травы подымает.

Вит кряхтит-охает, а сам не замечает: хохочет в ответ. Да, помяли! да, изрядно! Но кости целы, а мясо нарастет. Подумаешь — синяки-ссадины! Зато и Якуну тоже досталось. Вон ручища левая плетью болтается. И плечи — горбами. Хотя дураку ясно: захоти человек-медведь — быть Виту мясной начинкой для кулебяки.

— Бу-у-у! У-у-ббу! бубуб!..

Всякому «бубуб» свое время. Вырастет парнишка, в силу войдет, тогда заново потолкуем. Пойдут от мишки клочки по закоулочкам. Правда, Костя?

Ухмыляется новгородец:

— Якун Васильич хвалит: молодец! Славно бился.

Вит совсем задрал нос от гордости. А зря. Потому что Костя не преминул добавить:

— А еще Якун Васильич говорит: рано тебе с ним тешиться. Ты сперва его меньшого брата одолей!

LVIII

Вечер юлил вокруг. Разминал затекшие плечи ладонями ветра. Ронял звезды, тихим мерцанием утешая взгляд. Глаза уставали от постоянной необходимости излучать веселье и уверенность. Скоро — Обряд. Завтра. Или послезавтра. Как славно было бы потом вернуться в Хенинг, домой, залечь на месяц, ничего не делая, ни о чем не думая... Пустые мечты. Придется наблюдать. Делать выводы. Вести

записи. Подмечать малейшие изменения и отклонения. И надолго забыть о вожделенном отдыхе, ибо цель оправдывает средства.

Вечный адвокат — цель.

Следя, как катится очередная звезда, мейстер Филипп (...*стук топора: горько пахнет смолой...*) загадал желание. Пусть все пройдет хорошо. Пусть сбудутся надежды хенингского Душегуба. Да, не суверен. Да, не верит в силу падающих звезд. Да, не верит в гораздо большее, нежели исполнение желаний в час звездопада. Но как хочется, как иногда хочется верить — до тошноты, до колокольного благовеста в затылке!

Верить, надеяться... не в себя, не на себя.

Не только: в себя и на себя.

— О чем думаешь, Филипп?

— О разном. В том числе и о тебе. Помнишь, святой отец: здесь мы стояли в самый первый день?

— Помню.

Фратер Августин подошел беззвучно. Встал за спиной, за левым плечом, где уж никак не полагалось стоять монаху. Обернуться? надеть подходящую улыбку? Где взять силы? Мейстер Филипп говорил правду: пять минут назад он и впрямь думал о цистерцианце. С бывшим фармацевтом все складывалось иначе, чем с остальными. Поначалу Душегуб был уверен: монах рано или поздно закончит перевод, ни о чем не догадываясь, и знание придет к нему без помех, холодно и ясно, как к любому новому гильдейцу. Меньше всего ожидалось, что знание явится к монаху даже не на середине — в первой трети пути. Явится неполным, ущербным, обрывочным, но ярким и болезненным.

Выдержит?

Дойдет до конца?!

— Не надо беспокоиться за меня, Филипп. Я в состоянии сам о себе побеспокоиться.

Душегуб все же обернулся. Забыв про улыбки. Когда-то он сразу поверил, что раскаявшийся отравитель действительно выдержал муки за грехи семьи. Но если сомнения и затаились — сейчас они развеялись по ветру. Прахом, хлопьями пепла. От полубезумного монаха, бродящего по закоулкам богадельни и толкующего с призраками, не осталось и следа. Строгий и спокойный, фратер Августин смотрел в далекое небо. Гладко выбритые щеки. Складки у рта. Умный, слегка усталый взгляд: как у самого мастера Филиппа.

Сумел остановиться на краю? Удержал бешеную упряжку?

— У тебя все происходило так же, Филипп?

— Поначалу — да. Гильдия внимательно следит за людьми вроде нас с тобой. Бунтарями. Реформаторами. Желаящими изменить мир. Способными вырваться за пределы общепринятого. Совет Гильдии лишь в одном случае имеет решающее слово: приобщать новичка или нет. И тут влияние Гильдии используется целиком. Меня вынули из застенков инквизиции. Костю Новоторжанина спасли ценой жизни новгородского Душегуба. Запри тебя аббат в подземельях обители — мы бы вывели узника на свет. Из тюрем, казематов, темниц... В этом наши с тобой первые шаги похожи. Но после...

Люлька месяца качалась на волнах, уносясь вдаль по золотой тропе.

— Ах, Мануэль... Можно, наедине я стану звать тебя прошлым, мирским именем? Когда я попал сюда, то остался в одиночестве. Мой учитель появлялся, снабжал едой и вновь исчезал. А я переводил текст рабби Йозеля на эллинский. И читал Платона. Я очень люблю Платона, друг мой... Думается, он был одним из нас в те времена, когда Гильдии не существовало. Знаешь, Мануэль...

— Знаю. Шестой век. Врач Бурзой, умница-лазутчик. Он был первым.

— Вот видишь. Бурзой по прозвищу Змеиный Царь... Ты уже знаешь это. А я узнал, лишь закончив перевод. Встал из-за стола, потянулся... зевнул и пошел спать. Я узнал ночью. Во сне. Но все и сразу.

— Да, Филипп. Ты — все и сразу. А я — обрывками. Но изо дня в день. Мне до сих пор темен смысл Обряда. Ваша конечная цель. Я не знаю, почему этот Бурзой, или его неприкаянная душа, зовет статую в базилике — дочерью. Я...

— Зовет? Дочерью?! Ты говорил с Бурзоем?!

Священный ужас отразился на лице Душегуба. Лицо мейстера Филиппа меньше всего предназначалось для ужаса, тем паче священного; лицу пришлось тяжело, но оно (*...тяжелые капли дробят отражение в глади озера...*) выдержало.

— Я говорил с Бурзоем, Филипп. Верней, это он говорил со мной. Ты удивлен? почему?!

— С тобой все иначе, Мануэль. Мы, гильдейцы, умирая телесно, остаемся здесь, в богадельне. Не душой, нет. Не сердцем. И уж тем паче не плотски. Чистым знанием. Уходят чувства, радость, боль, все то, что составляет личность... Остается голая, будто доступная девка, — память. Я, отдыхая здесь, способен получить любое знание, некогда известное Иннокентию II или Силе-новгородцу. Повторяю: чистое знание. Тянусь и беру.словно книгу со стеллажа. Могу открыть с любой страницы, могу закрыть, не дочитав. Тебе же они являются не знанием, но людьми. С радостью, болью, смехом и стоном. Я думал: это невозможно. А ты мне отвечаешь: Бурзой Первый, Змеиный Царь. Говорил с тобой.

— А с тобой? Пусть — чистым знанием? Страницами книги-невидимки?!

— Никогда. Нет члена Гильдии, кто мог бы до-

тянуться до Бурзоя. Змеиный Царь покончил с собой вечером того дня, когда в базилике объявилась статуя ребенка. Принял яд, оставшись за гранью доступности. Мануэль... ты никогда не задумывался, что вы со Змеиным Царем похожи?

— Я и Бурзой? Монах-цистерцианец и давно умерший врач, последователь Зороастра?!

— А если иначе? Фармациус и врач. Лазутчик и отравитель. Доверенные лица владык. Тайные преступники. Люди, единым махом изменившие свою жизнь. Ты ушел из мира, Бурзой тоже ушел... в мир иной. Оба — добровольно. У обоих были дочери, которых вы косвенно погубили...

— Замолчи!

От моря тянуло легкой прохладой. А казалось: холодом льдов. Дыханием зимы.

— Я рад, что так вышло, Мануэль. Сейчас я делаю небывалое. Этот Обряд перевернет представления Гильдии. Позволит сократить путь. Ты все-таки заверши перевод «Наставленья жизни человеческой». Пожалуйста. Тогда тебе откроется все, целиком. И если ты сумеешь пробиться в самое начало, к Бурзою... Любой риск окажется оправданным. Мы мало что знаем о Змеином Царе. Я обещаю тебе, друг мой Мануэль...

— Не надо обещаний, Филипп. Я пройду уготованную мне дорогу до конца. Но не уверен, что мы с тобой говорим про одну и ту же дорогу. И вдвойне не уверен, что хочу осуществления твоих обещаний. Еще живя в миру, я часто наезжал в Гранаду, за снабжениями. Тамошние аптекари — лучшие. Я был знаком с гранадским Душегубом.

— С которым?

— С мавром аль-Касабой. Он читал мне свои стихи. Часто. А финал его последней поэмы я даже перевел с арабского. У аль-Касабы возникли неприятности из-за этой поэмы: шейхи Гранады сочли ее богохульной. Там тоже крылось много обещаний.

Сейчас я понимаю, в чем трудность перевода поэтических текстов. Где залог успеха. Если хотя бы эхом услышать праязык, звучащий из-за вуали языков разделения... если найти слова, хотя бы частично отражающие эту тайную песнь...

— Ты помнишь стихи аль-Касабы?

— Помню.

Ветка можжевельника на изломе пахла горечью умиранья.

LIX

Я обещаю вам сады...

Коран

Я обещаю вам сады,
Где пена белая жасмина
Так беззащитна, что костями нам
Лечь за нее — блаженство мира
И нежность утренней звезды.

Я обещаю вам суды,
Где честь в чести, а добродетель
Не ждет — сорвутся двери с петель,
И явится ее свидетель
Развеять кривды лживый дым.

Я обещаю вам, седым,
Весь опыт зрелости отрадной,
Свободу рухнувшей ограды
И в небе ангелов парады,
На фоне облачной гряды.

Я обещаю вам следы
Девичьих ног на той аллее,
Что и печальней, и милее
Беспамятства рассветной лени
И счастья лопнувшей узды.

Я обещаю вам Содом,
Где страсть, горя в очах порока,
Равна огню в речах пророка,
Когда невинности дорога
Ведет детей в публичный дом.

Я обещаю вам стада
Благих овец, баранов тучных,
В костре горящем ропот сучьев,
И ежедневно хлеб насущный,
И утром — «нет!», и ночью — «да...»

Я обещаю вам судьбу,
Надежду, мир, войну и ярость,
Рождение, молодость и старость,
И смерти тихую усталость,
И дальний шепот: «Не забудь...»

Я обещаю вам себя...

* * *

— Помнишь, Мануэль, я спрашивал: не разучился ли ты плавить золото?

— И я ответил: эти навыки умрут вместе со мной. Ты спросил, я ответил, и мне казалось: я понимаю тебя. Но сейчас... Ты пугаешь меня, Филипп. Возвращаешь к былым заблуждениям. Золото? плавить? Когда я уже окончательно уверился, что Магистерия не существует...

— Магистерия не существует. Зато существует золото. Существоваю я. Ты. И индульгенции в твоей суме. Пойдем...

LX

Спать в богадельне Вит ложился рано. Вот и сейчас после ужина отправился напрямиком в келью. Зажег свечу. Спать при живом огне куда милее, а свечей здесь прорва, и все дармовые! Припомнил, ложась, забаву с Базильсоном-младшим... Памятуя исход драки с Якуном, букашка держалась настороже, так что дело изрядно затянулось. В конце концов Андре-медведь загнал Вита-букашку на высокую сосну, а сам туда вскарабкаться не смог. Попытался стряхнуть, едва не вывернув сосну с корнем — куда там! Букашка вцепилась в смолистое дерево всеми четырьмя зазубренными лапами. Приклеилась — не отдерешь. Народ смеялся, Базильсон-старший великодушно объявил «ничью»...

Стук в дверь кельи отвлек от приятных воспоминаний.

На пороге обнаружился мейстер Филипп. Серьезный, как никогда, без обычной улыбки. Или это пламя свечи делало его лицо более суровым, чем обычно? Резкие складки, черные тени...

За спиной Душегуба маячила фигура святого отца.

— Можно, Витольд?

— Да что вы, мейстер Филипп! Конечно...

Душегуб расположился на табурете, поближе к островку света вокруг свечи. Фратер Августин присел на ложе рядом с мальчишкой.

— Ну что, малыш? Как поживаешь?

— Лучше всех!

— Болячки не донимают?

— Не-а! Ни разу... Ох, я дурак! Мейстер Филипп, я вам... я за вас!..

Действительно, за играми-потехами забылось: уже, почитай, две недели ни разу не хватало! И Матильда... Глянешь на нее — прямо сердце радуется. Теперь ее за Лобаша отдавать — никак. Облезет Лобаш: на такой жениться! Перебьется. Лучше Вит сам на Матильде женится! Внезапная эта мысль обожгла изнутри сладостным жаром, но голос Душегуба (...*рассветный перезвон колоколов в лазури...*) вернул «жениха» на грешную землю.

— Погоди благодарить, Витольд. Рано. Если оставить дело как есть, болезнь со временем возобновится.

— Ага! — счел нужным вернуть Вит. — Я понимаю!

— Ничего ты не понимаешь. Брось притворяться. Хотя скоро поймешь. Завтра мы проведем один... ритуал, который излечит вас обоих раз и навсегда.

«Выходит, он все-таки волшебник! Здорово!»

— Но перед этим тебе необходимо очиститься.

— Запросто! С утра сбегаю, искупаюсь — и буду чистым! Я вообще каждый день...

Молчавший до того монах глубоко вздохнул:

— Святая простота! Тебе не тело — душу очистить надо, сын мой. Хоть и грехи твои небось с маковое зернышко...

— Душу? А чем душу чистят?

— Исповедью. Я готов выслушать тебя. Но мейстер Филипп полагает, что исповеди недостаточно. Говорит: ты должен приобрести индульгенцию.

— Дульгацию? Я?!

Душа, нуждающаяся в очищении, ухнула в пятки. Она бы и дальше забилась, но дальше было некуда. Вит сразу припомнил, как фратер Августин вкручивал эту самую дульгацию дядьке Штефану. Но дядька Штефан — умный. Отказался. Не удалось монаху мельника на сковородку загнать.

Так нешто Вит дурнее?!

— Не, не надо мне дульгации! — отчаянно замотал головой мальчишка. — Я лучше вам, святой отец... как на духу! Вы мне грехи отпустите, и ладно. А дульгацию себе оставьте. Зачем мне к чертям в пекло?! Не хочу я!

— Выслушай меня, малыш, — Душегуб говорил тихо, вкрадчиво (...*бесстрастный свет луны сочится сквозь туман...*); слова его вязали паутиной, крепко-накрепко. — Чтобы стать здоровым, сделаться настоящим Витольдом, тебе требуется испытание. Иначе навсегда останешься больным мальчиком. Ты уже большой, Витольд. Умеешь терпеть боль, страдания. Тебя ведь больно били сегодня?

Вит угрюмо набылчился:

— Больно.

— Но ты же не плакал? не жаловался? Ты терпел. Даже улыбался потом.

— А что, без вашей дульгации никак?

— Никак. Решайся! Мужчина ты или тряпка?! Вон святой отец выдержал — и ты выдержишь.

— Так у святого отца небось грехов-то — с комариный чих! Он же святой! Его черти на пуховых перинах медом кормили! — Вит вдруг нашел выход. — Да и денег у меня нету, дульгееции покупать!

— Ошибаешься. Фратер Августин не родился монахом. Его грехи против твоих много больше весили. А деньги найдутся, не тревожься. Я ведь твой опекун, Витольд. По закону. Вот и куплю у святого отца тебе индульгенцию.

Мейстер Филипп полез в кошель. Вынул свернутую в тонкую трубку грамоту. Развернул, показал цистерцианцу. Увидев подпись Жюстины, монах кивнул, уверясь в законности опекунства — подделывать подпись Душегуб не стал бы.

«Отвертись у них, у хитрюг, — обреченно подумал Вит, следя за взрослыми. — Придется на скорородку... мамка карасей, помню, жарила!..»

— Ладно. Чего там! Однава живем... Давайте, святой отец, вашу дульгеецию. Буду мучиться.

— Не торопись, сын мой. Успеешь еще. Ночь впереди долгая. Сначала исповедайся — глядишь, и мучиться особо не придется.

— Ага, не придется! А за мытаря убитого?!

— О чем ты, сын мой?

Мейстер Филипп поднялся с табурета.

— Кажется, я здесь лишний. У вас уже исповедь началась...

LXI

— ...скажи, сын мой: вольно или невольно совершил ты сей грех?

Вообще-то исповедь следовало проводить иначе. Но слушает не исповедник, а Господь. Монах чувствовал: мальчику надо помочь. Иначе замкнется,

станет казнить себя за то, в чем нет его вины, а о настоящих проступках и не вспомнит.

— Я... я не знаю...

— Желал ли ты смерти мытарю?

— Что вы, святой отец! Вырывался я... страшно мне было: они смеялись — бунтовщик! на кол!..

— Это невольный грех, сын мой. Он не столь тяжек. Раскаиваешься ли в содеянном?

— Ага, святой отец. Каюсь. Больше не буду.

Прозвучало фальшиво. Но монах сделал вид, что не заметил этого.

— Хорошо, сын мой. Рассказывай дальше.

— Я еще стражнику одному пальцы сломал. Тоже нечаянно... А раз мы с Пузатым Крестом дорогу веревкой перетянули. Это уже нарочно. Чтoб люди падали. Потом... яблоки у Адама Шлоссерга воровал. Часто. Плетень тетке Неле сломал. А еще...

Рассказывать, как хотел в разбойники податься? Ну его. Мало ли чего хотел! Не подался ведь... А что на Дне жил, вместе с ворами — так то они воры, а не Вит. Их пускай и жарят, когда срок придет.

— ...это все, сын мой? Тебе не в чем больше каяться?

— Не-а, святой отец.

— Именем Господа нашего отпускаю тебе грехи твои, сын мой. Иди и не греши боле.

— Спасибо, святой отец! Так я теперь что, навроде младенчика?

— А сам как думаешь, младенчик?

Вит прислушался к себе. Зачем-то оглядел келью. По углам, где копилась тьма, прячась от свечного огонька, колыхались таинственные тени. Может, это и есть отпущенные на волю грехи? Тогда свечу точно гасить нельзя — еще вернутся, гады!..

— Вроде полегчало... Только не до конца.

— Вот для этого и нужна индульгенция. Дабы все, что осталось, в чем ты не сумел до конца раскаяться, своими страданиями искупить.

— На сковородке?

— Уверяю тебя, сын мой: нет там никаких скоровородок. И чертей нет. Один ты *там* будешь.

— А кто ж меня тогда мучить станет?

— Ты сам.

— А... ну если сам, тогда ладно. Тогда я согласен.

— Ты действительно хочешь искупить грехи свои до конца?

Вит задумался. Это что же получается? Помучает он во сне сам себя, а проснется совсем без грехов? Праведником проснется? И можно сразу в рай? Ну, в рай ему, конечно, рано, но праведником стать — тоже неплохо. Да и мейстер Филипп говорит: без этого болячки вернутся.

— Хочу, святой отец.

— Хорошо, сын мой. Вот тебе индульгенция.

Из походной сумы монаха явился туго скрученный свиток, перевязанный шелковым шнурком. Качнулся ярко-красный сургуч печати.

— О плате не беспокойся. Ты слышал: твой законный опекун берет расходы на себя. Ложись спать; индульгенцию положи под подушку. А засыпая, думай о грехах и искупление. Если муки покажутся тебе чрезмерными — только пожелай проснуться, и очнешься здесь, в келье. Тогда можешь передохнуть и попытаться еще раз. Стерпишь до конца — утром под подушкой найдешь горсть пепла. Значит, отныне чист ты пред Всевышним.

Вит очень серьезно кивнул. С опаской, готовый в любой миг отдернуть руку обратно, потянулся к индульгенции.

Словно гадюку взять собирался.

LXII

Эту ночь фратер Августин спал плохо. Нет, его не мучили кошмары: малыш, одолеваемый адскими муками. Очищение — благодать Господня. Служи-

тель церкви, продавая индульгенции, несет в мир добро, только добро и ничего, кроме добра. Также цистерцианец не кричал на удивительном языке, лишь похожем на человеческий, как это случалось с другими переводчиками. Просто долго ворочался, снедаемый дурными предчувствиями. Жгучая смесь ожидания, беспокойства, волнения — и беспричинный, неясный страх, бродящий в темных закоулках рассудка...

В сон упал лишь на рассвете. Как в обморок. Когда утром его разбудил стук в дверь кельи — смятение души никуда не исчезло. Сидело рядом, на краю ложа.

— Заходите! — крикнул монах, впотьмах напавшая рясу.

Он ожидал увидеть мастера Филиппа или Вита. Однако вместо них в низкую дверь, горбясь, протиснулся Костя Новоторжанин. В руке новгородца горел фонарь, закрытый колпаком из стекла.

— Здрав будь, отче. Извиняй, что раненько... День нынче такой. Одевайся, пойдем. По дороге расскажешь: что тебе потребно, дабы злато плавить.

Сегодня в богадельне царила особенная, торжественная тишина. Даже гул шагов не мог ее потревожить, угасая и теряясь в благоговейном молчании обители. То, что они идут в базилику, монах даже не понял — почувствовал сразу, едва выбрался из кельи. Жаль было нарушать покой древнего камня, оглашая коридоры звуком собственного голоса. Но — пришлось.

— Мне потребуется переносной горн.

— Уже озаботились. У нас Пелгусий пару лет в кузне молотом махал. Он и присоветовал.

Вышли во двор. Прячась за скалами, солнце едва-едва тронуло крыши строений, любовно позолотило купола базилики и капитула. Плиты двора все еще утопали в тени. Очертания казались вол-

шебно четкими, точеными. Прозрачный воздух звенел, искрясь свежестью.

Монах вздохнул полной грудью. Обернулся к Косте; подождал, пока тот погасит фонарь.

— Древесный уголь. Лучина и щепки на растопку.

— Принесли.

— Тигель.

— Мейстер Филипп загодя добыл.

— Крюк, щипцы...

— Есть.

— Помощник — мехи раздувать.

— Пелгусий станет.

— Золото?

С этими словами цистерцианец, осторожно потянув на себя дверь, первым шагнул под своды базилики.

— Вот.

Костя снял с пояса (...свежий ветер поет в белизне парусов...) тяжелый мешочек из кожи. Протянул монаху. Статуи святых томились в ожидании. Сквозь прорези купола внутрь заглядывали любопытные лучики, весело пятная стены: огонь! пшеница! желток!..

Ожидание праздника. Чуда.

В дальнем конце, рядом с апсидой, была установлена ширма, и фратер Августин уверенно направился к ней. Сердце подсказывало: его место — там. За ширмой обнаружился горн и все остальное, о чем говорили по пути. Здесь же ждал один из челяди — видимо, тот самый Пелгусий. Кивнув бывшему кузнецу, монах с тщанием осмотрел инструменты. Удобно ли цеплять крюком ушко? хорошо ли держат тигель щипцы?.. Остался доволен. Пелгусий ухмыльнулся в бороду; без лишних слов взялся разжигать горн. Тем временем монах развязал мешочек. Один из солнечных лучей исхитрился, сунулся внутрь, вспыхнув радостными блестками. В свое

время фармациус Мануэль имел дело с золотом. Плавил, обрабатывал хитрыми составами в поисках рецепта Магистерия. Но это всегда были слитки или проволока. Редко — старые украшения, проданные на лом.

Золотой песок монах видел впервые.

Оторвавшись от диковинного зрелища, фратер Августин пересыпал содержимое мешочка в тигель. Даже не заметив, куда и как исчез Костя. Сегодня каждый знал свое место и свое дело. Ушел — значит, надо. На статую ребенка, равнодушно дремлющую в нише, монах старался не смотреть. Хотя взгляд мимо воли нет-нет, да и скользил по хрупкой фигурке. В эти мгновения становилось не по себе. Смушение; трепет сердца. Будто ненароком проник в чужую тайну. Так и чудилось: сейчас девочка открывает глаза, взглянет на него... укоризненно качнет головой...

Монах терзался сомнениями.

Пускай Церковь не препятствует Обряду и даже косвенно его поощряет. Но ведь епископы с кардиналами не видели, не ощущали того, что видел и ощущал он! Хотя... Папа Иннокентий II прошел дальше смятенного цистерцианца. До конца. Вон стоит тихонько в боковом нефе, кивает. И все-таки... Скажите, Ваше Святейшество: остались ли вы тем же человеком, что и прежде? Что случилось с вами на самом деле? С вами, со всеми, кто заканчивал перевод, обретая праязык и вновь скрывая его за игрой в слова людей?

Огонь в горне понемногу разгорался. От сухих смолистых щепок занялся древесный уголь. Молчун Пелгусий, отложив лопатку, которой подбрасывал топливо, встал к мехам. Пламя загудело, набирая силу. Пора ставить в печь тигель. Руки быстро вспоминали давние навыки, и фратер Августин боялся признаться самому себе: ему приятно это чувство.

Будто вернулся, вернулся домой... Так что же есть Обряд? Имеет ли право монах, смиренный слуга Господа, не просто присутствовать, но принимать участие в сем действе? Пускай даже в скромном качестве плавильщика золота... И вообще: вершить Обряд в базилике, в монастырской церкви?

Томление души некоего монаха — против двух юных жизней?

Господи, о чем тут можно думать?!

«Не знаешь, как поступить? — поступай по-доброму. Ибо сам Господь добр. Он поймет и простит тебя, даже если твой выбор окажется ошибочным».

Где и когда слышал монах эту фразу? Или она родилась в его голове только что?

Лицо фратера Августина отвердело. Ты сам ввязался в эту историю. Хотел помочь детям? Помогай! Нужно плавить золото? Плавь. Ничего богопротивного пока не происходит. И вряд ли произойдет. Вот увидишь, что творится кощунство, — тогда и вмешаешься.

...если не будет поздно.

LXIII

Матильда объявилась первой, и монах на миг обомлел. Девушка преобразилась. Изящно завитые локоны обрамляли необычайно одухотворенное лицо. Платье звездно-голубого атласа с шлейфом, пояс расшит жемчугами, на плечах — легкая накидка цвета старого вина. Куда девалась толстая неряха, Глазунья-дурнушка, теребившая зевак на улицах Хенинга?! Перед цистерцианцем стояла истинная дочь Гаммельнской Пророчицы и Пестрого Флейтиста.

Нет, не красавица. И даже хорошенькой назвать трудно.

Но разве в этом дело?

Девушка молча прошла мимо статуй святых, исподтишка косящихся вслед. Тихо опустилась на колени возле апсиды, скрывавшей фигурку ребенка. Осторожно положила рядом цитру. Застыла вторым изваяньем.

Почти сразу дверь хлопнула снова, но девушка не обернулась. Словно и без подсказки знала: кто вошел. Возможно, так оно и было — что видит сейчас Матильда Швебиш, не смог бы сказать ни один человек на свете. Поражало сходство: ребенок-статуя и коленопреклоненная девушка. Лица светятся внутренним светом, глаза полуприкрыты; лепестки век пронизаны лиловыми строчками... Похожи — и в то же время разные. У девочки — безмятежный покой Судьбы; у девушки — скрытая радость проснувшейся души, ожидание скорого чуда.

С трудом оторвавшись от созерцания этой пары, фратер Августин повернулся к вошедшим.

На пороге стояли Костя Новоторжанин и Вит. Но теперь Вита никто бы не рискнул назвать малышом. Обнаженный по пояс юноша в узких темно-синих штанах до колен заново оглядывал базилику, словно оказался здесь впервые. Да, впервые! Раньше сюда заходил наивный мальчишка Вит, а сегодня явился строгий и подтянутый юноша Витольд. Все изменения, которые монах наблюдал во взрослеющем мальчике изо дня в день, вдруг проявились в полную силу. Тени делали лицо, и без того худое, изможденным. Впадины щек, складки в уголках красиво, может быть, слишком красиво очерченного рта. И ночь глубоко запавших глаз. Из глазниц вчерашнего Вита глядела жизнь, сознающая свою участь.

Монах узнал этот взгляд.

Именно так смотрит на мир тот, кто побывал в Чистилище и выдержал муки. Кто пережил ночь

Искупления. Неважно, сколь грешен был человек, ложась спать накануне...

Но не одно это поразило цистерцианца. Витольд изменился не только внутренне, но и внешне. Сухощавое тело звенело как струна, переполненное новой упругой силой. Мышцы и сухожилия тугими канатами оплели руки; торс юноши весьма смахивал на стальной панцирь... или на жесткую броню насекомого. Сравнение неприятно кольнуло монаха изнутри — словно вредная *букашка* ужалила мимоходом.

Сейчас Витольд двигался нарочито неторопливо, но во всех его жестах, в походке, в манере держаться сквозила тайная стремительность и смертоносность.

«Фамильная кровь сказывается», — попытался успокоить себя отец-квестарь.

Костя Новоторжанин что-то шепнул юноше. Вит согласно кивнул, прошел к алтарю и присел рядом. Фратеру Августину почудилось: при этом ноги и руки Витольда сложились не вполне по-человечески, как лапки кузнечика. Цистерцианец мотнул головой, заморгал, гоня наваждение прочь. Костя же набросил на юношу плащ черного бархата — и Витольд застыл траурным сугробом. Даже дыхания не удавалось уловить.

Или это ткань скрадывала малозаметное движение?..

Фратер Августин постарался отвлечься от непрощенных мыслей и сосредоточился на работе. Подбросил угля в печь. Мимоходом отметил: Пелгусий справляется вполне успешно. Мехи работали мощно, ровно, пламя в горне обрело нужный голубоватый оттенок, сделавшись почти невидимым, прозрачным. Монах осторожно зацепил крюком ушко тигля, слегка наклонил. Из-под тусклых оплавок, скопившихся в горловине, блеснул живой, масля-

нистый металл. Пора сбрасывать шлак. Ухватив щипцами тяжелый тигель, он ловко подцепил оплавки миниатюрной ложечкой из стали. Сбросил в заранее поставленную рядом керамическую чашку. Как пенку с молока снял. Сунул тигель обратно в печь, пока расплав не успел застыть.

Подумалось: вот так и эти двое. Витольд с Матильдой. Сбросили лишние оплавки, накипь, шлак — обнажив истину сердцевины.

Сегодня монаху везде чудились некие символы.

LXIV

Душегуб задерживался.

Солнце пятнало стены базилики веселой мозаикой лучей. Танец искрящихся пылинок завораживал, приковывал взгляд, наполняя сердце сладостным предвкушением чуда. Люди ждали молча. Костя Новоторжанин, братья Буслаевы, их челядь, почтительно заняв боковые нефы. Цистерцианец, в десятый раз проверяя расплав золота, поглядывал на дверь. Мерно качал мехи бессловесный Пелгусий. Тишина звенела от напряжения: рой голодного комарья, пыльная радуга меж колонн — лишь скорбно вздыхали мехи, да гудело пламя в горне.

Душегуб задерживался.

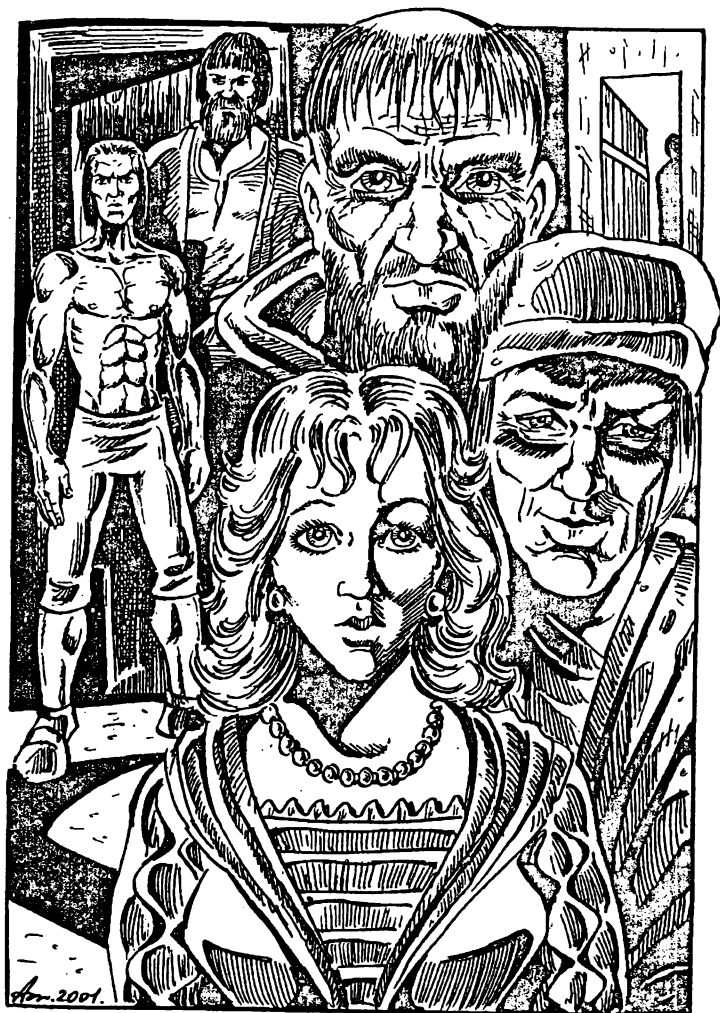
Он явится вовремя. Как является слепой летний дождь. Как разрешается от бремени женщина. Как приходит госпожа Смерть. Вовремя. В свой срок. Сколько мысленно ни подгоняй, сколько ни проси обождать минуточку.

Время разбрасывать камни, и время собирать камни.

Время жить и время умирать.

Время Обряда.

Когда само слово «время» теряет всякий смысл, становясь пустым звуком.



Дверь открылась. Впервые — с надрывным, режущим ухо скрипом. Мейстер Филипп (*...горечь осенних листьев: хочется плакать от счастья...*) шел вприпрыжку, никуда не торопясь. Смешной грач нес перед собой ларец, обтянутый пергаментом с росписью. Глядя в щель между створками ширмы, фратер Августин вдруг поймал себя на уверенности: он знает, что сейчас сделает Душегуб!

Знает, что в ларце.

Знает...

Словно монах тенью шел следом, а до того — заглядывал через плечо, когда Душегуб замешивал глину, лепил, обжигал готовую форму. Опускал в ларец, на обитое войлоком дно, полую фигурку из глины. Сейчас мейстер Филипп раздвинет ширму, являя взорам собравшихся монаха-плавильщика и гудящий горн, потом откроет крышку ларца...

Пора.

Крюк, щипцы.

Тигель выходит из устья печи: чистилище, отпуская грешника на волю, рдеет искупительным огнем. Оказывается на единственно возможном (*...женский напев вдали, в камышах...*) месте: удобная каменная подставка возле горна. Шелестя, раздвигается ширма. Ларец с формой ложится рядом с дымящимся тиглем. Взгляд — усталый, понимающий: подернутые седым пеплом уголи — глаза в глаза. В руках Душегуба: скорлупа-голем. Грубая глина тела, вместилище для благородного металла души. «И сотворил... по образу и подобию...»

Непрочен сосуд тела человеческого. Хрупок.

Из праха выйдя, в прах возвратишься.

Пахнуло жаром. Руки все делали сами, не дожидаясь приказа шута-рассудка. Золотая змея скользнула в аккуратное отверстие на темени голема. Почему ты не удивляешься, монах? Форма должна раскалиться, обжечь ладонь мейстера Филиппа — а он спокойно продолжает сжимать голема голой рукой,

ничуть не изменившись в лице. И вместо смрада пахлой плоти ноздри ловят аромат увядания. Почему ты спокоен, человек в рясе? Может быть, потому, что внутри тебя поет праязык? Открывается тайная дверца, впуская свет знания? Не давая до конца проникнуть в суть Обряда, но позволяя идти на шаг впереди совершаемого?!

...Да возрадуется взыскующий Красного Льва, да будет вознагражден он желаемым! Да соединятся чистые металлы в жаркой купели, рождая новое, доселе невиданное соединение: великий союз, лишенный прежних изъянов! Вот ответ тебе, о вопрошающий: дух и плоть — тайна Магистерия. Сера и ртуть. Красный Эликсир. Откроется тайна, коль будешь настойчи́в и тверд на пути постижения. Но бойся ослепнуть от сияния незамутненной Истины! Да возликует дух, ото сна пробудясь, смиряя слабость плоти и устремясь к сверкающим высотам! Да возликует плоть, лишась вечного надсмотрщика, как вольный конь лишается ярма и обузы! Да свершится таинство, укрепляя Столп Вавилонский...

...что это? откуда?!

И поперек, свежим ветром выдувая из головы безумство видения, глотком воды орошая пустыню рта, прохладой горного льда касаясь огня щек — звон струн.

Берегись, монах!

Зрение лжет, слух шутит шулки.

Матильда Швебиш еще только поднимается с колен, еще только берет цитру, и складки ее платья не успели опасть, шурша, чтобы лечь облаками звездного света, — а ты уже слышишь чарующий напев. Сегодня Матильда играет как никогда раньше — ангельски, божественно... Тонкие пальцы коснулись струн, звуки серебряной каплей про-

шлись по залу, сливаясь с первой, несуществующей мелодией, которую слышал ты, — и пыль замерла в лучах солнца, чтобы секундой позже вернуться к бесконечному танцу.

Душегуб высоко (*...дикое сияние выжигает глаза...*) поднял над головой раскаленного голема.

Размахнулся.

Швырнул через всю залу.

Дрогнула базилика. Словно нечто или некто хотело потянуться к смешной кукле, но в последний миг раздумало. Впрочем, одного этого желания хватило, чтобы качнуть пол морской волной. Очертания статуй в нефах странно исказились. Грубо намеченные маски проросли лицами: испуг, смятение, восторг!.. Монаху почудилось, будто краем глаза он уловил движение в глубине апсиды...

Наваждение возникло и сгинуло. Как не бывало. Молчат люди, тишина окутывает базилику, и даже голем, беременный золотом, не преодолел и трети пути от Душегуба к Витольду.

(*...угловатая лапа не ловит — просто берет на лету...*)

Сугроб у алтаря взорвался навстречу черным вихрем. Ключьями тьмы упал тяжкий плащ. Фигурка летела и летела, нелепо кувыркаясь; это могло длиться вечно, пока узкая рука, оплетенная тугими жгутами, действительно не взяла из воздуха медленного голема.

Юноша колебался, глядя на алтарь.

«Разбить. Надо разбить. Чтобы засияла... Алтарь? Нельзя — об алтарь!.. грех!..»

Чужие мысли жужжали в мозгу цистерцианца, сводя с ума.

А мелодия цитры все лилась, и монах упустил такт, когда в музыку вплелся второй голос — альт-вая виола, которой не было в руках Филиппа ван Асхе. Но разве это имело сейчас значение: было? не было?! Сегодня творились чудеса и исполнялись мечты. Сегодня был день Обряда. Уникального Об-

ряда, какого еще не случилось в истории Гильдии! Цистерцианец знал это, на шаг опережая события, как знал многое другое, струящееся из тайной дверцы. «Чего не случилось? В чем — отличие?» — хотелось спросить фратеру Августина, но он знал: ответа не будет. Рано. Перевод еще не завершен. Новое знание волновало, оставаясь в то же время ущербным, куцым, как...

Как?!

Нужное сравнение вертелось на языке, не даваясь перевозбужденному рассудку.

Двое шли навстречу друг другу. Плыли, текли, каплями ливня просачивались между нитями пространства. Они никуда не спешили, эти двое, они были вместе: вчера, сегодня, завтра. От начала и до конца времен. В этой и любой другой жизни. Имеют ли значение несчастные секунды, разделяющие их, — если все давно произошло?

Так, наверное, могла бы видеть и чувствовать Матильда.

Каждый из двоих еще не успел двинуться, а монах уже видел: встретились! юноша опустил на правое колено! перед девушкой, протягивая ей... Они стояли на месте. Они шли навстречу друг другу. Шли, постепенно ускоряя шаг, бежали, летели, и казалось, этому не будет конца. А потом Витольд исчез у алтаря, чтобы возникнуть рядом с Матильдой Швебиш, преклонив колено. Следующего жеста монах не сумел заметить. Брызнули глиняные осколки, на лету истончаясь, превращаясь в бурные капли, исчезая... Золотая статуэтка вспыхнула огнем в руке юноши: подобье в подобном. Матильда осторожно потянулась навстречу, их пальцы переплелись...

Люди, статуэтка, базилика, пронизанная солнцем насквозь, камень стен, музыка — все вдруг стало единым целым. Золотой Витольд, освобождаясь от корки глины, скользнул в ладони Матильды. Де-

вушка едва не выронила бесценный дар — столь тяжела оказалась ноша.

Порыв.

...кукла! хочу!..

На этот раз монаху не почудилось. Девочка в нише едва заметно шевельнулась, потянувшись навстречу!

Море встало дыбом. Птицы в небе рассыпались многоточиями фраз, оборванных на полуслове. У скал истлели корни. Диск в небе наметился детским профилем; вот-вот откроются глаза. Стены базилики пошли трещинами, невозможно четким узором мельчайших фрагментов. Трещины? фрагменты? атомы, индивиды¹ бытия? Хрупкое равновесие. Сместись единственная пылинка — лежать Творению в развалинах!

...кукла?.. а-а-а...

Миг иллюзии истек.

Статуэтка остывала в руках Матильды. Пальцы девушки налились золотым блеском, свечение быстро распространялось дальше: ладони, запястья... Девушка прижала фигурку к себе, как мать, оберегающая дитя, и монаху явственно привиделось: бабочка складывает крылья, трепеща на цветке. Фрагтер Августин зажмурился, а когда зрение вновь вернулось к нему — золотая статуэтка исчезла.

Глубокий вздох прошел по залу.

Монах так и не понял, кому он принадлежал: людям, Творению или Творцу?

LXV

Здесь, где в крутизне склона обнаруживалась малая ложбинка, рос старик можжевельник. Скрученный в узлы, ржавый от возраста. Но живой. Цепля-

¹ Слова «атом» и «индивид» означают «неделимый» соотв. на греческом и латыни.

ясь за камни, разорвав рясу в двух местах, фратер Августин сполз сюда, сам не зная зачем. Сел на мшистый валун возле дерева. Под ногами, превращая обрыв в приманку, плескалось море. Намекало: шагни разок-другой. Присоединись к вечности. Брызги лунного золота стелились к горизонту, неприятно напоминая о другом золоте. Из тигля.

Золотая статуэтка Витольда.

Золотые руки Матильды.

Простое, обыденное чудо. И никакого Магисте-
рия.

Живя в мире под именем Мануэля де ла Ита, цистерцианец не считал себя особенным человеком. Боялся боли. Любил вкусно поесть. Пил вино; временами напивался. Понадобилась страшная шутка Фернандо Кастильца, чтобы из фармацевта-отравителя вышел наружу человек, способный простить. Отказаться от мести. Выдержать ночь Искупления. Сейчас фратер Августин был очень благодарен этому человеку. Наверное, иначе он не смог бы остановиться в начале пути. Подобно Улиссу, плывущему мимо сирен, заткнуть уши, дабы не слышать манящей песни праязыка, и привязать себя к мачте.

Оглядеться.

Уединиться со старым можжевельником, оставив богадельню за спиной.

Ветер донес от обители взрыв хохота. Праздник. Там пируют. Возглашают здравицы. Там жонглируют улыбками мейстер Филипп и Костя Новоторжанин. Якун Васильич басит хвалу «красной девице». Ондрий Васильич гудит славу «добру молодцу». Там по коридорам заблудшими тенями, неприкаянной памятью бродят члены Гильдии, готовые отдаться любому встречному, распластаться чистым знанием — только позови.

А здесь — море, скалы и можжевельник. Монах, раздираемый сомнениями на части. И поодаль, опершись на слюдяной нарост, — человек в башлы-

ке, с которого все началось. Целитель, лазутчик, знаток языков. Первый; самый первый.

Врач Бурзой по прозвищу Змеинный Царь.

«Ну и что? — сказал мертвый врач Бурзой. — Да, я был первым. Что с того?»

— Ничего, — ответил живой фратер Августин. — Просто ты был первым.

«Иногда я думаю, — сказал мертвый врач Бурзой, — почему именно я? «Пятикнижие» мог украсть кто-нибудь другой. Учебник праязыка. Осколок эпох, когда жили люди, не похожие на людей. Или вовсе не люди. Рычаг, с помощью которого можно перевернуть мир. Почему именно я налег на него всем телом? Ведь глупо: украсть книгу, и вдруг... У меня был товарищ, маг по имени Маздак. Служитель храма Огня. Я тайком дал ему прочесть оригинал. И узнал, что гении способны обойтись без работы над переводом. В следующие годы Маздак залил кровью весь Иран, переделывая страну к лучшему. Он выходил на площадь, говорил разные слова, а за словами брезжил праязык. Никто не понимал, что маг говорит на самом деле, но толпы сходили с ума. Начинали возводить Столп Вавилонский прямо здесь, на площади. Тогда я понял: сразу — нельзя. Сразу — смерть. Но и постепенно — нельзя. Побег яблони не привить к сосне. А надо сделать так, чтобы можно. Ты уже видел Обряд?»

— Да. Видел.

«Ты уже понял Обряд?»

— Нет.

«А-а... Это потому, что ты не закончил перевод. Закончишь — поймешь».

— Нет. Я не закончу, пока не пойму. Я не вернусь к переводу, пока не пойму. Я боюсь понять, когда будет поздно свернуть в сторону. Расскажи мне. Сейчас.

«Хорошо. Я расскажу тебе...»

Тень собеседника стала низкой, напомнив дряхлого орла: Бурзой присел на корточки. Чувствовалось: так он может сидеть долго, очень долго... вечно. Качнулись полы башлыка, открывая птичий профиль. Лишь сейчас монах с пугающей остротой понял: да, похожи. Если смотреть со стороны, увидится простое: цистерцианец в рясе с капюшоном, и тень, им отбрасываемая. Никаких мертвых врачей; никаких сумасшедших откровений. Остро и страшно захотелось свободы. От искуса, выбора, от знания и поступков. Пусть тишина! покой! пусть все случившееся обернется призраком, растаяв с наступлением утра!..

На миг захотелось проснуться. Но миг взлетел и рассыпался звездным фейерверком: желания, желания...

Только успевай загадывать.

«Душа, — сказал мертвый врач Бурзой, и казалось, что монах разговаривает с самим собой, о давно известном. — Душа и тело. Мы живем в вечном разладе между этими двоими. Мы дышим, едим, спим, сражаемся и совокупляемся, пока однажды...»

Душа, думал живой фратер Августин. Душа и тело. Мы рождаемся двухголовым зверем из сказки. Живем, пытаясь идти одновременно в две стороны. Мы даже идем, ухитряясь не разрываться пополам. Какое-то время — идем. Но молодость заканчивается, и душа начинает готовиться к отлету. Как море-ход готовится к дальнему странствию, запасая провиант, теплую одежду, латая паруса... Душа пожирает тело изнутри, набираясь сил. Оболочка скоро сделается остовом хижины, брошенной на берегу. Прах к праху. К чему жалеть то, о чем больше никогда и не вспомнишь? — душа выгрызает сердце-вину, делаясь все сильнее. Мы стареем, дряхлеем;

приходят болезни и недуги. Мы чувствуем себя юными! пылкими! — это внутри распахиваются могучие крылья... — но коленки подкашиваются, руки опускаются, рот шамкает беззубо, и с ужасом понимаешь: юность с пылкостью — твои, но чужие. Еще твои, но вскоре — чужие. Может, завтра. Может, через неделю. Сегодня. К вечеру. Может...

Изъеденное тело умирает, отпуская на волю прелестную бабочку-убийцу.

Это участь большинства.

«Это участь большинства, — молчал мертвый врач Бурзой, однажды укравший пустую книжонку из-под ста замков. — Из них воздвигается Вавилонский Столп, но не ими охраняется и укрепляется. Лишь к немногим является Душегуб, верша Обряд. Является рано, в юные дни избранников, когда душа еще не взялась пить соки тела про запас, предвкушая дальний путь. Нашупывает звонкие нити, связывающие одно с другим. Трогает, извлекая звуки: гулкие, тихие... всякие. И наконец делает голема из глины. Из праха земного, телесного...»

Прах, думал живой фратер Августин. Земной, телесный. Кошунственное уподобление Творцу. Держа в руках тайные поводья, Душегуб умело направляет бег коней, отделяя душу от тела. Золотая статуэтка упрятана в ларец. С этого дня душа мирно покоится в родовом склепе. А тело живет дальше: само. Без души. Без смешной малости, которую нельзя потрогать, подержать, взалхлеб ощутить потерю. Тело живет, не старея. Долго. Дольше обычно. Ибо некому отлетать, некому запастись силами; некому разрушать дом на берегу. Дом разрастается: этаж за этажом, ярус за ярусом. Становится крепостью. Тело, свободное от необходимости кормить на хлебницу, делается крепче с каждым днем. Быстрее с каждым днем. Подвижней с каждым днем. Опасней с каждым днем.

С каждым поколением.

Но иногда всплывает вопль из глубины запертого ларца: откуда скука? почему скука?!

«Да, — молчал мертвый врач Бурзой. Лишь уголки губ тихо дернулись невпопад. — Люди-тела. Мудрец Платон называл таких — «стражами». Ими охраняем Вавилонский Столп, а скука мешает им обратить силу против хранимого. Мелкие отклонения — не в счет. Но стражей недостаточно для идеала. И тогда к другим тоже приходит Душегуб, верша Обряд. Рано, в юные дни. Нащупывает звонкие нити. Тихонько шепчет еще дремлющей душе: лети...»

Лети, думал живой фратер Августин. Лети, душа. Рано? — пустяки! Начинай готовиться к отлету. Прямо сейчас. Вот тело — оно твое! Бери что хочешь, что надо. Расправляй крылья. Натягивай паруса. Жги дом на берегу, если желаешь согреться в ночи. Плоть в твоём распоряжении. Плоть болеет, страдает, распадается. Зрелость обращается в старость. В проломы стен лезут хвори. Нить отпущенного срока укорачивается. Зато дух исполняется небывалой мощи, еще при жизни тела воспаряя к небесам. Великие провидцы. Гениальные музыканты. Небывало зоркие астрологи. Поэты, ученые, лекари, маги, ваятели, пророки... Больные, изношенные тела — и мощь души, рвущейся с привязи. Скоро привязь лопнет. Скоро — свобода. Небеса навсегда.

Но иногда измученная плоть взрывается воплем: за что?!

Это случается редко.

«Да, — молчал мертвый врач Бурзой. — Люди-души. Мудрец Платон называл таких — «философами». Ими укрепляем Вавилонский Столп, а немощь мешает им достигнуть опасных высот, обратиться против укрепляемого. Атланты не должны трясти небо. Но и философов недостаточно для идеала. Я пытался провести Обряд в самые первые дни

после откровения. Тщетно. У меня в руках был тупой нож, арфа без струн, плащ из воздуха. Обряд оставался пустой забавой. Ничего не получалось. И я узнал: это потому, что нет Бога. Нет. Совсем. А надо, чтобы был. Иначе не случится чуда, первого толчка на долгом пути к идеалу. Я узнал правду, и я еще раз взял в руки «Пятикнижие». И уединился здесь вместе с тремя своими дочерьми».

— Я делал Бога, — сказал мертвый врач Бурзой. — Я сделал Его. Здесь, в богадельне. Я знал: как.

Живой монах отшатнулся:

— Замолчи!!!

«Хорошо. Я замолчу... я сейчас почти всегда молчу...»

LXVI

Сон бежал Вита. В келье, при свете одинокой свечи, парнишка чувствовал себя твердым и звонким. Будто колокол. Ударь — отзовется благовестом. Пускай челядь Базильсонов лежит вповалку на полу трапезной, дыша перегаром. Пускай спят мастер Филипп и весельчак Костя. Пускай могучие братцы утробно храпят в потолок. Он, твердый и звонкий Вит, может бодрствовать хоть всю жизнь!

Выпитое вино толкало к подвигам.

Никогда раньше Виту не было так хорошо. Слово нес мешок с мукой, пыхтел, надрывался — и вдруг сбросил. Навеки. Теперь до скончания дней — налегке. Вот вам, болячки! дергунец! «курий слепень»! столбун! — выкусите! Вспомнилась Жучка-мелюзга, когда, ошалев от весеннего солнышка, псина каталась по земле, выпятив розовое брюхо. Вит счастливо расхохотался. Теснота? — пускай! Сквозняком крутнулся по келье: пол, стол, табурет, нары...

Язычок свечи моргнул.

Погас.

Темнота навалилась отовсюду, комкая праздник. Медведь-Якун, только не белый: черный. Впервые в жизни Вит испугался темноты. Дома всегда спал без света — скряга-мельник за свечку удавился бы... Кровь толкнулась в висках. Шепнула невнятицу; замолчала. Бесенята взялись за молоточки: тук-тук!.. так? так... Явилось уж вовсе несуслазное: склеп могильный, ларец тайный, крышка захлопнута, а в гробу ларца — он, Витольд из Запруд. Только золотой. Лежит-задыхается. Крышку! крышку откройте! не слышат... Парнишка вдруг почувствовал себя твердым, звонким и одиноким. Это темнота. Морочит. Пугает, вредина. Это вино. Хмель шибает.

Ладно.

Дверь отворилась без скрипа.

Коридор. Тук-тук. Так?

Так...

— Матильда... Ты спишь?

— Не-а... входи...

Бесенята зачастили вдвое. Тук-тук, следи, пасть-тук!.. горе человечку — волк возьмет овечку!.. Проем двери сделался узким, очень узким; входя в Матильдину келью, Вит густо покраснел, задержав дыхание. На лбу выступила испарина. Колючие, щекотные капельки. Где-то в животе шевелилась букашка-подружка: радовалась. Чему? Наверное, свету. Келья девушки ничем не отличалась от Витового жилища, кроме перины и горячей свечи на столе. Свеча была толстая, розовая, с наплывами воска. Вит старался на нее не смотреть, но все равно смотрел, краснея еще больше.

Это, наверное, чтобы не смотреть на Матильду.

Оставшись в нижней сорочке, девушка расчесывала волосы. Уложенная к Обряду башня прически становилась просто русыми кудрями. Падала на голые плечи. Только локоны на висках по-прежнему

крутились змейками. Ужалят — насмерть. Вспомнилась мамка: сидит, с гребнем в руках, а у ног Вит примостился. Малый совсем... тепло ему, хорошо...

— Тебе чего?

— Мне бы огонька...

— А-а... свечку с собой взял?

— Ага...

Вит неловко шагнул к столу. Окунул фитиль своей погасшей свечи в живое пламя. Слишком быстро. Слишком. Одна свеча упала, покатилась по полу, придавив огонь: другая опоздала вспыхнуть.

Темнота.

Вино.

Бесенята частят молоточками.

Так? так...

— Подожди... я сама...

Букашка наружу лезет. Умная, все знает. Твердость и звон — в мягкую теплынь кокона. Топь, болото засасывает, влечет на дно — сладко тонуть. Тело ворочается в тесноте души. Впервые наоборот, вопреки вечному закону. Тело — в душе. Впервые. Все однажды — впервые.

— Не спеши... больно...

Тело звонкое, сильное. Глупое. Торопится. Ломает. Больно душе. Взвилась, могучая. Камень стен струнами натянула: пой, камень! Каждой мертвой жилочкой пой! Черные фитили в тайну огня окунула. Ночь в рассвет обратила и ночью оставила. Когда душе боль в сладость, крик в радость, когда душа в силу вошла, пустяки для нее — ночь в рассвет. Обволокла тело, опутала паутиной. Терпит. Стон? песня?

Жизнь? смерть?!

— Медленнее... я толстая... слабая...

— Ты не!.. не толстая ты! Ничуточки!..

— Глупый... а-а...

— У тебя глаза!.. глаза!.. ясные-ясные...

Качается странная обитель под странными звездами. Сошла оползнем по скалам. На волны — па-

русным галеоном. Раскинула тутую белизну на семь ветров, идет по зыби. Вверх-вниз. Небо-море. Соль воды, соль слез, соляной блеск статуи-ребенка в тиши базилики.

Звездные облака.

— Ма-а-а...

— А-а-а-х...

Хватит подслушивать.

Хватит подсматривать.

Кыш, бесенята!.. тук-тук, так-так...

LXVII

ЗАПИСИ ФИЛИППА ВАН АСХЕ, ХЕНИНГСКОГО ДУШЕГУБА

17 октября. ...*теа cilra, теа тахита cilra!*¹ Я должен был предусмотреть! У всех «стражей» после разделения резко усиливаются плотские потребности; зная это, родители готовятся заранее. Я же, в увлечение и утомаясь от двойной ноши, счел возраст Витольда слишком нежным для... Малыш чуть не убил ее. Окажись он старше хотя бы года на три — все труды пошли бы прахом. Сейчас ходит сам не свой. Плачет. Нас спасла его крайняя неопытность в делах амурных и мастерство девицы управлять чужим рассудком. Полагаю, войдя после Обряда в полную силу, Матильда сумела хотя бы частично укротить напор его страсти. Иначе ей бы не суметь встать на пятый день. А она встала. Наш святой фармацевт говорит: поправляется. Все в порядке. И смотрит на меня так, что я казню себя еще больше.

В целом разделение...

19 октября. ...разделение *physis* и *psyche*² прошло удачно. Я тайне надеялся на успех, но итог превзо-

¹ Моя вина, моя великая вина! (лат.).

² *Physis* — «природа» (греч.). *Psyche* — «душа» (греч.); часто изображалась в виде бабочки.

шел все мои ожидания. Девушка выздоровела и даже расцвела. Сохраняя дар в нужной мере, ей не приходится платить за это ущербностью плоти: рсуче Витольда вполне достаточно усиливает необходимые способности, чтобы не требовалось иной поддержки. Сам же малыш бодр и весел; я не замечаю за ним ни малейших признаков скуки, зародыша будущего гниения. Надо радоваться. Надо радоваться успеху. Но откуда берется беспокойство? Возможно, я просто слишком мнителен.

Сегодня Витольд, забавляясь, возился с Буслаевыми. Было ясно видно: когда малыш войдет в силу, братьям не справиться с ним даже вдвоем. Неудивительно: Буслаевы — всего лишь седьмые в родовой цепочке Обрядов, а Витольд, даже учитывая смешение крови...

20 октября. Начал учить малыша грамоте. Просто так. Сперва он только глазами хлопал, а потом пришла Матильда. Села в углу, молчала. Я предложил помочь: согласилась. Дальше началось чудо.

Не удивлюсь, если...

21 октября. Их тянет друг к другу. Может быть, именно здесь таится опасность? Начни Гильдия предлагать новый вид Обряда...

Монах сказал: браки заключаются на небесах. Наверное, он прав, но смысл этой правоты темен даже для нашего святого. Представляю себе лицо герцога Густава, узнай государь, что его внук и какая-то бродяжка... Я имею в виду брак, пускай даже морганатический¹. Простые связи герцога не заинтересуют

¹ Неравный (морганатический) брак заключался между титулованным женихом с менее знатной невестой. Во время обряда при словах «Я беру тебя своей законной женой» жених подавал невесте не правую, а левую руку.

вовсе. Разве что из чувства врожденной брезгливости к черни.

Хорошо, что опыт проводится в строгой тайне.

28 октября. Зачем я веду эти записи? Любому из Гильдии и без того вполне доступны моя память и мои знания. Пожалуй, я веду их для себя. Неужели и за этими словами брезжит тайное звучание праязыка, на этот раз скрытое от меня самого? Или я пытаюсь, помимо чистых знаний, сохранить для других какие-то чувства? Филипп, ты безумец. Когда ты научишься радоваться свершенному, не отягощая сердце лишней накипью?

Малыш и девица великолепны. Когда вместе. Не знаю, можно ли их надолго разлучать.

Не хочу думать, что случится, если один из них умрет раньше другого.

Филипп, прекрати.

2 ноября. Спорил с нашим святым. Втайне завидуя его выдержке. «Гранд-Мануэлито» так и не вернулся к переводу «Наставленья жизни человеческой». Хотя его тянет. Я же вижу: тянет мощно, страшно. А он держится. Перестал беседовать с прошлыми гильдейцами. По-моему, разогнал всех. Только иногда... он называет оставшегося Бурзоем. Змеиным Царем. Любопытно: то ли мне повезло вдвойне, и наш святой сумеет пробиться в самое начало, то ли...

Филипп!.. ладно, ладно...

Монах сказал: Вавилонский Столп — не для чело- веков.

А для кого? — спросил я.

Он ответил, что не знает. Ты не веришь в Бога, Филипп, сказал он. В этом твоя беда и ограниченность. Ибо Господь недаром однажды смешал языки...

Я согласился. Недаром. Не верю. Смешал языки, а

перед этим извел в водах потопа исполинов. Напомнить Писание? — спросил я.

Ты выдашь меня церковному суду? — спросил я.

Он отмолчался.

*Быть может, он прав. Вавилонский Столп строился не людьми и не для людей. Ну и что? Если я отчетливо вижу преимущества именно этого устройства общества? Если разделение ведет нас к идеалу? Отдельно — мощный оборонительный слой *physis*, способный успешно отразить внешнюю враждебность и достаточно пассивный к зрелости, дабы не нести опасность общему равновесию. Отдельно — тонкая сердцевина *psuche*, титаны духа, проникающие тайны мироздания. Фундаментом — жирный, плодоносный перегной, источник пищи и труда. Я говорю про толпы черни: проникшиеся ненавистью к оружию как к символу своей низости, они безвредны для Столпа. Ведь даже во время войн сражаются не армии, а рыцари-*physis* с малыми дружинами...*

Монах помешал мне договорить.

Вы превратили мир в богадельню, сказал наш святой. Целиком. Без вашей поддержки, без костылей Обряда весь грядущий идеал покатится в пропасть. Как старики вымерли бы в обычном приюте, лишась тех, кто их кормит и оберегает. Ты уверен, что вы еще люди? — спросил он. Долго смотрел в стену, будто в зеркало. И добавил: ты уверен, что мы — еще люди?

Хватит!

12 ноября. ...долго не возвращался к записям.

Все хорошо. Все много лучше, чем предполагалось. Дети живут друг с другом, как супруги. Мучаются, что во грехе. Просили монаха обвенчать их. Ко мне же Витольд обратился за благословением, как к опекуну. Еле уговорил отложить. Потом долго успокаивал нашего святого. Он кричал, что, если малыш однажды искалечит девицу (хотя какая она теперь де-

вица?!) — грех будет на мне. Каюсь, я и сам не понимаю, как у детей получается... мать Витольда, опытная шляпница, выученица Толстухи Лизхен — и рыхлая, болезненная Матильда... нет, не понимаю!..

Костя со своими оставили нас.

Проклятая мнительность!..

(На отдельном листе, наискосок, корявым почерком новичка):

ПРАШЛО МЕСЕЦ

LXVIII

Говорят, грешно любоваться спящими. Грешно и опасно. Тетка Катлина страшила: ежели, значит, тело очнется, а душа на миг припоздает, из горних-то высей, — можно самому в пустой взгляд навеки кувырнуться. Станешь дурачком, вроде Лобаша. Брехала тетка, наверное. Лобаш таким родился, никому в сонные глаза не смотрел.

Спи, Тильда.

Улыбайся во сне.

Вит ничего... еще чуточку посмотрит и купаться побежит.

Но вместо купания юноша, неожиданно для себя самого, отправился бродить по обители. С отъездом Базильсонов забавы прекратились, жизнь вошла в размеренную колею, сделалась пресной. Вит даже заскучал по мельнице. Сейчас мешки таскать, и то в охотку! Когда б не Матильда, совсем тоска бы одолела... Временами мечталось: враги, пожар и он, Вит, крушит супостатов вдребезги, заодно спасая девицу из огня. Ну и святого отца с Душегубом, ясное дело. Их тоже спасает. Страсть как хотелось опекать и защищать. Драться хотелось. Есть хотелось, много больше прежнего.

А еще хотелось знать: зачем он забрел сюда... В книжкин амбар. Грамоте учиться? Так Тильда спит-нежится, а мейстер Филипп ушел. Еще вчера. Обещал только к вечеру явиться.

Зато вон святой отец стоит, у стенок.

Кричит криком, а выходит шепотом. Страшным, сорванным:

— Нет! И еще раз говорю тебе: нет!

Пальцем в нагой столец тычет. На столе свитки всякие, переплеты из кожи, с застежками. А святой отец головой мотает: ни-ни! Будто его уговаривают, злато-серебро сулят, а он на все это добро и глядеть не хочет. Тень от него по стене: худая, птичья. На святом отце плащ с капюшоном, а на тени вроде как башлык: края от ветра плещут. Виту страшновато стало. А ну как сойдет тень со стены? Дед Юзеф, помнится, сказкой пугал: «Падет день, встанет тень: «Я — Царь Змеиный! Дай в рот плюну! — поймешь язык птиц и зверей, гадов земных...»

Ф-фу, глупости...

— Подобрать спалось, святой отец?

Замолчал фратер Августин. Щекой не попад дернул:

— Ты?

— Я, отче. Кому ж еще быть?

— Не скажи, Витольд. Есть кому — быть. Многие тут...

Кто — многие? Ангелы? бесы? Наверное, такие бесы. Имя им... имя... юрод Хобка, бывало, пацанве рассказывал... О! Точно! Имя им — галеон! Здоровый такой кораблице, а матросят на нем чисто бесы! Искушают святого отца, коврижками подманивают, а он им — шиш в рыло. Или это святой отец просто умом тронулся? Тильда выздоровела, а на него перешло...

— Знаешь, Вит... В обитель мне надо.

— Вы б поспали, отче... А? Все легче будет. Или

водичкой умойтесь, холодненькой. Мы же в обители...

— Не пори ерунду, сын мой. Думаешь, я безумен?! Верно думаешь, да неверно. Мне в мою обитель надо, в монастырь цистерцианцев. Времени много прошло, как бы не пара месяцев. Я раньше каждый месяц возвращался. Приор¹ тревожиться станет, в розыск подаст...

— Пара месяцев?! А я думал... Ладно, святой отец. Вернется мейстер Филипп, он вас и проводит обратно. Ложитесь спать, он скоро... не беспокойтесь.

Зарделся Вит майской розой. Чудно вышло — вроде он дитя малое успокаивает. Вот вернется мамка, заберет домой... Однако Августин на Витов румянец внимания не обратил.

— Не могу ждать боле! К чему мне Филипп, когда...

Монах осекся. Лицо напряглось, пошло складками. Будто святой отец прямо сейчас узрел чудо невиданное, и зрелище потрясло его до глубины души.

— Да ведь это книги! Те же книги! С виду различны, а на самом деле...

— Кто, отче?

— Притворщики! Лицемеры!

— Да кто же, наконец!

— Двери! Двери — книги! Книги — двери!..

— Святой отец! Поспать бы вам... капельку...

— Если уметь их читать! Если узреть за кажущейся разницей общую суть! истину языка, единого для всех... Нам только кажется, что двери ведут в разные места! Кажется!.. мы открываем дверь, как книгу, мы открываем книгу, как дверь, путаясь в

¹ Приор — настоятель католического монастыря. По отношению к монастырским поместьям пользовался всеми правами сеньора.

словах и путях!.. Глупцы! Главное: научиться правильно открывать!.. смотреть в корень...

«Сбрэндил святой отец! Ой, мамочки... Надо бы его потихоньку в келью увести. Отпоить чем-нибудь... Разбудить Тильду? — она у меня вешунья, совет даст...»

— Ты не веришь мне, сын мой.

Голос монаха, весь в трещинах, словно кора дуба, звучал устало. Но позади, за усталостью бессонных ночей и опасных откровений, пряталась радость возбуждения, восторг от открывшегося, желание поделиться им — сию минуту, немедленно!

— Не веришь. Я и сам себе уже плохо верю. Господи! На Тебя одного вера моя, на Тебя упование!..

Монах шагнул (*...вода, грохоча, рушится с кручи; стекло брызг...*) мимо растерявшегося Вита к двери библиотеки. Уверенно взялся за ручку, потянул на себя.

И юноша увидел!

Бесконечный ряд распахивающихся дверей: разных, разных, разных... Одинаковых. Двери вели к выходу из чудо-портала. Смутно, на краю сознания всплыло: этой же дорогой мейстер Филипп привел их сюда. Но тогда Вит ничего толком не успел рассмотреть. А сейчас... Глаза смотрели, рассудок бунтовал — а тело действовало. Букашка сунулась наружу, беря все в свои руки. В цепкие лапки. Мирная, тихая, букашка ни с кем не собиралась драться. Напротив! Спешила на помощь святому отцу. Ухнет, бедолага, в чертову прорву дверей, потеряется, выпадет незнамо где... Удержать! Остановить!

Вит прыгнул. Клещом вцепился в монаха.

— Святой отец! Свя... подо...

Не удержал равновесия. Оступился на краю. Оба рухнули в открывшийся портал. Дверь библиотеки мягко закрылась за ними — лишь слабый ветерок взъерошил страницы фолиантов, изумленных подобной спешкой. Куда торопиться? К чему?!

Эх, люди, люди...

— ...ждите!

Вит чудом устоял на ногах. И даже монаху помочь ухитрился. Иначе валяться бы святому отцу в бурой каше из снега и грязи, по щиколотку забившей переулочек Тертых Калачей! Позади с мерзким смешком затворилась дверь. Та самая, что в свое время привела их в богадельню. Вит тогда мучился «курьим слепнем», но дверь запомнил. Юноша кинулся обратно, дернул кольцо из бронзы, чуть не вывернув с мясом... Заперто! Кажется, вовсе заколочено. Ух ты! Может, святой отец тоже капельку Душегуб?

Или — чудотворец?!

— А теперь веришь, сын мой? — по-доброму улыбнулся фратер Августин.

У Вита сразу на душе полегчало: в своем уме монах! Ликом светел, улыбчив... Такими улыбками славился мейстер Филипп: сотня на выбор, на любой случай.

— Верю, отче! Истинный Круг, верю! Вы теперь что — в любую дверь войдете и где угодно выйдете?!

Монах смутился. Огляделся в растерянности:

— Где угодно? Я вообще-то к братьям-цистерцианцам собирался... Ладно, пешком добреду. По старинке. Ты-то смотри, не замерзни! Помню я, как на Окружной тебя подобрал, в канаве...

— Пустяки, святой отец!

Беззаботный взмах руки должен был отогнать прочь любые сомнения монаха. Однако движение оказалось столь быстрым, что фратер Августин его попросту не заметил. Конечно, в Хенинге зябко: старуха-осень несет в кошелке дождь пополам с белой крупой снега. Хорошо хоть, башмаки на ногах! — вывалился бы босиком... Впрочем, холод донимал слабо.

— А вы сами, отче? Вон из носа у вас течет...

— Спасибо за заботу, малыш. Но в этой рясе я и февральями хаживал.

— Ой! — дошло вдруг до Вита. — А как же Матильда?! Проснется — а вокруг никого?! Искать нас станет... Обрато бы мне, отче!

Монах шагнул к заколоченной двери. Подергал кольцо. Виновато развел руками:

— Прости, сын мой. Не выйдет у меня сейчас обратно. Тут всем сердцем захотеть надо, всей душой... А душа с сердцем влекут меня к родной обители. Может, разыщешь мастера Филиппа? Я скажу, где стоит его дом... Не заблудишься?

— Не-а! Я теперь в Хенинге, как у себя в штанах! Рассказывайте, святой отец...

Когда монах скрылся за углом, Вит еще чуть-чуть постоял в переулке. Собирая мысли в кучу, словно овец-неслухов. Тянуло к Матильде; тянуло на Дно — с приятелями повидаться, похвастаться... Мысли бодались, гоня друг дружку прочь, и тело разрывалось на части: что делать? Куда бежать-спешить? В конце концов Вит строго прикрикнул на распоясавшееся стадо. Выдернул ближайшую овечку и, руководствуясь ею, решительно направился в сторону Дна.

Благо до цели было — рукой подать.

Калитка привычно скрипнула. Будто и не уходил никуда, не пропадал в чужих краях у ласкового теплого моря. Однако двор с первого взгляда показался угрюмым, чужим. И со второго — тоже. Никого не видать, даже всегдашний людской гомон стих. Сиротливо чернеет навес над пустым столом; штабель бочек просел, съезжился, желая уйти в землю. Башмаки скользили в жиже, которой стала утоптанная глина двора.

Знакомый угловой вход. Шаткая лестница вскрикивает под ногами. Вот и мансарда. Открыта на-

стежь. Сердце отчаянно екнуло: небось все добро слямзить успели! А там деньги... одежда...

К Витову изумлenny, «добро» оказалось на месте. Щегольские панталоны, кафтан. Кожух, подарок дядьки Штефана. И, самое главное, кошель с монетами, укрытый в щели за тяжеленным сундуком. Вот пусть говорят после этого: воры, мол, подонки! Ведь не сперли ничего, хотя могли... Вит переоделся по погоде (кожух показался тесноват); вспомнив мамкины уроки, напялил шапку. Привесил к поясу кошель, укрыв полами кафтана. Теперь — к мастеру Филиппу. Приятели со Дна на промысле, небось — ищи их!

На обратном пути у стола встретился некий замухрышка. Красные с перепоею или недосыпа глазки жили своей жизнью: бегали, шныряли, моргали... А едва нашупали Вита — замухрышка шаранулся, словно от виселицы!

— Эй, ты чего? Не признал?

— Ы-ы-ы...

— Вит я. Бацарь! Вернулся вот. А где наши все?

— Ы-ы... в порт ушли, ы-ы-ы! В порт!.. ы-ы-ы!..

Оставалось только пожать плечами и отправиться искать дом мастера Филиппа.

Тильда небось уже проснулась...

Обиталище Душегуба нашлось без труда. Монах описал точнехонько: двухэтажное здание, серое, со стрельчатыми окнами и красной черепицей крыши. Сбоку от кирпичной трубы вздымался острый шпиль с флюгером из жести: голова сокола. Слегка робея, юноша по ступеням взошел под козырек, укрепленный на двух столбах. Ветер сюда не задувал.

Дверной молоток висел над кольцом.

Бам-м-м!

Поначалу было тихо. Наконец громыхнули шаги. Лязгнул засов, левая створка распахнулась, и над

Витом навис ражий детина. Известная в городе личность? Подонки еще звали его... звали...

Птица! точно!

Птица Рох...

— Кыш, попрошайка!

Птица Рох сдвинул брови. Пригляделся внимательней. Круглая, щекастая рожа его отразила некоторое дружелюбие.

— А, это ты... найденыш. Что ж без оружия? Плетей захотел? Или монеты для штрафа завелись?

— Так мне... рано мне еще!

— Рано ему! — шмыгнул носом детина. — Рано, понимаешь! Ты это страже скажи, как ухватят за шкирку! Рано ему, орасине...

Вит выразительно ткнул пальцем слуге за спину.

— Мейстер Филипп дома?

— Нету хозяина, — грустно прогудел Птица Рох. Похоже, отсутствие Душегуба всерьез его огорчало. Однако Вит не спешил верить. Небось Птица хозяина от лишнего беспокойства хранит. Чтоб не тревожил кто попало. Это правильно. Только Вит — не «кто попало». Он с Душегубом за одним столом сидел. И вообще, мейстер Филипп — его опекун!

Щель между плечистым слугой и дверным косяком оказалась вполне достаточной. Слуга и моргнуть не успел, а юноша уже стоял в прихожей.

— Мейстер Филипп! Это я, Вит... Витольд!

Птица Рох недоуменно заворчался: ишь, шустрый нахаленок! А вырос как! Вчера еще сопляк сопляком... Тем не менее гнать Вита взащей раздумал. Хозяину этот парень глянулся. Хозяину виднее.

— Мейстер Филипп! Это я... я это...

В доме царила гулкая тишина, только сопел за спиной слуга.

— Сказал же: нету их, — филином ухнул Птица Рох. — Вечером зайти. Может, вернется...

И, закрывая за Витом дверь:

— Грамотку-то на оружие выправи. Иначе повяжут...

Вит брел прочь, подняв воротник и повернувшись спиной к секущему льдинками ветру. Мейстер Филипп обещал вечером вернуться в богадельню. Сейчас небось по делам отлучился. Надо позже... позже зайти. Тильда волноваться будет... Не-а, она ж вещунья! она сразу все поймет!..

В следующее мгновение он впервые ощутил паутину.

Букашка внутри заворочалась с беспокойством. Паутина? значит, есть и паук?! Каждый шаг отдавался дрожью в тайных кружевах. Нити, клейкие узы примеривались: как ловчее опутать? Вит отчаянно завертел головой — и почти сразу заметил троицу стражников, выходящих из переулка. Один из них недвусмысленно махнул рукой: мол, иди-ка сюда! Стоит ли говорить, что Вит, как всегда в подобных случаях, поступил точь-в-точь наоборот? Метнулся за угол, вихрем пронесся по улице, расплескивая грязь, перемешанную с помоями, свернул — раз, другой, махнул через забор...

Остановился.

Прислушался.

Погони не было. Верно Птица Рох говорил: пора грамотку на оружие выписывать. Видать, букашка стражу почуяла... Впрочем, ощущение паутины не исчезло, хотя заметно ослабло. Словно паук потерял жертву из виду и теперь лихорадочно пытался ее отыскать. Вспомнился Пузатый Крист: «Шиш спешишь, шиш спешишь!» Кому нынче «шиш» — ему, Виту? страже? Или паук — кто-то третий?! Юноша сам поразился странному выводу. Какой такой «третий»?! Ясно ведь: стража его схватить хотела! За хождение без оружия в этих... в присутственных местах. Где покупают оружие, Вит знал: в черных кузнечных лавках. Только все равно сперва в грамотке

прописать должны, что тебе положено: меч, секира или протазанище какой, глаза б его не видели...

Вит вздохнул, сворачивая к порту.

Ветер наконец унялся. Снег в осенней кошелке тоже закончился. Настроение стало мало-помалу улучшаться. До вечера можно и от стражи побегать. А после вернется мейстер Филипп, заберет его обратно в богадельню. Грамотку выправит. Опекун он Виту или кто? Пускай опекает! Может, вообще в Хенинг не возвращаться? В богадельне хорошо. Там тепло, там море, Тильда и стражи нет, никто не заставляет железяки дурацкие таскать... Нет, в конце концов скучно станет. Тогда: зимой в богадельне отсиживаться, а летом и в Хенинг можно. С дядькой Штефаном встретиться, мамку повидать...

— Привет, Бацарь! — Вита от души огрели по плечу. — Ну ты даешь! Вымахал как! Я тебя и не признал сразу!

— Гейнц!

— Ты где пропадал? Про вас с Глазуньей такое бакланили...

— Я сам! сам расскажу! Наши тут?

— Тут-тут! Звон молотят, чешут, жнут! — расхохотался рыжий Гейнц, донельзя обрадованный возвращением приятеля. — Пошли, нашим затрешь, где всю осень валандался. Небось Душегуба со святым отцом в «три чашки» обувал?

Вит, ухмыляясь до ушей, последовал за дружкой. Пристань была совсем рядом, здесь толпился и шумел народ. Матросы в холщовых робах разгружали судно из Копенгагена; пара наиболее ушлых купцов всю торговалась с хозяином груза. Орали зеваки, стайка девиц подмигивала морякам, истосковавшимся по женским прелестям... Прямо на пирсе, в двух шагах от воды, плещущей о сваи, расположился вражина Крысак со столиком. Подельщики Крысака в поте лица трудились «на раскруте», во-

влекая в игру пьяненького бургера, который в трезвом виде никогда бы с подобной шантрапой не связался. Поодаль Ульрих примеривался к чужому кошельку; красавец Дублон «сватал» кокетливо хихикающую шлюху некоему застенчивому юнцу. Юнец смущался, краснел, но уже был готов на все.

Жизнь кипела.

Букашка вновь шевельнулась внутри. Паутина! паук... Вит досадливо отогнал тревогу, как назойливую муху. Кругом друзья! Кому и рассказывать, если не им?!

— Пошли, пошли! — увлекал его за собой Гейнц, на ходу корча кому-то рожи. Они свернули за груды тюков, к столику Крысака; мигом объявился Ульрих, пряча за пазуху срезанный кошель. Следом валяли Дублон, Юлих с Добряком Магнусом...

— Где пропадали?

— Давай, затирай, Бацарь! Втыки вас с Глазуньей уже обыскались!

Обычно молчаливый Юлих растолкал всех, навис:

— Где Матильда?!

— В богадельне осталась.

— В богадельне? Что с ней? Плохо?

— Хорошо! Лучше лучшего! Отец Августин... он сюда хотел... Ну, не сюда, а к себе... я за ним!..

Пахло кожей сапог, мокрой тканью, перегаром, редко мытыми телами. Участием, хитрецей, любопытством. Вопросами. Нетерпением пахло. Родинной, домом. Было сладко и чуть стыдно: так бывало, когда мамка вдруг обнимет при Пузатом Кристе. Начнешь вырываться: «Я сам! я большой!..» — а втайне хочется, чтоб не отпускала. Подольше.

— Я вас! всех...

Слова застряли в горле, когда паутина накрыла Вита с головой. Вихрем пронеслось перед глазами: кучка людей в одинаковых, песочного света паль-

то — как у сельского франта Адама Шлоссерга. Спешат, торопятся; длинные полы плещут крыльями. С рукавов скалят клыки броши: псы борзые, из серебра. Вокруг людей редет толпа... исчезает. Будто в лицо горсть песка сыпанули. Пусто становится, плохо. Наверху, за парашютом набережной — двое на лошадях. Рыцари. Один — белая сорочка, полосатые штаны. Шершень в снегу.

Другого Вит разглядеть не успел.

LXXI

Жерар-Хаген полагал себя первым мужчиной, испытывавшим беременность.

Такое странное на первый взгляд сравнение явилось недавно, около двух месяцев назад. Оглядываясь на события этого времени, следя за происходящим и пытаясь угадать будущее, граф цу Рейвиш все больше укреплялся в своей правоте, какой бы смешной она ни казалась. Начальное сходство возникло в отцовском замке, после тайного разговора с Густавом Быстрым и верным Эгмонтом; укрепилось же оно сразу по отбытии из замка в Хенинг. Явиться под настоящим именем было безумием: суета магистрата свела бы на нет любые поиски, утопив все во лжи и подбострастии. Жерар-Хаген предпочел избежать суматохи. В лицо его знали единицы, опознать же в иной одежде, при мимолетной встрече, скорее всего, не сумел бы никто. Особенно учитывая, что город граф посещал редко, в основном при официальных визитах, когда глазуют не на человека, а на одежду. Герцог Густав, например, это не лицо — мантия и корона. Лишенный инсигний¹, одевшись синдиком ремесленного цеха или мелко-

¹ Инсигнии — атрибуты державной власти: скипетр, корона, мантия и т. д.

поместным дворянином, герцог легко затеряется в толчее рынка. Так и Жерар-Хаген: мало кому взбредет в голову увидеть в случайном встречном графа Рейвишского.

А кому взбредет, тот промолчит.

Во избежание.

Разумеется, Жерар-Хаген серьезно ошибался, и его отцу оказалось бы крайне сложно сохранить инкогнито в толчее. По целому ряду причин. Но развеять туман графских заблуждений было некому, ибо умница Дегю справедливо решил избежать лишних споров. Просто дал совет нарядиться членом ордена иоаннитов-госпитальеров — во время исполнения части обетов им предписывалось закрывать лицо холщовой вуалью с прорезями для глаз.

Эгмонт Дегю рассудил верно. К рыцарю-госпитальеру в свите юстициария хенингцы отнеслись с почтительным равнодушием.

Это действительно напоминало первые дни зачатия. Во всяком случае, Жерар-Хаген представлял себе это именно так. Ни о каком ребенке еще речи нет. Есть лишь смутное беспокойство, о котором нельзя сказать однозначно: к добру или злу? Ты начинаешь беспричинно менять одежды, краски делаются ярче, звуки — громче, а вкус еды — острее. Прислушиваешься к себе, по крупикам собираешь знание: кажется, да!.. или нет?.. Все вокруг замечают, что ты изменился; знакомые пытаются угадать повод для перемен. А ты с радостью погружаешься в глубины неведомых досель ощущений...

Да?

Нет?

Бургомистр, иссиня-бледный от внезапного визита Дегю, сказал: да. Розыск по убийству мытаря Клааса Фрее ведется. Сведения крайне подозрительны; свидетели многократно допрошены. Воз-

можно, несчастный случай. Стража путается в показаниях — пьют, знаете ли, много пьют...

Стражник Якоб Фрее-Гельдерод, племянник убитого, сказал: не знаю. Не знаю, господин мой, а врать боюсь. Конечно, рядом. Вот как перед вами стоял!.. все видел. А заметить опоздал. Пастух рванулся, дядя охнул, рукой за бок... Хорошо, я не буду плакать. Спасибо, господин мой! я столько деньжищ отродясь... Знаете, дядино полукафтанье — бычьей кожи, его и шилом-то не сразу проткнешь! Может, ножом пырнул, стервец, так ножа не сыскали... Кроме нас? Горстяник был, мейстер Мертен... он дядю врачевал, да зря... Нет, не знаю, господин.

Для графа цу Рейвиш, хорошо знающего боевые достоинства своей семьи, это «не знаю» звучало как «да» самой чистой пробы.

Горстяник Мертен сказал: да. Присутствовал. По существу дела ничего добавить не могу. Похоже на удар стилета. Доложить? Куда? кому?! Розыск учрежден, а остальное — не мое дело. Вот поймают злодея, тогда и палачу работенка сыщется. Кто родители? Мать парнишки — крестьянка из села Запруды, в прошлом бродяжка. Живет в доме мельника из милости. Старый мельник когда-то подобрал: замерзала она...

С этой минуты «беременность» Жерара-Хагена стала явной.

Он носил ребенка в сердце, сгоравшем от нетерпения. Ощущая ежесекундно. Упавшее, как молния, бесплодие было трагедией для сына Густава Быстрого. Шесть лет после проклятого турнира в Мондехаре он гнал прочь страшные мысли. Обвинял в бездетности жену: гордая Инесса никогда не плакала, только совершала одно паломничество за другим, посещая святые места. Думал о разводе; уже почти решил отправить прошение в Авиньон, на имя Его Святейшества — заранее будучи уверен в

отказе. Наконец понял: я. Я виноват. Я — сухой побег Хенингского древа. Вымолил прощение у супруги, замкнулся в собственном горе, как отшельник — в пещере. Посвятил всего себя делам графства.

И вдруг...

Графу казалось, что люди оборачиваются на него, тая смех.

В Запруды отправились втроем: сам Жерар-Хаген, Эгмонт Дегю и юный Ламберт, которого граф не отпускал от себя ни на шаг. Видя в ученике слепца талисман удачи. Всю короткую дорогу Жерар-Хаген вертелся в седле, чувствуя на языке медный привкус. Незнакомый, ибо доселе не знал вкуса страха. Хотелось бокал вина: смыть липкую медь. Но все оказалось проще простого. Разговор с мельником, а потом с его приживалкой Жюстиной, вел верный Дегю; сам же граф стоял в стороне. Молча глядел на женщину. Узнавая и не узнавая. Детская влюбленность сгинула без следа, даже память отказывалась навевать сантименты. Широкая в кости, располневшая селянка в грубом чепце не вызывала у Жерара-Хагена никаких чувств.

Кроме одного: это она.

Помню.

Дитя заворочалось в глубине: я здесь! я есть! она уже родила меня — отец, теперь твоя очередь!..

— Пойдем, — сказал Жерар-Хаген, оборвав на полуслове разговор юстициария с бывшей любовницей. Шагнул прочь, за ворота. Тайный сын звал отца: иди! ищи! тут меня больше нет! Садясь в седло, когда шутник-ветер на миг откинул с лица вуаль, граф заметил — Жюстина с крыльца смотрит на всадников. Лицо ее в этот момент очень походило на лицо Инессы после очередного незаслуженного упрека в бездетности.

Наверное, оскорбленные женщины похожи друг на друга.

Но думать об этом было некогда: близился срок родов.

В городе Жерар-Хаген через Дегю вызвал к себе старшего эшевена¹ по прозвищу Ловчий. К этому человеку и его сыскарям, носившим на рукаве знак борзой из серебра, обращались только при государственной надобности. Даже для приватной беседы сперва требовалось разрешение Хенингского Дома. Но Ловчий не стал спрашивать верительных грамот. Просто с порога поклонился лжегоспитальеру под вуалью и лишь потом отдал поклон Эгмонту Дегю.

— Я к услугам вашей светлости! — шепнул эшевен.

Вечно болея горлом, он даже кричал шепотом.

Еще через неделю Ловчий подтвердил: следы мальчика-убийцы найдены в городе, на пресловутом Дне. Замечен интерес к разыскиваемому со стороны Йоста и Григора ван Раух, более известных как братья Втыки. Но разыскиваемый около месяца назад исчез при странных обстоятельствах, суть коих сейчас тщательно исследуется. Надо ждать. Затаиться и ждать. Пока сыскари Ловчего не подадут знак: дичь объявилась! Жерар-Хаген согласился ждать, хотя ожидание становилось день ото дня все мучительней.

Ребенок толкался под сердцем.

И вот час пробил.

Роды всегда проходят так: кровь, грязь и крики.

Жерару-Хагену не хотелось думать, что произойдет, если выяснится: ошибка. Выкидыш. Не хотелось. Думать. Но и заставить себя думать о другом — не получалось.

¹ Эшевен — должность, совмещающая обязанности городского судьи и полицейского начальника.

— Дурень ты, Петер...

Наверное, впервые за всю жизнь красавец Дублон назвал себя настоящим, данным при рождении именем. А дурнем себя назвал уж наверняка впервые. Сын рыбака с Гентского въезда, он без сожаления бросил семью, едва ему исполнилось шестнадцать. Мать вскоре скончалась от сухотки; отец вслух отрекся от блудного сына. Невеста, бедняжка-швея, которую женишок совратил походя, даже не удосужившись ясно объявить день свадьбы, до сих пор ожидала его возвращения. Зато, едва честный город потерял Петера Зингреля, прелестного, словно статуя св. Бонифация, мутное Дно, в свою очередь, обрело Дублона, удачливого вора. Никто и никогда не замечал за этим малым признаков сострадания к ближнему или бескорыстия. Да он и сам полагал себя человеком блестящим, лишь по произволу судьбы рожденным среди черни, наподобие монеты, давшей красавцу прозвище и ценной даже в грязи.

— Дурень ты, Петер... дурнем и помрешь...

Дублон вытащил из-за пояса секиру, прописанную ему в сословной грамотке. Бросил оружие, знак позорной слабости и худородства, под ноги. Бросил так, чтоб звон пошел. Чтоб искры по булыжнику — веером. Постоял немного, глядя перед собой влажными глазами. Будто прощался.

А потом заступил дорогу первому сыскарю.

— Эх... — сказал Добряк Магнус. Сын кузины Большого Втыка, он с детства жил в относительном достатке, отлично зная, кто за этот достаток платит. И какими деньгами. Поэтому любой приказ благодетеля был для Добряка святым. Да что там приказ! — шутка! шевеленье бровью! намек!.. Сейчас верность семейным традициям властно советовала убираться отсюда. Подальше. Не ввязываясь в свару

с властями. Исчезнуть, доложить Втыкам о случившемся, дожидаться распоряжений... Действовать без указки Магнус не умел и не любил.

— Эх...

Дубовая палка со звездой на цепи — сей *моргенштерн* прописали Добряку Магнусу восемь лет назад — отлетела к лестнице, ведущей на набережную. Магнус еще успел подумать, что все это слишком похоже на толковище «по-благородному», когда подонки решают меж собой вопросы старшинства. Успел ухмыльнуться: криво, страшно. Прежде чем шагнуть навстречу троиим сыскарям, обтекающим Дублона слева, между тюками и волнорезом.

А Молчун Юлих вообще ничего не сказал. Просто Добряк спиной понял, что идет не один.

— Беги, Витка!

Вражина Крысак, завопив дурным голосом, толкнул свой столик под ноги людям с серебряной борзой на рукаве. Покатались шарики, скорлупки; зазвенела, рассыпаясь, выручка. Рыжий Гейнц, подхватив горсть монет, швырнул их в глаза слишком ретивому сыскарю — и сразу, пользуясь минутой замешательства, стал опрокидывать штабель тюков. Дружки бросились на подмогу...

Путь в обход подонков оказался забитым наглухо.

— Витка! беги!..

Пальцы впились в камни стены. Мох, слизь. Мелкие, еле различимые щербины. Острые трещины. Впрочем, сунувшейся наружу букашке было все равно. Вит ринулся по стене, как лез тогда, впервые, по скале над теплым морем, желая подарить Матильде красивый цветок. Сейчас он желал подарить Матильде себя. Вернуться. Вернуться любой ценой. Убежать, скрыться, найти мейстера Филиппа, возвратиться в обитель, где скучно, но безопасно... Тильда с ума сойдет, если он не вернется.

В судороге броска достав основание парапета, Вит повис на левой руке.

Случайно бросил взгляд через плечо.

Внизу начиналась бойня. Сыскари Ловчего, согласно Аугсбургскому «Новому уставу о сословиях», имели привилегию — им разрешалось ношение малых поясных ножей, именуемых «скенами». И швырять их наземь сыскари не собирались, ценя пользу куда выше нарочитого благородства. Узкие и остроконечные, скены порхали в пальцах блестящими стрекозами; раны или порезы от них были зачастую неопасны, но надолго выводили противника из строя. А что еще нужно при задержании? Руки Дублона, задетые в двух-трех местах, при каждом ударе брызгали кровью; схватился за ногу тощий Ульрих, с ужасом чувствуя, как распадается надвое сухожилие. Лицо Крысака напоминало маску из порезов. Но подонки еще удерживали проход.

Еще загораживали.

Собой.

Вит не понимал, да и не мог понять причин этого сумасшедшего героизма. По всем законам, явным и тайным, обитателям Дна давно следовало смазать пятки салом. Своя шкура дороже. Еще в сентябре так и случилось бы. Но селюк-простак, будущий Бацарь, однажды явился в Хенинг, спутав все нити. Вместе с ним пришла сказка, заставив поверить в себя даже тех, кто давным-давно плевался при одном упоминании о чудесах, принцах и заколдованных замках. Сказка творилась на глазах подонков. Смешной мальчонка из глуши обыгрывает записных игроков в «хвата», таскает монетки из огня, обретает покровительство Глазуны, братьев Втыков и, наконец, Хенингского Душегуба... Лестница ведет селюка в небеса. На самый верх. Наивный, добрый, слегка хвастливый, он обрастает со-впадениями и дарами судьбы, как песчинка внутри моллюска, делаясь жемчугом. Значит, можно? Из грязи — в князи?! Значит, так бывает?! Пусть не со мной, но ведь я рядом! видел! касался!..

...и если сейчас сыскари заберут Бацаря...

...если сказка вывернется наизнанку, становясь грязной обыденностью...

...если выяснится однажды и навсегда, что так не бывает, не было, не будет и не должно быть!.. если мы, украдкой прикоснувшись к мечте, навеки останемся копошиться в помоях обреченности...

Подонки дрались не за Вита.

За себя.

За детскую, нелепую веру в чудо.

Вит вздохнул. Перед тем как разжать пальцы, мысленно извинился перед Тильдой. Жалко, конечно... За мытаря казнят небось, когда схватят. Ну и ладно. Казнят, значит, казнят. На миг задрал голову, он увидел над собой вместо неба — конские копыта и выше, над седлом, лицо. Верней, личину: из-под щегольского берета — полотно с дырками. Личина о чем-то спрашивала. Молча.

Вместо ответа Вит прыгнул.

Булыжник толкнулся в ноги... в лапы... в лапки.

И люди с серебряной борзой на рукаве подавились своими ножами, когда букашка заплясала среди них.

PRELUDIUM

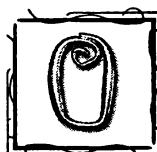
I

— Но когда говорят, что бог, будучи благим, становится для кого-нибудь источником зла, с этим всячески надо бороться: никто — ни юноша, ни взрослый, если он стремится к законности в своем государстве, — не должен ни говорить об этом, ни слушать ни в стихотворном, ни в прозаическом изложении, потому что такое утверждение нечестиво, не полезно нам и содержит в самом себе неувязку.

— Я голосую вместе с тобой за этот закон — он мне нравится.

Платон. «Государство».

— К чему скорбеть о судьбе бродяги?
Дождь, и град, и пуста сума...
Я гол и чист, словно лист бумаги —
Ах, в пути не сойти б с ума!..



Обитель цистерцианцев располагалась на Дырявых Холмах, в предместьях. От черных кузниц, где по заказу магистрата ковалось казенное оружие, фратер Августин свернул левее, рассчитывая не позднее чем через час выйти к монастырю. Стемнело сразу, едва он оставил за спиной стены Хенинга. Выпав из богадельни, монах совершенно запамятовал о шутках времени, глумящегося над путниками в дверном портале. У теплого моря было светло (на юге летом — раннее солнышко), и в слякотном, промозглом Хенинге тоже было относительно светло. Это и смутило монаха: он успел позабыть, что зимой по утрам царят сумерки.

Значит, день.

«Вернее, уже вечер», — фратер Августин (...самозабвенный хор лягушек...) огляделся, пытаясь понять, насколько поздний вечер. От кузниц тянуло гарью и едким дымом. Дождь, накинув подбитый снегом

плащ, рыбачил: поймав в сеть башни города, он тянул их в стылое небо, чертыхаясь и сплевывая через губу. Сандалии, облепленные грязью, казались пудовыми. Ноги не поднять. Хвастался мальчишке? февральями, значит, хаживал? Вот и иди теперь, святой отец...

Монах пошел.

— Мне нет удачи, мне нет покоя —
Дождь, и град, и пуста сума!
Пожму плечами, махну рукою —
Ах, в пути не сойти б с ума!..

Удивительно, но он ожидал худшего. Старая бродяжья песенка, мало приличествующая отцу-квестарю, но помогавшая коротать дороги, сейчас пригодилась вдвое. Раньше фратер Августин изредка удивлялся: что он нашел в немудрящем напеве? Ныне же, слыша за словами, знакомыми вдоль и поперек, тайную мелодию общей речи, цистерцианец всей душой чувствовал, как песенка вступает в беседу с зимой, непогодой, дождем, ветром... С его собственным телом. Повтор второй и четвертой строк в каждом куплете, ритмичный, слегка задыхающийся акцент на первом слоге — мерность шагов, защита от сырости. Просьба к хлопьям быстро тающего снега: расступитесь! минуйте! Укор грязи: зачем липнешь? отстань! Хлыст, обжигающий кожу: не замерзай! слышишь?!

Остальные строки, меняясь раз за разом, тоже содержали иной смысл, чем могло бы показаться случайному встречному.

Нити, думал монах. Нити. Пронизывающие все. Насквозь. Единая связь; единый язык всего со всем. Столп от земли до звезд, где любая пылинка знает отведенное ей место. Впору вспомнить Аристотеля: «Целое всегда больше своих составляющих частей!» Если знать: как стучать, чтобы открылось, как искать, чтобы обрести... Как говорить. Как молчать. Наверное, в этом кроется провал алхимиков, ищущих секрет Магистерия или увлеченных искусством

спагирии¹. Читая в трактате: «Сведи луну с небосклона и сотри ее пятна понтийской водой. Такова тайна опрокинутой луны. Преуспей в этом, и секреты искусства откроются тебе!» — каждый мастер понимал это по-своему, а точнее, не понимал вовсе. Если же знать наверняка и бесспорно, что стоит в тени за неуклюжими словами человек, которые, подобно малышу, путаются в собственных ногах, падая и слезно зовя маму...

Обитель выступила из пелены мокрым боком.

Вот и ворота.

— Кто там?

Фратер Августин не ожидал, что на стук кололушки откликнутся столь быстро. Обычно старик Леонард, отец-привратник, в дурную погоду дремал в караулке. Добудиться его было делом сложным: Леонард давным-давно оглох на левое ухо, а спать предпочитал, увы, на правом, слышащем.

— Кто там?!

И голос другой... Густой, властный, но слегка надтреснутый, словно порченный кувшин. Монах вздрогнул: мурашки бегут по телу. Этот голос — или очень похожий — он уже слышал.

На аудиенциях у короля-изувера, Фернандо Кастильского.

— Я это, брат! Я! Смиранный Августин, квестарь сей обители!

Криком монах (...*капустница пляшет над ромашкой...*) пытался скрыть испуг. Фернандо мертв. Сметается в лицо Костлявой. Из праха выйдя, в прах обратился. Как мертв фармацевт Мануэль де ла Ита; как жив цистерцианец Августин. Шпильманы поют на перекрестках: «И до Страшного Суда не сойтись им никогда!» Шпильманы — умницы. Не сойтись им никогда. Это морок непогоды, дождя и усталости. Это пустяки. Шутки безумия.

¹ Спагирия — искусство приготовления бальзамов, панацей, «питьевого золота», всевозможных эликсиров бессмертия или, точнее говоря, неопределенно долгой жизни.

Он почти успокоил себя.

Но в укромных закоулках рассудка еще корчился беглец-страх: ни у кого из братии не было такого голоса.

— Открываю, открываю...

Скрежет ключа в замке.

— Входи, брат...

Привратник действительно оказался незнакомым. От наброшенного капюшона на лицо падала густая тень, но и увиденного оказалось более чем достаточно, чтобы озноб вернулся. Лицо под стать голосу: впалые щеки, рот сжат в ниточку. Глаза посажены слишком близко к переносице. Фратер Августин с ужасом ощутил: спина начинает сгибаться в поклоне. Помимо воли хозяина, одной памятью о прошлой жизни фармацевта-отравителя.

Узкий рот дрогнул. Улыбнулся.

Ямочки на щеках.

— Да, я знаю... мне говорили. Так ты, брат мой, и есть знаменитый Августин? А я — фратер Гонорий, скромный инок ордена босых кармелитов. Тебя испугало мое лицо?

— Н-нет... н-не испугало...

— Ты совершенно не умеешь лгать, брат мой. Люди, знакомые с покойным королем Кастилии, всегда пугались, встретясь со мной. Зато я сам ни разу не видел короля Фернандо. Даже на портретах. Хотя нет, вру. Смешно: ты не умеешь, но лжешь, я не хочу и тоже лгу...

— Где? Г-где ты видел Кастильца?!

— На монетах. На испанских дублонах. Нищим монахам редко подают дублоны, но случалось: от щедрот... Причем именно поздней чеканки. Смотрел, будто в зеркало из золота. Странная причуда судьбы, брат мой. Или лучше сказать: воля Господа? Идем, приор велел отвести тебя к нему, едва ты явишься...

Двигаясь через монастырский сад за Гонорием, за человеком с краденым лицом и голосом, цистерцианец старался укротить смятение чувств. Мало ли

на свете похожих людей? Кастильцу не встать из могилы, ради шутки нарядившись босым кармелитом... Кстати, Гонорий и вправду босой. Только сейчас монах обратил внимание: если нищенствующие иноки позволяли себе носить сандалии на босу ногу, не считая это нарушением обета, то фратер Гонорий шел босиком по-настоящему. Даже в темноте видны его ноги: страшные, черные, в трещинах. Края рясы хлещут по жилистым голеним. Плоские ступни равнодушно топчут островки снега. Тезка папы Гонория II, в 1226 году заново утвердившего за орденом кармелитов устав нищенствования, новый привратник вполне оправдывал свое имя¹.

— А куда... куда делся брат Леонард?

Лишь бы спросить хоть что-то. Лишь бы не молчать. Взгляд не в силах оторваться от босых ног Гонория. Так подросток украдкой подглядывает за купающейся в лохани соседкой: с замиранием сердца.

Пожалуй, впервые встретился человек, чья воля сравнима с волей самого цистерцианца.

— Захворал. Кашель, грудь жжет... Приор велел ему лежать в келье. А я попросил дать мне ключи. Дабы, пока я здесь, блюсти устав в строгости.

Привратник говорил правду. Устав Цистерциума предполагал обязательность труда для всей братии. Хотя по-прежнему оставалось загадкой: что делает в обители босой кармелит? Остановился на ночь? Но ключи... Задержался на неделю? на месяц?

Зачем?!

Фратер Гонорий на ходу обернулся. По второму разу его сходство с покойником Кастильцем пугало меньше.

— Ты, милый брат, вернулся вовремя. Я ведь тебя ждал...

Постоял с отсутствующим выражением лица. Образ проклятого короля стерся, исчез, будто и впрямь на старой, затасканной монете. Вместо него

¹ Гонорий — честный (лат.).

явился лик тяжело больного человека. Ждущего, пока отступит давняя, знакомая, но от того не менее дикая боль. Страдание, бессильное исказить черты, с настойчивостью опытного палача билось изнутри в броню этого лица, стараясь выжать из кармелита хотя бы стон. Нет, не получилось. Минута; другая, и Гонорий начал оживать.

Снова зашлепал вперед, мурлыча на ходу:

— Мои две клячи в дороге длинной —
Дождь, и град, и пуста сума! —
Душа и тело, огонь и глина...
Ах, в пути б не сойти с ума!..

Фратер Августин еле сдержался, чтобы не начать подпевать.

Мертвые до весны яблони тянули к людям скрюченные руки.

Просили капельку тепла.

II

Монашеский орден кармелитов был основан в Палестине, на горе Кармель. Это случилось относительно недавно: времена первых Кружных Походов изобиловали учреждением новых орденов, как чисто духовных, так и духовно-рыцарских. Иоанниты, тамплиеры, Немецкая община... Братство Цистерциума, к которому принадлежал фратер Августин, также входило в число «новоделов». Святой Земли, но, числясь ветвью куда более древнего ордена бенедиктинцев, созданного самим Бенедиктом Нурийским, могло считать себя прадедом по отношению к кармелитам. Монахи различных братств нередко впадали в грех гордыни, кичась древностью орденов, строгостью устава или святостью основателя, но споры и похвальба разом умолкали, едва вблизи объявлялся босой инок в коричневой рясе.

Нищий кармелит вполне мог оказаться членом Белого капитула.

Тайного общества, чья цель — сделать Обряд монополией церкви.

Приоры и аббаты, зачастую пренебрегая рядовыми братьями, молча кивали, выслушивая с глазу на глаз требования «босяков». Грозные прелаты, пользовавшиеся бенефициями¹ вольно и безраздельно, словно светские государи, молча отдавали часть средств на содержание Белого капитула. Епископы и кардиналы радушно пускали странников в пыльные хранилища, разрешая доступ к любым архивам, а временами, если требовалось покрыть некие темные дела, шли на подлог с обманом. Откажи князь церкви, рискни потешить кичливость — в тот же день он обретал целую армию странствующих врагов. По городам и весям, дорогам и трактам разбегалась худая слава: прелюбодей! вор! лицемер! еретик!!! И паства, веря «босьякам» куда больше, чем проповедям жирных духовников, начинала плевать в спину обреченному.

Босые ноги с легкостью втапывали в грязь бархат и парчу.

Фратер Гонорий, уже упомянутый в нашей истории, родился в семье франкского живописца Жакемена Грингонне, служившего при дворе Карла VI. Король, человек душевнобольной и скорбный расстройством, нуждался в особых развлечениях, и Жакемен создал для несчастного новую игру — карты. Говоря по правде, мавры играли в карты задолго до хитроумного живописца, рисуя на табличках изображения шахматных фигур. Но разнообразие правил, сочетания законов и исключений, мастерство составления партий, сами карты, разрисованные аллегорическими символами и отделанные золотом, — здесь Жакемену Грингонне не было равных. Третий в цепочке семейных Обрядов, он обладал

¹ Бенефиция — право владения землей, пожалованное монархом или крупным феодалом и действовавшее не наследственно, а до смерти одной из сторон. Любимый дар служителям церкви (временный).

уникальным даром: из обломков, намеков, случайностей и совпадений легко складывал цельную, непротиворечивую систему, что делало его великим мастером любой игры.

И довольно-таки посредственным художником.

Сын игрока-живописца, пройдя Обряд в юности, Мустон Грингонне унаследовал качества отца в полной мере. И едва не свел родителей в могилу раньше времени, объявив на пороге двадцатилетия о желании стать нищенствующим монахом. Старый Жакемен, платя за свой дар болезненностью уязвимого тела, лучше иных понимал, чем грозит сыну устав «босяков». Если часть общины все же располагалась в обителях, живя за счет подаяния, собранного отцами-квестарями, то «босые кармелиты» соблюдали устав бродяжничества в строгости. Немногие здоровяки выдерживали тяготы странствий, нищенствования, скудной еды, а хрупкий, снедаемый изнутри Мустон меньше всего походил на человека, приспособленного к жизни бродячей собаки.

Отец ошибался.

В миру Мустон Грингонне, а в последние восемь лет — декан¹ Белого капитула, фратер Гонорий умел переносить тяготы без стона. К себе он относился куда безжалостней, чем позднее — к другим.

Дар нового монаха рассуждать и делать выводы оказался бесценным. Деканом он стал необычайно рано: через шесть лет после пострига. За годы его деканства дело постижения Обряда двинулось дальше, чем за все время существования Белого капитула. Первым толчком для фратера Гонория, тщательно изучившего архивы капитула, послужил отрывок из «Деяний Святых апостолов»:

«И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Когда сделал-

¹ Декан — у католиков это духовное лицо, возглавляющее капитул.



ся этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием...»

Многим была известна способность Душегубов «с каждым говорить его наречием». Но, поскольку Гонорий никак не мог признать за последними апостольских качеств, он предположил иное. Сперва запахло серой: козни дьявола, лихо прикидывающегося святым благодетелем. Поразмыслив, кармелит отверг эту версию. Среди гильдейцев числилась малая толика лиц духовного сословия, вплоть до самых высокопоставленных. Снимая обвинение в связи с врагом рода человеческого. А сама кличка «Душегуб» ни о чем не говорила: в народе могли обозвать и похлеще, будь ты хоть наместник престола Св. Петра. К счастью, в Белом капитуле собрались не фанатики, а прагматики, четко осознающие задачу. Их устраивал не костер, а знание: где отыскать дрова и как зажечь огонь.

«Значит, дело рук человеческих», — кивнул фратер Гонорий.

«Что нашел один, найдет и другой», — решил фратер Гонорий.

«Искать надо там, где еще не искали», — подвел он итог.

И на заседании Белого капитула сперва посоветовал прекратить секретные труды алхимиков в рясах, ищущих сокрытую Гильдией «тинктуру адептов», она же Магистерий, как деятельность пустую, лишенную перспективы. «Что взамен?» — спросили братья. Взамен Гонорий предложил вернуться к истоку, заново разложив по полочкам сведения о членах Гильдии. Нынешних и прошлых, живых и мертвых. У кармелита уже начала складываться некая связь между обрывками знаний. Единственное, что смущало дотошного монаха, — постоянное чувство растерянности от фразы: «И явились им разделяющиеся языки...»

Чем-то цитата из «Деяний...» перекликалась с цитатой из Ветхого Завета: *«Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого...»*

Но холодный рассудок Гонория тщетно старался понять: чем?

Повторное изучение дало результаты. Первая закономерность выяснилась почти сразу: никто из гильдейцев, чьи жизнеописания хранились в архивах капитула, не проходил Обряда. Ни до вступления в Гильдию, ни после. Следовало предположить, что Обряд раз и навсегда отсекал для человека возможность стать Душегубом. О второй закономерности — таланте к языкам — речь уже шла выше. И наконец, закономерностью третьей стало следующее: те будущие Душегубы, которых отбирал Совет Гильдии, отличались крайним скептицизмом по отношению к нынешнему устройению земной юдоли.

Для продолжения изысканий фратер Гонорий предложил, как способ накопления данных, частные беседы с Душегубами. Подкуп. Угрозы. Лесть. Обещание поддержки со стороны церкви. «Было...» — в ответ вздохнули братья. Метод провалился давным-давно: гильдейцы от встреч не отказывались, но дружно именовали Обряд пустой церемонией, данью традиции, и не более того. «Значит, плохо спрашивали!» — Когда фратер Гонорий произнес эти слова, у остальных братьев, людей бывалых, по спинам забегали мурашки.

Но «спросить хорошо», согласно новой идее молодого декана, не отказался никто.

Опираясь на мощь и связи Белого капитула, Гонорий устроил восемь похищений Душегубов. Таким образом, чтобы придраться оказалось не к чему: люди пропадали, гуляя в лесу, идя через ночные окраины, исчезая в огне пожара.

Цель оправдывала средство: допрос под пытками.

Результаты ошеломили даже всегда спокойного Гонория. Первая тройка похищенных сбежала из-под замка. Темницы опустели без видимых следов взлома. Создавалось впечатление, что Душегубы просто вышли через запертую дверь и отправились восвояси. Сперва в капитуле поднялся шум: дерзкого брата обвиняли в злом умысле, даже собирались

лишить деканства. «Босяки» справедливо опасались скандала со стороны Гильдии, поддержанного светскими властями, отнюдь не желающими лишить Обряда своих сыновей. Белый капитул боялся открытой войны. Но опасения не подтвердились: Гильдия промолчала. Будто ничего и не было. А фратер Гонорий с упрямым равнодушием продолжил воплощать новый план. Если дьявол помогает своим клеветам, значит, надо найти способ укротить Сатану. Если же это чудо Господне, значит, надо вернуть чудеса в их истинное лоно — в церковь.

Любым способом.

Следующих похищенных стали содержать под стражей, приковывая цепями к стене. Побегі прекратились. Душегубы, прикованные и под надзором, оставались на месте. Но допросы выявили странное.

Весьма странное.

На первой стадии допроса гильдейцы утверждали прежнее: Обряд — дань традиции, не имеющая тайного смысла. Предлагали посетить любой Обряд и убедиться. От пыток им было больно, как любому другому человеку. Они кричали. Стонали. Молили прекратить. Но показаний не меняли. Когда же пытки доходили до того порога, за которым у всех развязывается язык, когда люди начинают говорить правду и отвечать на вопросы, лишь бы умерить боль...

Душегубы говорили. Отвечали. Правду? — да, возможно, правду. Но язык, на котором они отвечали, был абсолютно неизвестен самому образованному кармелиту. Дикая, удивительная песня лилась из ртов, искаженных мукой. А палачи вдруг бросали инструменты, падая на колени и напоминая поведением умалишенных. Крысы лезли из углов. Птицы бились в окна. Монахам-дознатчикам становилось дурно. Но вскоре Душегуб замолкал, теряя сознание, и все возвращалось на круги своя.

Короче, допросы с пристрастием ничего не дали.

Кроме нескольких трупов, тайно захороненных в разных местах.

Гильдия по-прежнему молчала. Равнодушие муравейника к потере дюжины-другой муравьев? Или просто Совет Гильдии понимал: доказательств нет. Никто не поверит. А фратер Гонорий, скитаясь по дорогам, упорно складывал стеклышко к стеклышку. Красное к синему. Щербатое к целому. Пока не предложил обратить самое пристальное внимание на Душегубов, которые не были заранее отобраны Советом Гильдии, а сами пришли к нынешнему статусу.

Таких насчитывалось мало: около четверти известного состава Гильдии. Все они происходили из разных сословий, все являлись заядлыми книжниками, все однажды бросили налаженную жизнь, отправившись на поиски себе подобных. Среди различий и путаницы Гонорий сразу выделил общее: «случайные» Душегубы перед уходом читали или переводили на другой язык одни и те же книги. Об этом свидетельствовали родичи и соседи, друзья и знакомые. Составить список текстов оказалось несложно: десять-двенадцать книг.

На следующем заседании капитула игрок-декан предложил поставить опыт. Были отобраны десять монахов, славящихся еретическими заявлениями о дурном устройстве мира. Весь десяток усадили переводить книги из злополучного списка. Восемь из десяти закончили работу без особых происшествий, будучи отпущены с миром. Двое из десяти также закончили работу, и ночью кричали на языке, знакомом Белому капитулу.

Душегубы под пытками кричали в унисон.

Наблюдение показало следующее. Кричать по ночам монахи быстро перестали. На вопрос: «Знают ли они, как проводить Обряд?» — отвечали утвердительно. Попытка обоих действительно провести Обряд закончилась провалом. Вышла и впрямь пустая церемония, в целом похожая на обычную, — оба монаха работали уверенно, с пониманием дела, но

пользы Обряд не принес. Все это очень напоминало повозку без упряжки: стоит, а ехать нельзя. Самих монахов неудача потрясла до глубины души. Едва не сошли с ума. Именно тогда случайным братом было замечено: монахи-лжецы, открывая дверь в коридор, едва не шагнули в геенну огненную.

За дверью обнаружилось невиданное.

Сами монахи тоже испугались. Быстро захлопнули дверь. Отшатнулись, плохо понимая, что произошло. А на следующий день их застали рыдающими. Оба бились лбами о стену, проклинали свой страх, вопили, что за дверью их ждал последний, решающий шаг, а они, малодушные!.. горе! горе им!..

«Горе вам», — согласился Гонорий.

Прекрасно зная, что жить ему осталось недолго. Червь выедал тело изнутри, ежедневно терзая мукой, куда более страшной, чем назначалась допрашиваемым под пыткой Душегубам. Значит, надо спешить. Сложить мозаику прежде, чем смерть оборвет нить изысканий. Обряд должен стать монополией церкви. Должен. И станет. В геенну, открывающуюся за дверью, Гонорий не верил. Слишком просто. Зато верил в другое: там, за дверью, и впрямь возник, чтобы исчезнуть от малодушия робких, заключительный этап постижения сути Обряда.

А еще игрок, сын игрока, верил в себя.

...оставалось найти проводника *за дверь*.

Здесь Гонорию часто вспоминалась «Комедия» флорентийца Данте Алигьери, дважды заочно приговоренного «черными гвельфами»¹ к сожжению с конфискацией имущества. Современники считали, что суровый Данте и впрямь прошел круги рая и ада; кармелит же полагал это аллегорией, не лишенной разумного смысла. Поэт прав в ином: везде нужны проводники. И если тщетно обращаться к

¹ «Черные гвельфы» — партия городского дворянства. Данте Алигьери поддерживал «белых гвельфов» (торгово-ремесленные круги), поэтому при победе «черных» был осужден на смерть.

Душегубам, уговаривая сыграть роль добровольного Вергилия, то, пользуясь подсказкой флорентийца, следует найти второго Бернара Клервоского¹.

III

— ...мы повторяли опыт, — сказал фратер Гонорий. Разговаривая, он все время кивал каким-то своим мыслям, напоминая курицу в поисках зерна. — Еще в шести случаях он закончился успешно. Относительно успешно. Двое братьев оказались храбрецами: открыв дверь в геенну или еще куда...

— В богадельню. Я ведь говорил вам: гильдейцы называют это место богадельней.

— Хорошо. Мне трудно вот так, сразу... Короче, открыв дверь в богадельню, они шагнули через порог.

Фратер Августин задумчиво глядел в угол.

— И вы больше их никогда не видели.

— Да. Наверное, они погибли.

— Вряд ли. Просто дошли до конца, став полноценными гильдейцами. А Совету Гильдии проще простого отправить нового Душегуба работать... ну, скажем, в Каир или Бухару. Чтобы Белый капитул оказался бессилён проследить его дальнейшую судьбу.

— Это меняет дело, — сказал фратер Гонорий. Даже кивать перестал. — Вы считаете, Душегуб, пройдя обучение до конца, становится всецело предан Гильдии?

— Не Гильдии. Гильдия вторична. Он становится всецело предан делу, веря в необходимость его завершения. Веря не истово, а искренне. Убежденность вместо фанатизма. Ведь люди, ставшие Душегубами, изначально сомневались в благе нынешнего земного устройства...

¹ В «Комедии» Данте Алигьери, прозванной современниками «Божественной», поэта в частях «Ад» и «Чистилище» сопровождает «язычник» Вергилий, в части же «Рай» (в последних трех песнях) проводником выступает богослов-мистик XIII века Бернар Клервоский.

— Вы со мной откровенны? — вдруг спросил кармелит. — Если да, то почему? Просто потому, что вам велел быть откровенным ваш аббат?!

Цистерцианец встал. Прошел к окну. Келья отца-настоятеля дышала чистотой. Аккуратист и педант, местный приор тщательно следил за порядком. Грязные босые ноги кармелита в этой келье, на вошпелых, натертых до блеска половицах смотрелись чужеродно. Приор Бонифаций, едва встретив обоих монахов, сразу же сослался на неотложные дела. Наскоро представив декана, удалился, действительно посоветовав монаху отвечать на вопросы гостя со всей откровенностью.

Было видно: отец-настоятель избегает втягивания в скользкое дело.

Умывая руки.

— Советую не называть отца Бонифация аббатом, — вместо ответа сообщил фратер Августин. — Особенно в лицо. Он этого не любит. Сейчас аббатами стали звать всех, кто получает часть доходов с земель аббатства. А наш приор не желает иметь с такими людьми ничего общего.

— И все-таки вы откровенны, брат мой. Я спрашиваю — вы отвечаете. Правду. Значит, вы еще не прошли путь до конца... Значит, вас решили пока не отправлять в Каир. Или вы сбежали?

— Да, я сумел остановиться на краю. Но чувствую: ненадолго.

Тень в углу, куда цистерцианец минуту назад смотрел пристально и неотрывно, качнула головой. Тень в башлыке. Тень на корточках. Бурзой по прозвищу Змеиный Царь не хотел оставить собеседника в покое. Шел следом. Подслушивал. Подсматривал.

Ждал: вот-вот...

Фратер Гонорий снова кивнул. На сей раз одобрительно. «Его кивки похожи на улыбки мейстера Филиппа! — подумал Августин. — Каждый с разным скрытым смыслом. И он перебирает их в поисках лучшего...» Глаза обожгло резью: словно песка сыпанули. Цистерцианец заморгал, видя, как келья

делается плоской, теряет объем... Мир, сузившись до размеров помещения, превратился в картину, в старый гобелен, выцветая с пугающей стремительностью. Стенная шпалера Творенья ткалась наоборот: от яркой, выпуклой реальности к небытию. Краски теряли сочность, куда-то уплыли звуки. Серая, глухая безысходность конца. Сейчас наружу полезут нитки основы, и тогда...

— Вам плохо? — участливо осведомился кармелит. Голос его звучал глухо, издалека, тая в хрипотце трубу Судного Дня.

— Н-нет... все в порядке...

Призрак исчез. Краски вернулись. Возникли звуки. Стены разбежались на прежние места, окно перестало выглядеть нарисованным. Монастырский сад за окном. Снег быстро тает на ветвях: бесплодные соцветия зимы. И все-таки: было. Миг, когда равновесие сместилось, грозя обрушить бытие в пропасть. Вспомнилось: точно такое же видение упало на собравшихся в базилике, во время Обряда. Золотая статуэтка летела через зал; девочка-статуя в нише шевельнулась, потянувшись навстречу...

...Кукла!.. хочу!..

«Это моя дочь... — молчал в углу давно мертвый врач Бурзой. — Младшая...»

Откинувшись спиной на стол, фратер Гонорий вытянул свои жуткие ноги. Кивнул разок-другой. Окаменел лицом, вслушиваясь в эхо боли — вечной спутницы. Наконец червь насытился, уполз в нору, вернув способность рассуждать холодно и скупно.

— Итак, подведем итог. Вы, милый брат, в сущности, сказали мне мало нового. Значит, богадельня? Обитель неизвестно где? Подозреваю, что именно там спрятан ключик от шкатулки с секретом. Кони для повозки. Конечная стадия... Или начальная? Знаете, я восторгаюсь вами. Не верите? Зря. Когда мне донесли, что в переулке Тертых Калачей вы без рассуждений кинулись в «геенну огненную», открывшуюся вам за дверью... Члены ка-

питула утверждали: вы больше не вернетесь. Сгинете, пропадете; станете Душегубом и отправитесь в... м-м-м... Бухару. А я был уверен: вернетесь. Явился сюда: ждать вас. Дождался. Скажите, вы проведете меня в богадельню? Я хочу увидеть все сам.

Цистерцианец не ответил.

— Сомневаетесь? И впрямь: можете ли вы привести постороннего в чужой дом, где вы сами — гость, не ставший хозяином? Хорошо, не буду вас торопить. Сейчас мы выйдем отсюда, и приор Бонифаций велит вам не покидать кельи без моего разрешения. Только думайте быстрее. Ради всего святого. У нас мало времени.

— Потому что срок вашей жизни подходит к концу?

Кармелит сдвинул темные брови:

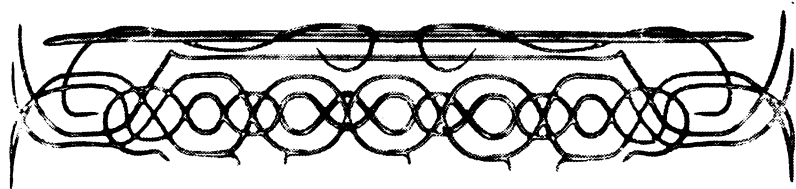
— Вы жестоки, брат Августин. Я не ошибся в вас. Нет, дело не в моей жизни. И не в вашей. Просто исповедующие ислам тоже ищут секрет Обряда. Никогда не слышали про «Горных львов»? Про шейха Бедреддина Справедливого?! Будет очень печально, если мы опоздаем, милый брат мой... Допустим, Гильдия и впрямь ведет мир к лучшему его устройству. Допустим, будущих человеков вполне удовлетворит сие устройство. И Господь его одобрит, сказав: «Хорошо, и хорошо весьма!» Но, милый брат...

Даже червь, глодавший игрока-декана изнутри, вздрогнул, услышав последние слова. Ледяная, неукротимая, сатанинская гордыня переливалась в них снежной радугой. Человек, обликом и голосом похожий на Фернандо Кастильского, сейчас выглядел настоящим королем: государем малой державы, жаждущей покорить вся и всех.

— Я хочу быть не ведомым, а водителем!

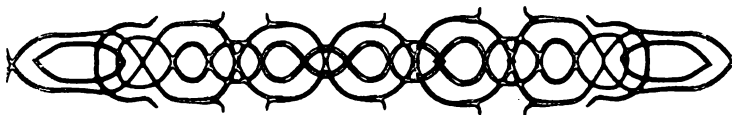
В углу беззвучно смеялась тень в башлыке.

И смех этот был горше полыни.



КНИГА ТРЕТЬЯ





— Мы утверждаем, что достойный человек не считает чем-то ужасным смерть другого, тоже достойного человека, хотя бы это и был его друг.

— Да, мы так утверждаем.

— Значит, он не станет сетовать, словно того постигло нечто ужасное.

— Конечно, не станет.

Платон. «Государство».

LXXIII



ладостный миг облегчения, разрешения от бремени.

Свершилось!

Это *его* сын! Больше не осталось никаких сомнений. Стремительность водоппада, беспощадность коротких, рвущих плоть взмахов. Змеиная гибкость тела, в мгновение ока обретающего твердость гранита. Панцирь «латной кожи», способной противостоять металлу позорного оружия. Возможно ли не узнать фамильные особенности, манеру ведения боя, славу и гордость Хенингского Дома?! Жерар-Хаген смотрел вниз, на новообретенного сына, бьющегося с сыскарями Ловчего, — и видел себя. Прежнего. Юного. Пылкого. Проклятый турнир в Мондехаре не состоялся... все впереди!.. В увлечении наклонясь вперед, граф вдруг, пронзительно и остро, заметил: еще больше, чем отца, юноша напоминал деда, Густава Быстрого. Находка превзошла все ожидания. Пожалуй, малыш даже лучше, чем Жерар-Хаген в его годы. И это — бастард, полукровка, не прошедший Обряда!

Каких же высот достигнет он, когда вырастет?!

Лишь один досадный пустяк мешал до конца насладиться зрелищем. В роду герцогов Хенингских (да и в остальных знатных семьях, известных графу цу Рейвиш) бойцы всегда сражались расчетливо и спокойно. Конечно, рассудок опаздывал там, где спасали лишь наитие тела и навыки, закрепленные поколениями. Но и лишних чувств бойцы не проявляли. Чувства — помеха в поединке. Соринка в глазу. Ярость туманит взор, страх сковывает движения, ненависть толкает к ошибкам, любовь глупа, привязанность ослабляет...

Это общеизвестно. Понятно.

Это знает всякий.

Бастард этого не знал. Не понимал. Ему никто никогда не говорил о вреде чувств. Его не учили биться для победы. И сейчас он дрался без надежды и ясного виденья цели, с неистовой обреченностью загнанного в угол волчонка. За себя. За отребье, которое по ошибке считал ровней. Наверное, за какую-нибудь шлюху, пригревшую на Дне милого парнишку. Жерар-Хаген скупно усмехнулся. Любовь и дружба, ярость и ненависть, гордость и стыд, отчаяние и безумие. Страшный, оказывается, сплав. Ядовитый. Жгучий. Куда жарче ледяного расчета, что велел юноше бежать, спасая свою жизнь.

Волчонок оказался не по зубам охотникам.

Роды проходили, как положено: в криках и крови.

«Горяч слишком. Но все равно: хорош! Ничего, вырастет — успокоится...» Это было последнее, о чем успел подумать Жерар-Хаген, прежде чем вмешаться. В следующий миг рыцарь с закрытым лицом, раскинув крыльями длинный плащ госпиталяра, прыгнул через парапет.

Из седла.

Вниз. На ступени.

В самую гущу дерущихся.

А Вит ничего не успел сообразить. И сделать ничего не успел. Просто напротив вдруг возникла еще одна *букашка*. Очень большая. Очень страшная. И очень быстрая. Медведь-Якун рядом с ней казался смешным, неуклюжим увальнем. Бешеный вихрь швырнул юношу спиной на тюки; следом, обгоняя падение, пролетел мимо берет с вуалью, с дырчатой личиной, и над Витом нависло лицо, сквозь которое проступали знакомые черты *букашки*.

Такой же, как его собственная.

Только взрослой.

Руки и ноги зажаты в стальные тиски. Не вырваться, не шевельнуться. Паутина сомкнулась вокруг прочным коконом. Паук настиг добычу.

— Бегите! К мейстеру Филиппу! пусть он...

Колокол в затылке.

Темнота.

Жерар-Хаген легко подхватил на руки обмякшее тело сына. Конечно, дурачок считает: его схватили за убийство мытаря. Ни к чему, чтобы он орал об этом на весь порт. Пусть лучше молчит. Граф несколько не беспокоился за потерявшего сознание Витольда. Он точно рассчитал удар. Мальчик очнется через три-четыре часа уже в доме Дегю. Излишне торопиться везти его в замок. Надо дать время освоиться, привыкнуть к новому положению.

Роды состоялись.

Теперь у графа Рейвишского есть сын.

Но для того чтобы бастарда признали полноправным наследником, следует предпринять еще кое-какие действия. Не все из них будут приятными, но все они необходимы. Легенда должна обрести плоть и кровь.

О да, плоть!.. и кровь.

Провидице не дано прозреть собственную судьбу. Матильде Швебиш это было отлично известно. И тем не менее, когда утром она не обнаружила рядом Вита, что-то тревожно кольнуло в груди.

Там, где сердце.

Матильда постаралась отогнать повисшую в келье тень скорой беды. Вит всегда просыпался первым, убегая купаться. Небось и сейчас в море плещется, — уговаривала себя девушка. Себя и зловещую тень. Тень-притворщица послушалась, отступила. Знала, подлая: вернется.

Завтрак Вит прогулял: событие редкое, можно сказать, исключительное. Фратер Августин тоже где-то пропадал, но к отсутствию монаха Матильда уже привыкла. Мейстер Филипп ушел еще вчера, пообещав вернуться к сегодняшнему вечеру — в итоге завтракать пришлось в одиночестве. Сладкий корж с заморскими ягодами (их оставил уходя веселый Костя) не лез в горло. Ну где они все пропадают? Стряпаешь на них, стараешься, а они...

Одно слово — мужчины!

С трудом Матильда заставила себя доесть корж до конца. После чего долго вертелась перед зеркальцем: причесывалась, оправляла платье. Раньше считала, что часами прихорашиваться могут лишь законченные дуры. Однако в последнее время, неожиданно для себя самой, нашла в этом занятии тайную прелесть. С появлением человека, в чьих глазах хотелось выглядеть красивой, глупое занятие разом обрело смысл. Матильда улыбнулась смущенному отражению. Не зря ты Вита в снах видела, наяву им грезила. Нашла! Воистину браки заключаются на небесах. Теперь ваши души слиты-спаяны, неотделимы друг от дружки. Теперь вы всегда будете вместе. И умрете в один день.

Это отнюдь не было поэтическим преувеличени-

ем или горячечной фантазией влюбленной девицы. Матильда Швебиш твердо знала: кто бы ни умер первым — незримые нити, связавшие обоих, увлекут на небеса и вторую душу. Даже смерть не сможет разлучить их!

Девушка протянула правую руку ладонью вверх. Внутри всколыхнулся густой омут, рука озарилась солнечным сиянием — миг, и тяжелая статуэтка лежит на ладони. Душа Витольда. Нет, не душа, конечно — символ души, образ, вместилище... Нет, не так. Нет в человеческих языках правильных слов. Век ищи, не найдешь. Да и нужны ли они — слова?! Тюрьма для истинных чувств и стремлений?!

Очертания статуэтки дрогнули, словно фигурка плавилась в горне-невидимке. Ладонь опять пуста. А под сердцем тает золотой сугроб.

Чудо? Да, наверное.

А разве Любовь — не чудо? Не величайшее из чудес, дарованных Всевышним?

Беспокойство нахлынуло с новой силой. «Кажется, пора извлекать его из моря! Или где он там пропадает? Неужто ему невдомек, что мне плохо без него, что я беспокоюсь?!»

Однако в лагуне Вита не оказалось. Ни следов на горячем песке, ни сброшенной одежды.

— Витольд!

Тишина. Ласковый, убаюкивающий плеск моря. Крики чаек в бездонной голубизне. Ветер треплет волосы, быстро разрушая прическу. Насмешливо посвистывает в ушах: «Ви-и-и-и!..»

— Вит!..

Если в скалы забрался — не докричишься. Может, хоть к обеду явится? Обед Вит еще ни разу не пропускал. А может, он в библиотеке, вместе со святым отцом? Грамоте учиться? Подобрал подол платья, чтобы не изорвать о колючки (раньше такое и в голову не пришло бы!), девушка заторопилась обратно.

Усталый, неохотный скрип двери. Навстречу шагнула пыльная тишина, пронизанная косыми лучами солнца. Налойный столец завален книгами, свитками — словно чтец отлучился на минутку. В углу теплится лампада. Матильда подождала немного, сосчитав до ста. Перелистала жесткие пожелтевшие страницы. Взгляд скользил поверх причудливых завитушек, не проникая в смысл написанного.

Стало ясно: никто сюда не придет.

Она обошла всю богадельню, от рефектория до капитула, где амфитеатром выстроились ряды скамей для братии, а на отдельном возвышении располагалось кресло отца-настоятеля. Под конец заглянула в базилику, постояла перед девочкой, безмятежно сидящей в прежней позе... В прежней ли? Казалось, что-то неуловимо изменилось в ребенкестатuae. Чуть-чуть, самую малость — сразу и не скажешь, что именно.

Очень хотелось спросить у девочки: не знаешь, где мой Вит? Не спросила. Испугалась: девочка шевельнется. Откроет глаза. Спросит строго: твой Вит? Где твой — не знаю, зато мой...

Матильда тихо вышла, прикрыв за собой дверь.

Есть способ.

Никогда раньше не подводивший свою хозяйку.

Все необходимое нашлось без труда. Воск для такого гадания не подходит. Зеркало? Орехи? Да, только не порознь — вместе. Две свечи по краям стола. Зеркало — в створе. Чтобы глядеть на него через пламя и видеть одновременно второй огонек позади. Пальцы долго катали, перебирали сухие шершавые орехи в корзине. Бросок! Так игрок мечет кости, ставя на кон последнюю монету. Азарт? отчаяние? надежда?! — нет. Холодная отрешенность.

По-другому — нельзя. Не получится.

Дробный стук орехов — как гром копыт. Орехи катятся, замедляясь, застывая в правильных, един-

ственно возможных местах. Если хоть один упадет со стола... Не упал. Взгляд раскрывается, охватывая всю картину разом, проходит сквозь пламя — и валится в холодную глубину зеркала.

Тонет...

...Хенинг. Уносятся назад дома, улицы, стены с башнями — словно птицей летишь. Вот и городские ворота позади. Раскисшая дорога, по обочинам — снег. Грязный, ноздреватый. Нагие пригорки. Будто плещи в обрамлении редких жухлых травинок; к небу тянутся голые ветви кустов. Впереди — село. Дорога ныряет вниз, под гору, мимо стоящего на отшибе двухэтажного дома — к реке. Спуск. Гнилые, черные зубы льдин: у берега лед подтаял. Дальше зябко плещет вода.

Женщина с двумя ведрами оскальзывается. С трудом удерживает равновесие. Ставит одно ведро рядом, намереваясь зачерпнуть воды вторым. Наклоняется... За спиной — шаги. Торопливые, крадущиеся. Двое. Фигуры людей странно смазаны, в размытых силуэтах чудится что-то до боли знакомое... Нет, не разглядеть. Тем более что оба уже рядом с женщиной. Подошли сзади, один заносит тяжелый кулак для удара...

Они убьют ее!

Оглушат и бросят в реку, чтобы все подумали, будто она поскользнулась и утонула в стылой воде. Все именно так и решат, никто не захочет искать убийц, никому и в голову не придет... Стойте! Не надо! Не трогайте ее! Голоса нет. Они не слышат, не слышат... Кулак рушится молотом. Короткий, глухой удар. Плохо видно, что творится у воды. Двое наклоняются, поднимают грузное, обмякшее тело — и кто-то третий, чьими глазами смотрит Матильда, бросается вперед со стремительностью, недоступной человеку. Широкие спины убийц скачком прыгают навстречу,

время замирает в испуге, каждое мгновение длится целую вечность...

Темнота.

Матильда обессиленно уронила голову на руки. Не впервой заглядывать в минувшее или грядущее. В настоящее получалось редко. Знала за собой такую особенность, давно знала. Но почему она не увидела Витольда? Пусть это будущее... или прошлое? Почему?! Озарение пришло внезапно. Девушка вздрогнула. Она видела! Вит находился там. Просто отныне они с Витольдом — единое целое. Она видела *его глазами!*

Убийство чужой женщины приближается! И Вит будет там.

Когда? День, два, неделя?

Дверь открылась. В трапезную шагнул мейстер Филипп, на ходу примеряя самую нарядную улыбку. Единственный взгляд, брошенный Душегубом на девушку, — и улыбка погасла.

LXXV

...они убьют ее! Стойте! Не трогайте...

Сперва Вит долго не мог понять: кончился кошмар? длится? Не надо больше таких снов! — взмолился он про себя. Во сне двое лихоедеев убивали мамку! Или не мамку? На краткий, полный ужаса миг почудилось: у реки, опрокинута ударом в лужу талого снега, — Матильда. Ох, спаси и сохрани! Тильда в богадельне, там ее никто не тронет, там добрый мейстер Филипп... Память оживала: стремясь упредить беду, Вит ринулся, готовый разорвать вражин в клочья, — и ухнул в полынью. Успел? Нет? Медное эхо заставляло сердце трепетать щеглом,

угодившим в силки. Не хватало слов, зато фратер Августин, скорее всего, назвал бы это чувство «обреченностью».

Знобило, на лбу копился ледяной пот. Еще ныл затылок — не сильно, чуть-чуть. Память ожила полнотью, вернув драку на набережной. В упоении боя, спасая друзей (то, о чем мечталось!), ломая и круша фигуры из песка, вдруг поверилось: смогу! Уйду, разорву проклятую паутину, вернусь к Тильде...

Значит, не ушел. Взяли, гады.

Значит, он в темнице.

Живо представилась тюрьма. Склизкие стены, гнилье соломы на каменном полу. Вонь, крысы, лязг засова — и горстяник Мертен, явившийся за узником, чтобы препроводить в пыточную. Вит зажмурился изо всех сил, пытаясь отгородиться от страха, ждущего по другую сторону плотно сомкнутых век. Вспомнились тьма, одиночество и боль: так случилось ночью, когда он лег спать, спрятав под подушку треклятую «дульгедию». Но боль Искупленья оказалась терпимой — наверное потому, что Вит терпел и мучился один. Святой отец сказал правду: в аду никого не было. Просто ночь, боль и ты сам. Ад — это совсем не страшно.

Зато в темнице... палачей набегит, дознатчиков...

Тянуть время, ожидая от судьбы кукиш? Вит осторожно шевельнулся и обнаружил, что не связан. Ни веревок, ни кандалов. Уже хорошо. Лежит на мягком и гладком. Гнилая солома? — вряд ли. Не похоже ни капельки. На всякий случай принюхался. Запах горящих свечей. И еще — странный, но приятный аромат: фиалки?

Глаза открылись сами собой.

Подумалось: сплю. Только кошмар закончился, и начался совсем другой сон. Добрая сказка. Может, помер? в рай попал?! — грехи-то «дульгедией» искупил! Куда ж теперь, если не на небеса? Или по

новой нагрешить успел? Ох, парень, успел! С Тильдой без венца живешь, людей в песочных пальто зашиб крепко! Или когда друзей защищаешь, — это и не грех вовсе?

Отложив трудный вопрос на потом, Вит принялся осматриваться.

Лежал он на кровати. На матерой кроватище, под тяжелым балдахинном с кистями по краям. Минут пять любовался вышивкой: рычат львы, похожие на дядьку Штефана... благородные рыцари давят зверюг голыми руками... дамы рукоплещут... Красота! Гладкое и мягкое на поверку оказалось дорогушей тканью. Кажется, ее «атасом» называют. Или «атласом»? Рядом валялась скомканная перина — видать, во сне ворочался и сбросил. Э, да он же голый! Одежу забрали, гады!

Чтоб не сбежал.

Взгляд заметался по комнате — шелковая обивка стен, лепнина потолка, канделябры из бронзы... Ук-рали, пакостники! Сперли! Кожух, новый совсем... шапка!.. башмаки!!! Спрыгнув с кровати, Вит охнул: ступни утонули в мягком ворсе ковра. У окна, отнюдь не забранного решетками, на сундучке валялся знакомый кошель. Набитый под завязку. Ф-фух... вот ведь дурачье! Взять одежду, а деньги оставить! От таких сбежать — пустяки...

Деликатный стук в дверь. Даже не успев как следует обрадоваться, юноша мигом юркнул обратно, натянув перину по уши.

Зайдут, а он — в чем мать родила.

Стыдоба!

— Проснулся ли молодой господин? — осведомились снаружи.

В горле пискнуло:

— Я... я это... Ага!

Еще в октябре Вит непременно принял бы вошедшего за самого главного рыцаря. Небось, в нож-

ки пал бы. Однако сейчас от взгляда не укрылись ни граненая булава «массюэль» на поясе, ни особый покрой и расцветка одежды. Обычный слуга. Правда, из челяди знатного дворянина.

Слуга низко-низко поклонился.

— Хорошо ли, молодой господин, изволили почитать?

— Я...

Вовремя пришли на ум братцы Базильсоны. Они ведь тоже его за благородного принимали! Может, и этот?..

— Прикажете начать утренний туалет?

— Да я... — от слова «туалет» не приходилось ждать ничего хорошего. Небось сперва ногти рвать станут. — Мне б штаны...

Бесстрастное лицо слуги изобразило намек на вежливое удивление.

— Молодому господину не подобает ходить в... э-э-э... в его прежних *штанах*. Велите принести достойный наряд?

Вит слегка обиделся за свои щегольские обновы. Однако счел за благо не спорить.

— Ну, несите...

Слуга молча хлопнул в ладоши. Сразу в дверь повалила челядь с ворохом одежек. Умопомрачительный камзол лилового бархата со вставками, пояс, расшитый жемчугом; атасные (атласные?!) панталоны, каких даже у Дублона не было!.. дивная обувка с бантами-пряжками, берет... У Вита зарябило в глазах. Неужели вся эта роскошь — ему?! Нет, наверное, все-таки сон. А жалко. Ведь в конце концов разбудят.

В темнице, под хохот палачей.

— Позвольте, молодой господин...

— Нет-нет! — отчаянно замахал Вит руками из-под перины, едва не порвав ее в клочья. — Я сам!..

— Как будет угодно молодому господину.

Челядь аккуратно разложила одежду на краю необъятной кровати. «Эх, Матильду бы сюда», — мельком подумал Вит, краснея.

— Молодой господин желает еще чего-нибудь? Вина? Ужин?

— Ага, ужин! И побольше!

Едва дверь за слугами закрылась, юноша принялся лихорадочно одеваться, путаясь в завязках, шнурках, пуговичках, крючочках и прочей дребедени. Наряды — загляденье, королю впору; но пока разберешься, что куда цепляется да пристегивается...

Жаль, зеркала нет. Полюбоваться.

— Ваш ужин, молодой господин.

Слуги внесли столик черного дерева, инкрустированный яшмой и серебром. Следом — два глубоких кресла с гнутыми ножками, обитых бордовым бархатом и с вензелями на спинках. Зачем два? Да кто ж этот сон знает! Вит уже устал удивляться. Следом потянулась чередой подносов и блюд, исходя такими ароматами, что юноша чуть слюной не подавился. Он искренне надеялся, что теперь его оставят в покое, дав насладиться ужином, — но не тут-то было!

— Его светлость граф цу Рейвиш! — торжественно провозгласил знакомый слуга.

Вита едва не хватил успевший забыться столбун.

Граф вошел стремительно, но при этом без малейшей торопливости. Слуги разом исчезли, притворив за собой двери; юноша поспешил низко склониться перед его светлостью, а когда осмелился поднять глаза...

Букашка!

Взрослая букашка!

Лицо Жерара-Хагена тронула снисходительная, но вполне доброжелательная улыбка. Мальчик узнал отца. Узнал с первого взгляда. Значит, все складывается наилучшим образом. То, что должно

быть сказано, следует говорить сразу, без околичностей, прозрачных намеков и прочей словесной шелухи.

— Я рад приветствовать тебя...

Короткая пауза. И давно выстраданное:

— ...сын мой.

Вит машинально взял что-то с ближайшего блюда. Сунул в рот.

Вкуса не почувствовал.

LXXVI

— ...Ух ты! Моя мамка — баронесса? Настоящая?!

— Агнесса ле Шэн. Племянница старого барона Гольфрида. Единственная, уцелевшая после мятежа Карла-Зверя.

— То-то она никогда... Я спрашивал, а она — молчок! Хитрюга! Конечно, скажи такое...

За время рассказа графа Вит, от робости и смущения, выхлебал целый кубок вкуснящего вина. Помогло. Смущение ушло без возврата. И впрямь, чего робеть перед собственным папашей?! Ведь если отец — граф, значит, и он, Витольд (полное имя впервые показалось красивым), — графенок! Или графин. А слово «бастард» в устах новоявленного родителя звучало совсем иначе, чем «байстрюк» или «ублюдок».

— Я очень рад, что нашел тебя, Витольд. Когда-нибудь ты поймешь мою радость. Послезавтра мы уедем отсюда в мой замок... В *наш* замок. Ты пройдешь Обряд, займешь свое место в Хенингском Доме...

Сказка продолжалась. Подумать только: совсем недавно сделаться подмастерьем у булочника было для Вита пределом мечтаний! Затем — Дно, друзья, Матильда... Лучшего и желать нельзя! Оказалось —

можно. Мейстер Филипп, благородные забавы с Базильсонами, первая ночь с Тильдой... И вот: новый подарок судьбы! Его отец — граф цу Рейвиш! Любимые мечты меркли по сравнению с головокружительной высотой, на которую Вит сейчас вознесся. А не убил бы мытаря — по сей день бы в Запрудах овец пас!

Вот оно, счастье! Привалило — так уж привалило!

Но черная тень беспокойства маячила рядом. Мешала до конца насладиться удачей.

— Ваша... ваша светлость...

— Зови меня отцом, Витольд. Привыкай. Особенно когда мы наедине.

— Ага... А мамку мою... баронессу, значит!.. Вы ее тоже в замок заберете? Мы теперь вместе жить станем?

Жерар-Хаген едва заметно нахмурился. Огладил пальцем подбородок, не спеша отвечать. Тень надвинулась, выросла...

— Не все так просто, Витольд. Я ведь женат. Давно. Я не могу привести в замок другую женщину. Ты уже большой: надеюсь, ты поймешь меня.

Вит прекрасно понял графа. Попробовал бы, к примеру, Гастон Рябушка, муж тетки Неле, другую бабу в дом привести! Разом бы и ухватом огреб, и бердышом, и всем, что под руку попало! Месяц бы охал да отлеживался! Вот и граф своей графиньки страсть как боится.

Чего ж тут непонятного?

— ...ты — иное дело. Я встречался с твоей матерью еще до женитьбы. К сожалению, моя супруга бездетна. Тебе она обрадуется. Что касается твоей матери...

Голос графа слегка дрогнул, и юноша радостно встрепенулся. «Любит он мою мамку! До сих пор любит. Не бросит ее, поможет!»

— ...пусть поживет в деревне. Месяц или два. Потом я куплю ей дом в городе.

— Ме-е-есяц... — протянул Вит, угасая.

И разом — пропала комната, пропал граф Рейвишский, все пропало. Те двое — как живые, перед глазами. К мамке сзади подкрадываются. Сон? Явь? Бред? Или он с ума сходит?

— Сон мне дурной снится, отец.

Само вырвалось. Глухо, будто издалека. Едва собственный голос узнал.

— Сон? — из такой же дали. — Дурной? Будто у тебя в руках позор оружия? Пустое, сынок. Он и мне снится. И другим. Мерзкий сон, согласен.

— Не про оружие! Про мамку мою!..

Те двое совсем близко подошли. Один кулак занес. Скорее остановить их! расшвырять! мамку спасти! Только ноги мертвые, чужие.

— ...убивают ее, отец. В речке топят. А вдруг — вещий сон? Может, поскорее ее... в город?!

Не видит Вит лица графского. А зря. Или наоборот: хорошо, что не видит. Побледнел вдруг граф. Выпрямился. Подвело на миг хваленое фамильное хладнокровие. Откуда?! Ведь никто не мог, ни словом... Шатнулась комната перед Жераром-Хагеном. Все вокруг плоским сделалось, ненастоящим. Нарисованным. Бегут по картине-комнате трещинки-кракелюры¹. Вот-вот осыплется старая краска, обнажая холст... Или — иную картину, скрытую под привычной обыденностью? Что там, под слоем ветхой краски бытия, мнившегося незыблемым, а на проверку оказавшимся столь хрупким? Может, тот неправильный, богопротивный мир, где руки дворян отягчены позорным оружием?

¹ Кракелюры — трещинки, которые со временем образуются на написанных маслом картинах. В частности, по кракелюрам эксперты определяют подлинность картин старых мастеров. Впрочем, кракелюры можно и подделать искусственно.

Прочь, наваждение, прочь!

...Кукла!.. хочу!..

Комната разбежалась в стороны, обретая прежние очертания, глубину и объем. Минуло всего какое-то мгновение — но у Жерара-Хагена, сына Густава Быстрого, были свои отношения со временем.

Морок?

Знамение?!

Отвернувшись, чтобы не увидел Витольд, Жерар-Хаген украдкой вытер пот со лба. Взял себя в руки. Пустяки. Это от неожиданности. Нужно что-то ответить мальчику. И завтра же послать за Ловчим. Следует торопиться.

— Сон есть сон, Витольд, — удручала фальшь в голосе, но справиться с ней не удавалось. Рыцарям из Хенингского Дома редко доводится осквернять уста ложью. — Твоя мать в безопасности. Кому понадобится ее убивать? Мятежник Карл ле Шэн давно мертв. Я лично покарал его. Но, если хочешь, я распоряжусь, чтобы подобающий дом присмотрели в течение двух недель.

— Спасибо, отец!

Вит счастливо улыбнулся. Все будет хорошо! Отец позаботится о мамке.

— А теперь — отдыхай. Спокойной ночи.

От плотного ужина, вина и обилия событий Витом овладела сонливость. Валясь на кровать, он еще успел подумать, что теперь-то уж точно лучше быть не может! Главное: мамку из Запруд забрать да на Матильде жениться, и тогда...

...они убьют ее! Стойте! Не надо!.. не трогайте...

Трижды за ночь он просыпался от собственного крика.

— Не может быть!

Душегуб нервно мерил (...*скрип пера; летящие росчерки — птицы...*) трапезную шагами. От стены к стене. В узких окнах билась агония заката, пятная бликами — кровь! охра! каленая медь! — одеяние мастера. Матильда впервые видела обычно невозмутимого Филиппа ван Асхе в таком расстройстве чувств. «Не может быть!» — раз за разом, словно молитву или заклинание, повторял Душегуб, а мысли его тем временем вертелись мельничным колесом, угодившим в стремнину паводка.

Фратер Августин, бывший товарищ по Саламанке, не уставал изумлять однокашника. Бросив перевод на середине, он заговорил на праязыке, общается с запретным для остальных Бурзоем Первым. И при этом избежал Изменения! Остался прежним монахом со своими косными взглядами на общество, Бога, душу и тело...

Упрямство цистерцианца оказалось воистину адским!

Мейстер Филипп хорошо представлял: какие муки испытывает сейчас монах. Как неодолимо тянет его закончить работу. Но... Коса нашла на камень! От Мануэля де ла Ита, сумевшего за одну ночь искупить грехи четырех поколений отравителей, можно ждать чего угодно. Допустим, человек с такой железной волей сумеет устоять против зова «Панчатантры». Последствия частичного Изменения грозили стать опасными. Фратер Августин открыл портал. Покинул богадельню вместе с мальчишкой. Где их теперь искать? Душегуб в портале способен выйти лишь из той двери, которую хоть раз открывал раньше, как обычную дверь. Но монах оставался загадкой. Его могло занести куда угодно...

— Они в Хенинге.

Душегуб споткнулся на ровном месте. Едва не упал.

Обернулся к Матильде:

— Ты уверена?

— Да. Они в Хенинге. Или где-то рядом. Я пыталась их увидеть... Вернее, не их — Вита.

— Увидела?

Мейстер Филипп присел на (...*зеленый высверк в глубине чащи: зверь...*) скамью рядом с девушкой. Задержал дыхание.

— Увидела. Я покажу.

Матильда Швебиш решительно вскинула голову. Поймав чужой взгляд на лету, словно сокол — голубя.

И Филипп ван Асхе увидел.

Потом они сидели и молчали. Долго.

— Это мать Вита, — выговорил наконец Душегуб, растеряв все свои улыбки. — Там, на речке. Село Запруды, к северо-западу от Окружной. Когда это случится?

— Не знаю, — беспомощно развела руками пророчица. — Но Вит придет к этой реке.

— Тогда сейчас он в Хенинге. Я найду его, Матильда. Обещаю.

— Я буду ждать, — голос девушки был тихим и отрешенным, но от этой отрешенности мороз пробирал по коже. — Я буду очень ждать. Да поможет вам Бог. Возвращайтесь вместе с ним.

— Мы... мы вернемся вместе...

Мейстер Филипп уходил, не в силах оторвать глаз от лица ясновидящей. Пятился. Натыкался на скамьи и столы.

— Мы вернемся...

Матильда смотрела, как он спиной распахнул дверь трапезной. Шатнулся, почти упал в зияющий портал. Дверь мягко закрылась.

«Все будет хорошо, — уговаривала себя девушка. — Вит в Хенинге, мейстер Филипп его отыщет.

Приведет обратно. Чего это я, дура, разволновалась?»

Однако заноза в груди жгла по-прежнему. Морочила: стены пошли мельчайшими трещинками, превратились в мозаику. Яркую, цветную... плоскую. Так уже было! было! в базилике, во время Обряда!.. Сладкий ужас: конец всему знакомому, привычному... Значит, начало новому?! Что спрятано под осыпающейся фальшью штукатурки? Скажите! я хочу знать! Не оттуда ли приходят сны, мечты и прозрения? Быть может, именно там все происходит по-настоящему, а мы лишь спим, изредка ловя дальние отголоски настоящей жизни? Где Витольд Бастард возвращается в Хенинг, одетый в сверкающий доспех, с мечом на поясе, во главе отряда рыцарей...

Наваждение качнулось. Застыло в неверном равновесии. Сейчас, сейчас осыплются витражи иллюзий! У Матильды перехватило дыхание от страха и восторга... И все кончилось. Темная зала трапезной, пыльные окна, закат сгорел дотла, огонек свечи мигает на столе — вот-вот погаснет.

Сладкий ужас засыпал в норе сердца.

Рядом с золотой душой Витольда.

LXXVIII

— ...ага! Запомнил я его, хозяин. Тот самый парень. Я ему: чего без оружия шляешься? Появят ведь! А он все вас спрашивает. Мимо меня в дом — шашь! Простите, хозяин, недоглядел.

— Он здесь?!

— Не-а, ушел. Я ему сказал: вечером пусть заглянет. Мол, вернуться обещали. Как бы его стража не забрала — без оружия, без грамотки...

— Ладно, Птица. Вели кухарке ужин готовить.

Пусть в кабинет подаст. А если тот парень придет — ко мне без промедления.

— Ясно, хозяин.

Птица тяжело затопал в сторону кухни, а мастер Филипп поднялся наверх. Оставалась надежда, что Витольд объявится сам. Если же нет... Начинать поиски на ночь глядя не имело смысла. Найдется, куда он денется... Небось на Дно, к приятелям удрал. Хвастаться.

Мейстер Филипп улыбнулся.

Этой улыбкой он пользовался редко, храня ее для себя.

Хвастаться есть чем. Опыт удался. Теперь *psyche* Витольда питает, усиливая пророческий дар Матильды, и девушке не надо тратить жизненные силы *physis*. А Витольд, прекрасно развиваясь телесно, в будущем наверняка избежит потери интереса к жизни, которому подвержено большинство дворян в зрелом и преклонном возрасте. Ведь *psyche* юноши жива, хоть и удалена от изначального *physis*. Разумеется, за детьми потребуется дополнительное наблюдение. Но результаты уже налицо. Надо будет представить их на Совете Гильдии и сообща обсудить открывающиеся перспективы.

Душегуб поджал губы. Спрятал улыбку до лучших времен.

Гораздо больше его сейчас волновал монах. Возможность узнать побольше о Бурзое, легендарном основателе Гильдии, выглядела чрезвычайно соблазнительной. Но с другой стороны... Раньше любой избранник, проникший в тайны Гильдии, неизменно становился своим. А с фратером Августином вышло иначе. Это пугало. Например, никто не брал с монаха слова молчать о богадельне. К чему отягощать клятвами того, кто скоро будет молчать просто по велению сердца?

Способен ли цистерцианец при его дурацкой честности наболтать лишнего?..

— ...Ваш ужин, господин.

Кухарка принялась расставлять тарели и судки. Отвлекая от размышлений. Напоследок мейстер Филипп успел подумать, что монах, скорее всего, отправился в родную обитель. Отыскать его проще простого. Другое дело — подвинуть упряма к завершению перевода...

— ...ох, страсти-то какие! — квохтала меж тем кухарка. Сусло сплетен вздымалось в женщине, переливаясь через край. Хозяин молчит, не бранится, значит, можно дать волю языку. — В порту сыскарей магистратских прям-таки в куски! В клочья! Говорят, бес вселился!

— В сыскарей? — вяло отозвался мейстер Филипп.

И только когда вопрос — ленивый! пустой! — уже слетел с губ, сердце вдруг екнуло в груди. С этого момента рассеянный взгляд обрел цепкость кошачьих когтей, и Душегуб стал слушать очень внимательно.

— Да нет же! В парнишку одного! — Кухарка прямо расцвела. Впервые господин проявил интерес к ее рассказам. — Сыскарей, говорят, зубами грыз! Будто зверь лютый!

— От кого слышала?

— От Клары, служанки доктора Гауфа. Клара де-вушка честная, врать не станет! Драка, значит, кровища, а тут, откуда ни возьмись — рыцарь. Скрутил бесноватого, в седло закинул и увез. В тюрьму небось. Или к святым отцам, чтоб беса сперва изгнали. Перед казнью. И поделом, поделом! Будет знать, как людей при исполнении...

Скрип двери оборвал тираду.

— Гости к вам, хозяин.

Птица Рох выглядел сильно озадаченным.

— Что за гости? — слегка приподнял (...*флорин луны в разрывах туч...*) бровь мейстер Филипп.

— Двое. Велели сказать: братья Йост и Григор ван Раух. Да вы их знаете, хозяин. Впустить? Или... «Или» прозвучало не слишком уверенно. Мейстер Филипп прекрасно понимал — почему.
— Впусти их, Птица.

LXXIX

— Во-первых, мы должны поблагодарить вас, мейстер Филипп.

Кресла в кабинете явно не предназначались для подобных гостей. Малый Втык (он же Григор) с трудом втиснулся между подлокотниками, а колени Большого (он же Йост) после принятия сидячей позы задралась к подбородку.

— В свое время вы предупредили нас насчет мальчишки. И оказались совершенно правы. Лучше держаться от него подальше. Целее будешь.

— Я рад, что смог оказаться вам полезным. — Мейстер Филипп наконец отыскал в закромах подходящую случаю улыбку. С некоторым усилием водрузил ее на лицо. — Говорят, сегодня в порту далеко не всем... э-э-э... повезло уцелеть?

— Да, — глухо рыкнул Малый Втык. — Малец народ клал: штабелями. Только куда ему с орденским рыцарем тягаться!..

— Вы случайно не знаете, кто этот рыцарь?

Вопрос прозвучал совершенно невинно, но оба Втыка помрачнели.

— Нас там, слава богу, не было, — отрезал Большой. — Говорят, что рыцаря сопровождал юстициарий цу Рейвиш. Остального не знаем и знать не хотим. Однако мы явились к вам не только для благодарности.

— Разумеется, разумеется! Я прекрасно понимаю: столь занятые люди не стали бы тревожиться

по пустякам. Может, глинтвейна с пряностями? На улице сейчас сыро...

Две здоровенные лапы осторожно, словно боясь раздавить, взяли предложенные кубки. Два лица одинаково сосредоточились, смакуя напиток. Два кивка: Втыки оценили угощение по достоинству.

— Перейдем к делу, мейстер Филипп. Вы обещали вернуть нам девицу по имени Матильда спустя месяц. Однако минуло гораздо больше времени, если нам не изменяет память.

— Совершенно верно. Увы, я не рассчитал...

Душегуб картинно развел (...*река вскипает серебром форели...*) руками.

— Вы провели Обряд?

— Конечно! И замечу, с успехом.

— Отраднo слышать. Но еще больше нам хотелось бы увидеть девицу собственными глазами. Как только Матильда Швебиш вернется под нашу опеку, мы готовы оплатить ваши услуги. Уверены: оплата вас более чем устроит.

— В этом я никогда не сомневался, уважаемые! Никогда! Однако мне нужно еще некоторое время. Я хотел бы понаблюдать за девицей...

— Вы обещали вернуть девицу через месяц, — Большой Втык говорил тихо и равнодушно. Это очень напоминало показное равнодушие волка, который отворачивается, прежде чем вцепиться в горло. — Вы не выполнили обещания. Мы хотим видеть Матильду Швебиш *немедленно. Я понятно выражаюсь?*

— Вполне, — Филипп ван Асхе тоже перестал улыбаться.

Большой Втык с хрустом разогнул затекшие ноги. В упор посмотрел на Душегуба.

— И все же позволю себе внести дополнительную ясность. Со времени вашего исчезновения — заметим, весьма странного! — нас стали преследовать мелкие, но досадные недоразумения. Коих не

происходило, пока девица была при нас. Мы с братом люди терпеливые. И не очень суеверные. Но всякому терпению есть предел. В противном случае недоразумения начнут происходить с неким господином, легкомысленно отнесшимся к обещаниям. Очень досадные недоразумения. И не столь уж мелкие, надо сказать. Причем оному господину и жаловаться-то будет не на кого, ибо его самого никто и пальцем не тронет.

— Вы очень ясно выразились, любезный Йост. Я прекрасно вас понял. Но мне хотелось бы изредка навещать девицу. Ее случай довольно сложный...

— А разве кто-нибудь собирается вам в этом мешать? — искренне удивился Большой. — Вы сможете навещать ее в любое удобное для вас время.

— В таком случае я не вижу никаких причин для досадных недоразумений между нами. — Мейстер Филипп счел возможным вернуть на лицо улыбку. — Дня через три-четыре...

— Завтра утром.

Это было даже не требование. Это было утверждение.

Незыблемое и непререкаемое, как гранитная скала.

— Утром девица должна быть у нас. Надеемся на вашу рассудительность, мейстер Филипп. Иначе с завтрашнего дня начнутся напоминания. Весьма и весьма настоятельные.

Лапы братьев сжались, комкая олово кубков.

Вино на полу пахло корицей и имбирем.

LXXX

В келье царили сумрак и разлад души.

Слабый огонек лампы едва теплился, задуманно мерцая в углу. Сейчас фратер Августин чувствовал себя таким же лепестком пламени, готовым

погаснуть в любую секунду. Он знал, что в состоянии уйти. Когда угодно. Открыть дверь и шагнуть в портал. Покинуть одну обитель, чтобы оказаться в другой: море, чайки... библиотека... книги поверх налойного столыца... поющая в сердце мелодия языка...

«А кармелит мерзнет в будке привратника. Наедине с холодом, гордыней и грызущим плоть червем. Устав предписывает обязательность труда... Вот он и трудится. Если бы не Обряд, он наверняка прорвался бы в Гильдию. Стал бы Душегубом. Он хочет, но не станет; я не хочу, но... Быть не ведомым, а водителем. Вести... направлять. А я?! Чего на самом деле хочу я?! Сдохнуть я хочу...»

Монах подошел к лампаде, заглянул внутрь. Масла еще вполне хватало, но на фитильке налипла гарь — оттого и мерцал охристый язычок, гоня по стенам суматоху теней. Цистерцианец взял лежавшие рядом бронзовые щипчики. Аккуратно, чтоб ненароком не потушить, очистил фитилек от нагара. Пламя облизнулось, вспыхнуло веселей, давая ровный, уверенный свет.

Болело сердце. Там тоже скопился нагар, требуя очищения. Каким образом? Это известно любому истинно верующему, даже мирянину. Фратер Августин привычно опустил на колени. Сложил руки перед грудью:

— Господи, на Тебя одного уповаю, к Тебе обращаю мольбы свои, к Тебе взываю: не оставь меня, недостойного, в трудную минуту, поддержи и укрепи, наставь на путь истинный! Слаб человек и грешен, и я не сильнее и не праведнее прочих — ведомо то Тебе...

С уст слетали правильные слова, превращаясь в фальшь, в ложь, в пустое сотрясение воздуха. Не было отклика в сердце. Не было отклика свыше. Медлило раскаяние. Опаздывало вдохновенье — песнь души, готовой устремиться к небесам. Совсем

иначе цистерцианец молился в богадельне, когда молитва в базилике дарила чувство давно забытой, ничем не замутненной радости.

Не было даже покоя и умиротворения, бывало, нисходявших на него здесь, в обители, после вечерни.

Взамен пришел страх.

Что с ним творится? Отчего Всевышний отвернул лицо Свое? Ответ был. Страшный, но единственно возможный. Он недостойн. Его вера пошатнулась. То странное, чему нет названия на языках человеческих, что происходит внутри бедного инока, не оставляет места для веры. А пустоту исподволь занимает чужак — крепнет, растет, наливается силой...

Он меняется.

С того момента, как впервые сел за перевод «*Directorium vitae humanae*» по просьбе мейстера Филиппа. Прекратив работу, на самом деле он продолжает этот путь. От себя не уйти. Мысли путались, слова сухими комьями застревали в горле. Фратер Августин угрюмо поднялся с колен. Руки дрожали. Стены кельи впервые за много лет давили, пригибали к земле, к холоду каменного пола. Ложе показалось жестким. Чужим. Тянуло выйти прочь из кельи, из монастыря, вдохнуть свежего, морозного воздуха...

Нет.

Без разрешения босого кармелита — ни шагу за дверь.

Ты обещал.

Сон долго бежал монаха. Перед глазами бродили диковинные, размытые образы, слышались птичьи голоса... Потом словно что-то толкнуло изнутри. Цистерцианец ощутил, как ноги сами несут его к двери. «Слово! Я обещал!..» — безмолвно кричала некогда стальная воля, осыпаясь ржавой окалиной. Но этот немой крик ни на миг не задержал беглеца. Дверь распахнулась настежь. За ней пульсировал

портал, и фратер Августин знал, куда ведёт эта дорога.

Всего один шаг — и вот он уже переступает порог библиотеки в богадельне.

Оставленные на столце манускрипты ждали его. Перо! чернильница! чистые листы пергамента! — рука с пером легко скользит над желтоватой хрупкостью страниц, шуршат перелистываемые фолианты, и слова, единственно верные, ровными рядами, как бойцы в строю, ложатся на лист, дабы быть запечатленными — навсегда, навеки! отныне и до скончания времен... Праязык, язык зверей и птиц, язык всего сущего, пел в сердце, рвался наружу, и фратер Августин внимал песне. Текст звучал внутри его на всех языках сразу, сливаясь в величии единства, и дух искренности снизошел на цистерцианца. Вдохновение, перед которым меркла возвышенная радость общения с Творцом, и тихий покой вечерней молитвы перед сном, и... Силы монаха удесятерились, он твердо знал, что непременно пройдет избранный путь до конца, сегодня и сейчас, в эту волшебную ночь знания и вдохновения...

А потом последний исписанный лист лег на стопку себе подобных. И оглядел новый Душегуб дело рук своих, и понял он, что это хорошо. Бывший монах улыбнулся самому себе загадочной улыбкой. Обессиленный, рухнул в ближайшее кресло. Веки смежились, и крепкий сон объял его...

Он снова видел Башню. Вавилонский Столп, о коем шла речь в Писании. Идеальное общество, где каждый знает свое место, где стражи бесстрашны и могущественны, но не способны поднять руку на сограждан. Защита и покровительство, стена вокруг мира благоденствия и счастья — вот кто они, охрана Столпа и часть Его. Где философы проницали далекие пределы Мироздания, заставляя мельчайшую пылинку служить на благо великой цели. Но, сильные духом и могучие в постижение, они не кичи-

лись, теща гордыню. Отдавая знания на общее благо, в том видели они свое счастье и назначение. А огромная масса черни честно трудилась в поте лица, довольная участью, не ропща и не бунтуя. Ибо, способная пользоваться результатами труда, жила в достатке, несравнимом с достатком современных Августину крестьян и мастеровых.

Гармония и процветание, покой и сила. И множество светящихся изнутри детей, Божьих Младенчиков, как две капли воды похожих на девочку-статую из богадельни. Залог, опора великого Столпа, от земли до звезд, и дальше... выше...

Восторг переполнил сердце при виде этой чудесной и совершенной картины. Вовсе не смущало, что существа, построившие Столп, мало походили на людей. Нет, они также не являлись бесами — ибо бесы не способны к созиданию. Скорее обитатели Столпа напоминали человекоподобных муравьев или пчел... Ну конечно! Прошедшие Обряд! Стремительная угловатость движений, странная выворотность суставов рыцарей. Изуродованная плоть целителей, магов, ясновидцев, не мешавшая, а в чем-то способствовавшая величию разума... Мы идем тем же путем! Мы сумеем воздвигнуть новый Столп! Общество без войн, без болезней, без недобровольных и униженных...

Но Вавилонский Столп все-таки рухнул.

Что случилось однажды, способно повториться.

Отчаяние, обрушившееся на фратера Августина, было столь же глубоким и всепоглощающим, как и испытанные перед тем восторг и благоговение.

Нет! нет!!! Они допустили ошибку! А мы идем правильным путем!.. мы сумеем!..

Он кричал. Кричал на языке, лишь отдаленно напоминающем человеческий. Кричал истово, искренне, исторгая прочь сомнения и страх, исполняясь непреклонной уверенностью...

...проснулся.

...от собственного крика.

В своей келье. На жестком ложе. И на пальцах не было даже следа чернил, которыми он вдохновенно пятнал во сне молчаливые листы пергамента.

Сон! Всего лишь сон!

«Всего лишь сон», — печальным и чуть насмешливым эхом отозвалась тень, сидевшая в углу.

Врач Бурзой, давно умерший основатель Гильдии по прозвищу Змеиный Царь.

«Со мной было так же. Сейчас ты знаешь, хотя еще не проникся. Но однажды все случится на самом деле. Ты проснешься другим человеком. Как я. Я увидел Путь. Я почувствовал и принял его. С тех пор жизнь моя стала подчинена одной цели. Мы похожи. Рано или поздно...»

— Я перестану быть собой?!

«Нет. Но ты поймешь, что надо делать».

«Я все еще сплю?» — хотел спросить фратер Августин у мертвого врача. Не спросил. Однако Бурзой ответил, будто слышал чужие мысли:

«Какая разница? Это не важно. Важно совсем другое. Выслушай меня. Ты первый, кто смог до меня достучаться за все эти века. Может быть, ты сумеешь понять то, чего не понял я перед смертью. Слушай...»

LXXXI

Трудно ли лишить ребенка возможности общения со сверстниками?

Ничуть не трудно. Достаточно забрать дитя из родного дома и перевезти куда-нибудь подальше. Например, в киновию¹ Людей Ответа, оставленную братией во время восстания еретиков-маздакитов.

¹ Киновия — общежительный монастырь с выборным настоятелем, где монахи трудятся на пользу обители, за что обеспечивают пищу, одеждой и т. д.

Море, скалы, чайки, пустые коридоры, солнце на глине внутреннего дворика — и ни малейшего присутствия сверстников. Пищу раз в неделю тайно привозят друзья. Кстати, таким образом ребенок лишается и возможности общения с матерью или сестрами.

Врач Бурзой знал, что делает, забирая старшую из дочерей и покидая Ктесифон.

Через месяц девочка, робея строгого отца, замкнулась в себе. Перестала спрашивать: «А когда мы уедем отсюда?» Уединялась на берегу, часами глядя на волны. Бегала взапуски с ветром. Кормила птиц. Пересыпала в ладошках мелкую гальку. Вязала бусы из ракушек. Строила замки из песка. Бурзой не мешал дочери забавляться в меру возможностей. Но каждый вечер перед сном читал ей вслух отрывки из книги, которую в позапрошлом году сумел украсть из казнохранилища индусов. Часть первая, «Разъединение друзей». Перевод с санскрита на пехлеви. Басни про львов и быков, воронов и змей. И, тайной нитью струясь между слов, в тишине заброшенного монастыря звучал праязык. Девочка слушала, прежде чем заснуть. Никогда не задавая вопросов. Не требуя продолжения; не капризничая, прося другую сказку. Нельзя было сказать однозначно, что же она слышала на самом деле, но отец продолжал читать. Настойчиво. Без усталости.

Трудно ли вынудить ребенка перестать строить замки из песка?

Ничуть не трудно.

Вскоре девочка все чаще сидела на берегу просто так. Ничего не делая. Птицы галдели над самой головой, стараясь привлечь внимание. Ветер тщетно звал пробежаться. Галька блестела под лучами солнца, ожидая прикосновения. Ракушки мечтали стать бусами, теряя остатки надежды. Девочка смотрела строго перед собой, и взгляд одинокого ребенка наливался сухим, шершавым, нечеловеческим сча-

тьем. Словно там, вдали, за горизонтом, старшая дочь Бурзоя видела финал долгого пути. Отдых. Блаженство. Место, названное персами — «парадайза».

Рай.

Наверное, врачу Бурзою было бы труднее, если бы дочь плакала. Требовала вернуться домой. Страдания детей всегда вызывают сочувствие. Страдания собственных детей нестерпимы. Но скрытая музыка пела каждый вечер у постели ребенка. «Разъединение друзей», часть первая. Простые побасенки с простой моралью. Шелуха, под которой скрывалось ядро забытой речи, единой и вечной. Змеинный Царь создавал опору для нового Вавилонского Столпа. И участь, уготованная отцом для дочери, была прекрасней любой земной участи.

Трудно ли заставить ребенка молчать?

Ни капельки.

На исходе третьего месяца девочка перестала говорить. Сперва ушли смешные считалочки и песни. Затем осенней листвой начали опадать прочие слова. Слог за слогом, звук за звуком. Бурзой наблюдал, как дар речи покидает дочь. Делал записи. И у ложа засыпающего ребенка читал по вечерам украденную книгу. Часть вторую, «Приобретение друзей».

Змеинный Царь нуждался в чуде. Более того: он нуждался в поддержке чуда, если оно когда-нибудь состоится. Ежедневной, ежеминутной опоре для невозможного. Однажды, осознав настоятельную потребность возведения нового Столпа, вместе с этим он понял: без чуда, без исходного толчка, Обряд навсегда останется бессмыслицей. Пустой тратой времени. Тупым долотом. А бессмыслицу наполняет смыслом только чудо. Долото точат на оселке.

Трудно ли отучить ребенка двигаться?

Наверное, не трудно.

Но пришло утро, когда девочка не проснулась.

Все-таки старшая дочь оказалась взрослей того предела, за которым уже поздно начинать.

Мертвецы запретны для верного зороастрийца, каким был врач Бурзой до поездки в Индию. Впрочем, после Ночи Постижения, когда врач кричал на языке, лишь похожем на язык людей, запреты потеряли всякое значение. Чайки удивленно ахали, кружась над человеком, киркой пробивавшим могилу в скале. Чайкам казалось, что человек сошел с ума. Ничего подобного. Человек был в здравом уме; человек знал, что он делает и что собирается делать дальше. В конце недели друзья привезли в обитель пищу, и Бурзой уехал с ними в Ктесифон.

Вскоре он вернулся обратно в заброшенный монастырь. Вместе со средней дочерью.

Трудно ли повторить начало опыта, закончившегося неудачей?

Легко.

Знание прошлых эпох пело во враче. Отсекая зараженную часть тела, можно спасти человека. Обрезая лишние ветви, можно добиться пышного расцвета дерева. Сейчас же перед отставным лазутчиком стояла задача куда более сложная, но выполнимая. Истина, сокрытая между строк, наполняла рассудок ясностью. Так ясен для муравья закон постройки муравейника. Закончив перевод «Панчатантры» — настоящий, подлинный перевод! — Бурзой душой постиг значение эллинского слова «атеист». Сегодняшний мир устроен плохо. Неразумно. Желая подвинуть его к лучшему, можно надеяться лишь на чудо. Чудес не бывает, потому что нет Бога. Нет. Нет. Нет... Люди (...люди?!), давным-давно воздвигшие Столп Вавилонский, понимали эту простую истину куда яснее врача-лазутчика. А еще они понимали истину другую: если Бога нет, но он полезен...

Трудно ли сделать Бога?

Ничуть.

Надо взять ребенка. Поместить его в кокон одиночества. И медленно, упорно, день за днем, перекрывать все выходы для творческой энергии¹ *кукол-ки*. Связывая невидимыми нитями — праязык, позволяя ощущать все мироздание в целом, давал допуск к таким нитям. Нельзя рисовать. Нельзя бегать. Не стоит сочинять песенки. Петь их тем паче не стоит. Прочь замки из песка. Бусы из ракушек. Куклы. Безделушки. Музыкальные инструменты. Смех. Плач. Возню со сверстниками. Закрывать окно за окном. Дверь за дверью. Запирать творчество, без которого невозможно само существование детей, в темной комнате безысходности. Внешние проявления бытия — на засов. На запор. На щеколду.

Чтобы однажды сила, скованная стальными об-ручами, пробила себе иной выход.

Из плотской сферы существования человек — наружу.

Там, где взрослый погибнет, дитя приспособится.

Со средней дочерью врач Бурзой дошел до части четвертой, «Утрата добытого». Девочка все чаще сидела без движения, глядя в стену. Если старшая предпочитала берег моря, средняя облюбовала внутренний дворик, у входа в dormitorio. Тонкие губы змеились полуулыбкой, глаза напоминали взгляд статуи. Нарушить ее покой означало совершить святотатство. Ребенок почти ничего не ел. Бурзой заметил: что-то творится со временем. Друзья, приезжая с продуктами, говорили странное. Дни превращались в недели; утро становилось вечером. Врач вспомнил своего отца: последователь зурванитской ереси, старый солдат верил в Зурвана-Изначального, Божество Времени. Зурваниты что-то утверждали о Разделении Трех Потоков...

¹ Энергия — от греч. «energuia», т. е. «действие, деятельность».

Бурзой не сумел вспомнить, что именно утверждали зурваниты.

Девочку укусила змея.

И в скалах стало две могилы.

Забирая из Ктесифона младшую дочь, Змеиный Царь узнал, что в прошлом месяце овдовел. Известие не удивило его. Сейчас уже ничто не могло вызывать в Бурзое чувство удивления. Спокойный и молчаливый, он передал дом двоюродному брату, велел вести дела от его имени. После чего вернулся в обитель, которую давно звал про себя *богадельней*. Он знал, что делает. Он делал то, что знал. И старался не задумываться о лишних вещах.

Трудно ли?.. нет, не трудно.

Легко.

Однажды Бурзой подошел к нише в базилике: именно эту апсиду облюбовала его последняя дочь. Тихо присев рядом, начал читать книгу. Часть пятая, заключительная, «Безрассудные поступки». Закончив, попытался коснуться ребенка рукой. И не смог. Пальцы натыкались на прозрачную, непроницаемую стену. Ребенка больше не было здесь. Священный нашел выход наружу. Бабочка расправила крылья. Узник вырвался. Пленник сбежал. И тайное знание пело в Бурзое — потому что наконец возникла поддержка чуду.

Теперь Обряд начнет работать.

LXXXII

Фитиль лампы дрожал, глядя, как человек говорит с тенью.

Монах — с врачом.

Настоящее — с прошлым.

— И ты выпил яд?

«Да. Откуда ты знаешь, что я воспользовался именно ядом?»

— Знаю. На твоём месте я бы тоже предпочёл отраву. А мы похожи. Нож, пропасть, веревка — не для нас. Но я не знаю другого. Почему ты решил умереть? Ужаснулся содеянному?!

«Нет. Я сделал великое дело. Но я был первым зодчим Столпа. И первым ощутил на себе последствия. Понял: друзья на этот раз не сумеют найти нас, чтобы передать еду. Увидел тайный смысл дверей, любая из которых отныне вела в богадельню. Проник в мысли себе подобных, открыв их, словно книгу. И выпил яд, стараясь исчезнуть раньше, чем мой путь станет доступен другим во всей его полноте. Чтобы иные *переводчики* не проникли в мои мысли. Не повторили сделанное мной. Я ушел, пряча в смерти часть знания. Иначе мое со-знание открылось бы им в свою очередь».

— Почему? Что ты хотел скрыть?!

«Ты видел прежний Вавилонский Столп?»

— Видел.

«Тогда ты поймешь. Для его строителей, кем бы они ни являлись, создание детей-опор не было чем-то особенным. Обычное действие. Как для нас — закладка фундамента. Я сделал из дочери искусственное божество: Ахура-Спэнта, «Обладающую Силой», — чтобы смешной и нелепый Обряд превратился в реальность. Но любой успех можно повторить. Или хуже — превзойти. Строители Столпа поступали именно так. Заблуждаясь в стремлении к лучшему. Плодя «Обладающих Силой» без счета. Для разных целей. Для поддержки разных этажей. Балконов. Колоннад. Для осуществления разных чудес. Столп начал превращаться в дом... дворец... чудовищное смешение элементов. Целое стало исчезать за бесчисленными частностями. Ревнители частностей все хуже понимали друг друга... Когда количество поддерживающих канатов превысило допустимое... когда кони в упряжке рванули в разные стороны...»

— Столп рухнул.

«Да. Великое разделение языков. Единый праязык, ударясь оземь, брызнул осколками. После катастрофы выжившие пытались повторить, воссоздать Столп. Кастовое общество индусов, например. Идеи Платона. Кое-что из учения Зороастра. Но у них ничего не вышло. Требовался Обряд, погребенный и утерянный под лавиной времени инструмент. Способ разделения psyche и physis».

— Я кошунствую, слушая тебя. Горе мне. Продолжай.

«А еще недопустимо было творить Ахура-Спэнта, обладающих личностями: это снова и снова влекло за собой противоречие разрушения. Я оказался прав: высвободив творческую силу невинного ребенка, но лишив ее осознания себя. Нужна слепая мощь. Безличная поддержка. Безразличная рука в небе. *Одна рука*».

— Чего ты хочешь от меня?

«Не знаю. Умирая, я вдруг ощутил, что был не прав. Но я не успел понять: в чем? Узнай это за меня... пожалуйста...»

Фитиль лампы дрожал, глядя, как тень говорит с человеком.

Врач — с монахом.

Прошрое — с настоящим.

LXXXIII

— Здравствуй, красна девица. Тебя ждут.

В дверях стоял веселый Костя. Жаль, сегодня отнюдь не веселый. Глядел мимо: то ли смущать не хотел, то ли еще почему. Матильда, кутая голые плечи в платок, сперва думала спросить: кто ее ждет?

Раздумала.

— Я сейчас оденусь.

...В гулких коридорах богадельни ощущалась су-
ровая торжественность, совершенно несвойствен-
ная бывшему монастырю. Двое миновали внутрен-
ний дворик и направились к зданию капитула.

— Совет Гильдии хочет говорить с тобой, — со-
общил Костя, пропуская Матильду вперед.

В помещении капитула собралось человек двад-
цать. Но в первый миг Матильде показалось, что
людей намного больше. Словно здесь находились
все Душегубы, когда-либо посещавшие богадельню.
И живые, и давно умершие. Костя занял место на
боковой скамье, и Матильда ощутила давление
множества заинтересованных взглядов. Для нее же
Душегубы сливались в единый монолит. Они были
на удивление *одинаковые*, несмотря на разительно
отличающиеся одежды, возраст, манеру держаться.
«Ни одной женщины», — подумалось мимоходом.
Девушка попыталась вспомнить, слышала ли она
когда-нибудь о женщинах-Душегубах. Выходило,
что никогда.

Интересно, почему?

Мысли текли сами по себе, безотносительно к
происходящему вокруг. Наилучшее состояние для
пророчеств. Матильда не испытывала стеснения
или робости. Лишь смутное беспокойство. Легкое,
скорее тень, нежели реальное чувство. Сейчас она
узнает, зачем ее позвали. А действительно, зачем?
Чем она может быть интересна Совету Гильдии?

Место отца-настоятеля пустовало: похоже, в Со-
вете все были равны. Недолго думая, девушка под-
нялась на возвышение и уселась на стул с высокой
спинкой.

— Матильда Швебиш, если я прав? — осведо-
мился некий господин из середины зала, оторвав-
шись от книги, которую перед тем с увлечением
листал. Видом господин напоминал пожилого писаря.
Единственной примечательной деталью была иде-
ально круглая, похожая на нимб, лысина.

Девушка гордо вскинула голову:

— Да, это я. Дочь Гаммельнской Пророчицы и Пестрого Флейтиста.

— Разумеется, разумеется, — закивал в ответ лысый «писарь». — Скажите, пожалуйста: как вы себя чувствуете после Обряда?

— Спасибо, прекрасно.

За время короткой паузы Матильда обвела капитул взглядом. Особым, *наследственным* взглядом. И увидела. Многие Душегубы тянулись к книжным полкам (они здесь повсюду!..); брали свитки и фолианты, листали, делали пометки, ставили на место и тянулись за следующим манускриптом... При этом на самом деле все оставались сидеть на скамьях, тихо переговариваясь друг с другом. А их прозрачные двойники брали, ставили, шуршали страницами, морщили лбы, хмурились...

Книга «писаря» была из тех же инкунабул-невидимок.

— Значит, после Обряда ваше самочувствие заметно улучшилось?

Теперь вопрос задал молодой мавр в чалме. На смуглом лице сверкнули любопытством маслины влажных глаз.

— Да.

— А что вы скажете о ваших... э-э-э... способностях? Ваши... э-э-э... предсказания стали точнее? Даются легче? Или наоборот?

Благообразный толстячок, похожий на располневшего мастера Филиппа, кутался в темно-лиловую мантию.

Матильда задумалась.

— Я вижу яснее, чем раньше. И это дается легче... Но мне кажется: я только учусь. Наверное, со временем...

Девушка осеклась. Умолкла, плотно сжав губы.

«С чего это я перед ними разоткровенничалась?

Собрались тут, глазают... Что я им — кукла? Или зверек дикий? Ничего больше не скажу!»

— Вы... э-э-э... вы продолжайте! — подбодрил ее толстячок в мантии. Но Матильда сидела молча, надувшись, и подумывала о том, чтобы встать и уйти.

— Итак, господа, — обратился толстячок к присутствующим, потеряв к девушке интерес. — Мы убедились, что... э-э-э... *psuche* девицы развивается прекрасно. Без потери жизненных сил *physis*. На нечто подобное и надеялся отсутствующий здесь уважаемый мейстер Филипп. Другое дело, во благо пойдет ли такое... э-э-э... ничем не сдерживаемое развитие? Я имею в виду: для будущих поколений. Разумеется, следовало бы также взглянуть на прошедшего Обряд... э-э-э... отрока. Надеюсь, в скором времени нам предоставится такая возможность. Однако уже сейчас...

— Простите, уважаемый мейстер Энгельберт! Мне хотелось бы увидеть нашу подопечную, так сказать, «в деле». Насколько легко проявляется ее дар?

Мейстер Энгельберт обернулся к говорившему: мрачного вида детине, похожему на разбойника с большой дороги.

Вздернул клочковатую бровь.

— Вы слышали, милочка? Не возражаете?

«Возражаю!» — собралась было заявить Матильда. Но вместо этого согласно кивнула.

— Мы рады, что вы готовы сотрудничать. Не могли бы вы предсказать нам... э-э-э... будущее Гильдии? Возьметесь?

По рядам Душегубов прокатился слабый ропот. Подобного вопроса к провидице никто не ожидал.

— А почему бы и нет? — с вызовом ответила девушка.

— Прекрасно! Тем более что мы никуда... э-э-э... не торопимся, — толстячок двусмысленно хихикнул. — Итак, милочка?

Видение пришло почти сразу. Призрачное пламя охватило зал капитула, сжигая без остатка сидящих в нем людей. Лизнуло стены, потолок, превращая все вокруг в картину с блеклыми красками. Картина трескалась от дикого жара, кусочки настоящего с шелестом осыпались, обнажая старый холст. Вот уже занялась ткань основы. По холсту расползались черные дыры, изображение пеплом осыпалось под ноги, и там, по другую сторону гибнущей реальности, сквозь пламя начал проступать иной, скрытый до поры мир.

Городские стены. Флаги на башнях. Через открытые ворота тянется вереница телег. Ярмарка? Наверное. Но чего-то не хватало в толпе, чего-то очень важного... Еще мгновение — и Матильда вдруг прозрела полностью. Никто не был обременен позорной тяжестью оружия! Протазаны, бердыши, пики, мечи, столь привычные глазу, ставшие едва ли не частью тела любого простолюдина, неотделимые от его облика, — их не было!

Ни у кого.

Взгляд птицей метнулся через стену, рухнул на улицы и площади: везде, везде одно и то же! Нищие и ремесленники, пекари и судейские, писари и слуги — никто не имел при себе оружия. Куда смотрит стража?! Ага, вот и блюстители порядка. В кольчугах, в высоких шлемах-шишаках; старший — с саблей у пояса, остальные — с алебардами. Преисполненные чувства собственной значимости, стражники шли по улице, не обращая ни малейшего внимания на преступно безоружную чернь!

Из-за угла показался всадник. Рыцарь. Народ почтительно расступается, освобождая дорогу. Всадник едет мимо. По крупу коня хлопает длинный меч в ножнах. Она уже видела подобное! Видела! Когда гадала Виту... Взгляд скользит дальше: кривые улочки, черепица крыш. Кого она ищет? Ах

да, конечно! Ей надо увидеть будущее Гильдии, узнать, чем занимаются Душегубы в этом странно искаженном мире. Но почему взгляд раз за разом промахивается, слепо тычась в лица прохожих? Где дома гильдейцев, где они сами, где проводимые ими Обряды?

...Видение медленно меркло.

Слова родились вслепую.

— У вас нет будущего.

Матильда не знала, что творилось в зале за время ее пророчества. А здесь творилось небывалое. Качнулись, бледнея и истончаясь, свод и стены, подернулись рябью, готовые рухнуть, и тайна улыбнулась Совету Гильдии улыбкой, какой не было в их арсенале. А едва Душегубы успели перевести дыхание, едва все стало прежним, привычным, — раздался голос пророчицы:

— У вас нет будущего.

— Как тебя понимать?!

Голос толстячка сорвался, «пустил петуха».

— Я не увидела Гильдии в будущем, открывшемся мне.

Пауза. Замешательство. Гул голосов.

— Рекомендую продолжить заседание Совета без посторонних. Ты свободна, Матильда. Можешь идти.

Она вышла с гордо поднятой головой.

Ни разу не оглянувшись на людей без будущего.

LXXXIV

— Tout de meme¹ вновь прошу fils du comte...²

— Да ладно тебе! Сказал ведь: не гневаюсь!

— ...о снисхождении...

¹ Тем не менее (*старофранц.*).

² Сын графа (*старофранц.*).

— Слушай, тебе что, больше заняться нечем?!

— ...si forз pechiez m'appresset!¹

— Есть хочу! Иди принеси!

Слуга послушно исчез. Вит проводил его взглядом и вздохнул. У чудесной сказки начали объявляться темные стороны. Например, приставучесть челяди. Этот вот слуга со странной гремухой «Камердинер» не мог себе простить, что позволил «fils du comte» одеться самостоятельно. И уже в восьмой раз за утро, сбиваясь на картавое болботанье, каялся. Лез целовать в плечико. Строил глазки. Изгнать его можно было, лишь отправив за чем-нибудь. Лучше за едой. Правда, поначалу хитрый Камердинер пытался увильнуть, норовя окончательно запутать Вита в крючочках и шнурочках. Пришлось грозно нахмуриться.

В итоге стол перед Витом оказался заставлен снедью.

Хоть гостей зови.

Юноша слегка скучал. Что называется, душа не на месте. Хотелось к Матильде. На худой конец сошел бы святой отец: поговорить. Когда привалило счастье и тебе не с кем поделиться радостью, распустить пышный хвост похвальбы — счастье съезживается, комкается, становится плоским. Обыденным. Будто старая картина...

...Кукла!.. хочу!..

Детский голос исчез, едва возникнув. Вит мотнул головой, отгоняя наваждение. Полчаса назад он выходил во двор. Якобы по нужде. Задерживать не стали, чему юноша втайне обрадовался. Значит, правда; значит, стеречь не велено. Но выйти за ворота, на улицу, побоялся. Казалось: стоит покинуть дом новоявленного отца, и обратной дороги уже не найдешь никогда.

Будешь потом локти кусать.

¹ ...как тяжко мучат меня грехи мои! (старофранц.).

Граф обещал зайти после завтрака... там и посмотрим.

Вит привстал: из окна была видна улица. Нет, никого. Хоть бы карета проехала... все развлечение. Случайный прохожий его сперва не заинтересовал. Тощий, сутулый, тот жался к стеночке, поминутно натягивая колпак на зябнувшие уши. Когда грязный плащ распахнулся, сверкнуло двуцветье наряда: красное с синим.

Прохожий, словно почуяв чужое внимание, украдкой огляделся.

Юноша кинулся, распахнул окно настежь.

— Крючок!

Беньямин Хукс — а это был именно проштрафившийся писаришко — подпрыгнул на месте. Меньше всего он ожидал оклика из дома юстициария цу Рейвиш. «Влип! влип!...» — сердце рухнуло в пятки, дробным топотом унося хозяина прочь. Вот думал срезать дорогу... срезал, значит!..

— Стой! стой, дурачина! Эй, кто там! — хватайте его!..

Откуда и люди взялись. Не иначе, из воздуха. Десяток слуг в ливреях бросились в ворота. Брызнули по улице. «Я!.. я не...» — бедолага Крючок подавился, когда сразу три ладони зажали ему рот. А еще спустя миг он уже стоял во дворе, беззвучно бормоча молитву.

Отходную.

На всякий случай.

— Крючок! Это же я! Бацарь! Не узнаешь?

Беньямин Хукс сморгнул слезы. Юный дворянин в окне казался знакомым. Хотя знакомств такого рода за Крючком не водилось. Давняя зависть вспыхнула, отогнала даже страх. Ах, кафтан с короткими фалдами! взбитые оплечья! рукава с буфами! Среди всего этого великолепия лицо юноши терялось — какое там лицо, если шелк! атлас...

— Штаны приглянулись? — расхохотался Вит,

зная пагубную страсть Крючка. — Я тебе сотню штанов подарю! Тысячу!

— Б-б-б... б-ба-а-а...

— Бацарь я, Бацарь! Вспомнил?

— Никак нет, мой господин. — На лицо Беньямина снизошла несвойственная ему твердость. Чувствовалось: признать юношу вслух он согласится лишь под пытками. — Вы бы лучше... я пойду, а?

— Ага, разогнался! Пойдет он... Я тебя к себе возьму! Будешь у меня этим... ну, этим...

— Шутом? — рискнул предположить из-за плеча услужливый Камердинер.

— Не-а! Шутом я Дублона назначу... — так и не вспомнив, каким мудреным словечком отец звал рыцаря Дегю, Вит махнул рукой. — Эй, тащите его сюда! Должность я ему после подберу...

Вскоре, глядя, как молодой господин усаживает пройдоху рядом с собой, камердинер Эжен Кавуа лихорадочно соображал: что делать? Вмешаться? Указать на недопустимость происходящего? Опасно: *fiils du comte* может рассердиться. Тайно доложить его светлости? Но Жерар-Хаген уединились с главным эшевром Хенинга, прибывшим на рассвете, запретив беспокоить по пустякам. Змеиного шептуна Ловчего камердинер боялся, пожалуй, куда больше господского гнева. Ах, пусть идет как идет. В конце концов, его светлость не приказывал мешать молодому господину принимать гостей.

А вдруг граф просто забыл отдать соответствующий приказ?

— Крючок! Ах, Крючок! — Вит, в свою очередь, не предполагал, что способен так обрадоваться бывшему спутнику Матильды. Беньямин напоминал ему о девушке, притупляя тоску. И хвастаться старому знакомому было много увлекательней, чем просиживать задницу в одиночестве.

Первый кубок Крючок выпил залпом. Для храбрости.

Второй — тоже залпом. И третий.

На четвертом страх утонул, а способность рассуждать сделалась стеклянной. В смысле острой и прозрачной. Напротив, кичась, одетая в блеск и сверканье, сидела удача. Мальчишка и впрямь — сказочный принц. Любимчик фортуны. Отчего же Бенъямину Хуксу и не уцепиться за хвост лошади, везущей принца наверх?

— ...Мамка! Баронесса! Ты понял, дурила: баронесса ле Шэн!

Четвертый кубок. Пятый. Вит не пил, пьяный разговором, и приходилось наливать самому.

Ничего. Мы не гордые.

— Сбежала мамка! Замок горит, а она сбежала! Она у меня молодцом!

Шестой кубок. Чертики пляшут на затылке: кивай, Бенчик! кивай! Пусть бахвалится, везунчик! А ты кивай, восторгайся и мотай на ус. Мамаша у парня, конечно, такая же баронесса, как Большой Втык — мавританский султан. Небось шлюха. Шляпница, «Железная кобыла». Раз сумела забрюхатеть от графа. Бездетному же графу наш Бацарь — пропуск к трону. Только мамаша здесь совсем некстати. Будь Крючок на месте Жерара-Хагена, тайком велел бы удавить «баронессу». Чтоб концы в воду. Чтоб навеки и неопровержимо: да, Агнесса ле Шэн. Чудом спасшаяся раньше. Скончавшаяся от удара вчера.

И тогда копай не копай...

Две клешни нежно взяли Бенъямина Хукса за горло. Сжали, царапая кадык. Недопроглоченное вино забулькало в глотке, уши заложило, и издали, вкрадчиво, донесся вопрос:

— Что ты сказал, гад? Мамку? Мою мамку родненькую?..

Крючок и раньше знал, что спьяну иногда начинаешь думать вслух.

Вот, узнал наверняка.

Читай отходную по новой.

— Мою мамку? Удавить?!

— Что здесь происходит?

Клешни ослабили хватку. Исчезли. Кашляя и больше всего на свете боясь, что его сейчас стошнит, Крючок упал вперед, на колени. Это оказалось кстати: едва зрение вновь вернулось к хитроумному Беньямину, он обнаружил перед собой двоих.

Первого он знал: граф цу Рейвиш собственной персоной.

Второго он тоже знал.

— Беньямин Хукс по прозвищу Крючок? — прошелестел гадючий шепот Ловчего.

— В-в-ва... в-ваша светлость! Я ни словом!.. ни словечком! Как рыба!.. в-ва... ш-ша...

Жерар-Хаген глядел поверх головы слизняка. На сына. Мальчик увидел знакомого и решил похвастаться. Вполне понятное и оправданное желание в его возрасте. При его воспитании. Не стоит сердиться. Из этого поступка следует извлечь выгоду. Будет гораздо лучше, если слух о происхождении Витольда сперва распространится вниз, среди черни, обрастая подробностями и вымыслом, — чтобы позже подтвердиться сверху, после проведения Обряда.

Народ любовней принимает тех героев, которых сам и выдумал.

— Ну почему же? — ласково сказал граф цу Рейвиш, бросая слизняку снятый с пальца перстень. — Рассказывай. Всем рассказывай. Везде. В полный голос. Ты понял меня, любезный?

— В-ва...

— Он понял, ваша светлость, — шепнул Ловчий. — Это такая сволочь, что очень быстро все понимает.

Главного эшевена беспокоил не Беньямин Хукс. Его тревожил юный сын Жерара-Хагена: найденыйш плохо смотрел на отца. Очень плохо. Хуже некуда.

Смотрел и молчал.

— ...Любопытное предсказание, не находите?

— Да уж! Толкуй, как вздумается! Кстати, мы давно полагали: со временем надобность в Обрядах отпадет, и наследование как *psyche*, так и *physis* будет происходить естественным путем. Может быть, девица имела в виду именно...

— Господа! Обратите внимание! Обряды...

Множество рук тянется (...*порыв ветра: трава сиротливо жмется к земле...*) к призрачным полкам. Тень шелеста страниц бродит по зале капитула.

— Это неслыханно! Неудавшиеся Обряды? В столь древних родах?! Скорее небо рухнет на землю, чем...

— Типун вам на язык, уважаемый мейстер Беккет! А если вы не заметили, то оно таки чуть не рухнуло! Прямо здесь. Или старый Шолом-Бер ослеп?

— Уважаемый мейстер Шолом-Бер прав. За последние дни я уже дважды наблюдал подобное... э-э-э... наваждение. Кажется, что весь мир становится плоским... Хотелось бы знать, коллеги: вас тоже мучит подобный кошмар?

— Таки да, коллега! И чтобы я сказал: «Мне это понравилось!» — так я вам этого не скажу!..

— Со мной — трижды.

— У меня — вчера.

— И у меня...

— Насколько я успел заметить, сейчас это общая беда. Что, если провалы Обрядов и сие наваждение — звенья одной цепи?

— Согласен с вами, уважаемый мейстер Абд-Рахим. Я только что проследил тенденцию по Сводам Гильдии. Весьма, знаете ли, пугающая тенденция. Все началось примерно месяц назад — точнее сказать трудно. Сперва — единичные случаи, потом неудач стало больше. На сегодняшний день один из десяти Обрядов не дает результата! Есть случаи рас-

прав над гильдейцами со стороны родителей. Если рост процента неудач...

— Вот вам и пророчество!

— Думаю, нам следует как можно скорее отыскать... э-э-э... причину происходящего. Без паники и истерических воплей. Иначе мы уподобимся... э-э-э... сбившимся с пути слепцам без поводья.

Тревожный ропот. Испуганные, растерянные (...*терпкий вкус вина на языке...*) взгляды мечутся по зале. Во всех глазах — одно: призрак рушащегося Столпа. Рассыпающегося в пыль Совершенства, ради которого кропотливо трудились многие поколения Душегубов...

Именно в этот момент открылась дверь. И из гаснущего портала в залу шагнул Филипп ван Асхе. Невыспавшийся, понурый и весь какой-то мятый.

— Добрый день... господа мои...

Голос у мастера Филиппа под стать облику. Сиплый, усталый.

— Опаздываете, коллега. Ознакомьтесь с новостями. Боюсь, они вас не обрадуют.

— Пока уважаемый мастер Филипп изучает Свод, мне бы хотелось обратить внимание Совета на некое... э-э-э... подозрительное совпадение. Я уверен: творя свой необычный... э-э-э... опыт, уважаемый мастер Филипп желал лучшего. Но лучшее, как известно, враг хорошего. А начало наших общих неприятностей... э-э-э... совпало по времени... Я ясно выражаюсь, коллеги?

Коллеги кивнули: да, ясно.

Последним кивнул коллега ван Асхе.

LXXXVI

— ...Итак, подведем итоги. Опыт уважаемого мастера Филиппа признан Советом, с одной стороны, вполне успешным, но с другой... э-э-э... сто-

роны — потерпевшим сокрушительный крах. Именно по причине успеха. Ибо результаты двойного Обряда никоим образом не ведут нас к нашей общей цели. Напротив, юный страж-отрок, сохранивший (пусть даже отторженную!) *psyche*, повзрослев и войдя... э-э-э... в полную силу, наверняка станет опасен. Ибо необузданные порывы *psyche*, подержанные мощью *physis*, повлекут за собой поступки, нарушающие сложившееся равновесие. Страсть к... э-э-э... подвигам, гаснущая естественным путем после уничтожения *psyche*, в данном случае... Этого нельзя допустить. Задача стражей — поддерживать целостность общества в существующих границах, а также быть гарантией отражения внешней угрозы, буде таковая возникнет в грядущем. Отрок должен быть изъят... э-э-э... из мира и помещен в стены богадельни. Далее мы решим, как с ним поступить. Гильдия никогда не одобряла... э-э-э... крайние меры. Но, учитывая опасность...

Мейстер Энгельберт не окончил фразу, сделав многозначительную паузу. Но Совет Гильдии меньше всего нуждался в разъяснениях. Когда под угрозой строительство Вавилонского Столпа — любые средства хороши.

Даже крайние.

— То же относится и к девице. Способности усиленной *psyche*, не сдерживаемые разрушением *physis*, могут развиваться столь сильно, что ее... э-э-э... пророчества начнут опасно влиять на окружающих. Вспомните хотя бы сегодняшнее прорицание! Нам вовсе не требуются новые «Невесты Велиала» или святые мученицы. К счастью, девица находится здесь, под нашим... э-э-э... присмотром. Что касается отрока, то уважаемому мейстеру Филиппу надлежит в кратчайший срок разыскать его и вернуть... э-э-э... в стены богадельни. При необходимости Гильдия окажет любую потребную в данном деле помощь. Разумеется, следовало бы понаблюдать за... э-э-э...

молодыми людьми в течение длительного времени. Но боюсь, мы лишены такой возможности. Ибо есть все основания полагать, что именно двойной Обряд, проведенный в стенах богадельни, является причиной нынешнего... э-э-э... не побоюсь этого слова — отчаянного положения дел. Мы обязаны исключить любой риск. Этих двоих, скорее всего, придется... э-э-э... устранить. В самое ближайшее время.

Слово сказано. Единственно верное слово. Устранить. Не «убить», не «лишить жизни» — ибо речь шла о куда большем, нежели просто о двух жизнях. Устранить причину, по которой разладилась веками проверенная система Обрядов. Скупые (*...волнами наплывает аромат ладана...*) кивки гильдейцев подтвердили правоту мастера Энгельберта.

Совет согласился с решением.

— Я рад, коллеги, что наше мнение оказалось... э-э-э... единодушным. Однако же у нас остались и другие, не менее важные вопросы. Надеюсь, вы успели просмотреть Свод и знаете о тех... э-э-э... странностях, коими сопровождалось Приобщение некоего монаха. Разумеется, в данном случае уважаемый мастер Филипп действовал с полного одобрения Совета, так что ответственность за возможные... э-э-э... последствия этого шага лежит на всех нас. Впервые человек, не Приобщась до конца, обрел частичные... э-э-э... способности, свойственные лишь членам Гильдии. А также получил доступ к более... э-э-э... глубоким слоям Свода, нежели любой из нас. Думаю, никто не станет возражать против того, что означенного монаха также следует как можно скорее вернуть сюда. Пусть закончит Приобщение, войдя в Гильдию полноправным членом. Если же онный монах по разным причинам... э-э-э... воспротивится или не сможет завершить Приобщение... Что ж, в таком случае его, по всей видимости, также придется... э-э-э... устранить. Во избежание.

И снова — тихий гул одобрения. Сейчас Совет напоминал единое существо. Или, еще точнее — малый муравейник, где каждый муравей точно знает задачу, и все вместе не покладая рук (хотя какие руки у муравьев?!) трудятся на благо общей цели. Один муравей без сородичей — ничто. Он теряется, начинает бесцельно кружить и вскоре погибает. Но вместе... о, вместе!..

— Вижу, коллеги, что и этот вопрос не вызвал у нас разногласий. Осталось последнее. С самого момента создания Совет Гильдии принимал... э-э-э... окончательные и обязательные решения только в одном случае: при подборе кандидатур новых гильдейцев. По всем остальным вопросам Совет лишь... э-э-э... рекомендовал, как следует поступить в той или иной ситуации. А каждый из нас уже сам решал: следовать рекомендации Совета или... э-э-э... действовать по-своему. Ведь все мы посвятили жизнь общему делу, и никто из нас не станет действовать во вред... э-э-э... общей цели. Однако времена меняются, коллеги. К сожалению. И наглядным примером тому — ... э-э-э... отчаянное положение, собравшее нас здесь. Никто не винит в случившемся уважаемого мастера Филиппа: свой... э-э-э... смелый опыт он проводил безусловно с намерением улучшить *psyche*- и *physis*-способности будущих династий, приблизив момент окончательного построения. Мастер Филипп всегда был вольнодумцем и... э-э-э... любознательным исследователем — едва ли не в большей степени, чем все мы. Он им и остался. Однако на этот раз последствия опыта оказались самыми... э-э-э... плачевными. А ведь Совет предупреждал уважаемого мастера Филиппа и не рекомендовал ему проводить сей опыт. И если бы рекомендация Совета имела силу... э-э-э... обязательного решения, то мы бы не оказались сейчас в такой... э-э-э... малоприятной ситуации. Посему

предлагаю: уполномочить Совет Гильдии принимать решения, обязательные к выполнению для всех гильдейцев. Дабы исключить повторение в будущем подобных... э-э-э... ситуаций. А также избрать ректора Совета для упорядочения нашей работы.

Настороженный шум.

— И кого вы прочите на место ректора, уважаемый мейстер Энгельберт?

— Уважаемый мейстер Шолом-Бер, давайте сначала решим: согласен ли Совет взять на себя предлагаемую мною... э-э-э... ответственность и соответствующие полномочия? А уже потом...

— Не морочьте мне голову, уважаемый мейстер Энгельберт! Или мне по сердцу тот кавардак, который мы сейчас имеем? Совету нужна возможность запрещать или разрешать. Тут с вами никто не спорит. И если после этого я скажу, что я против такого ректора Совета, как вы, уважаемый мейстер Энгельберт...

Мейстер Шолом-Бер обвел взглядом залу капитула.

— ...то я таки скажу неправду. Я «за»!

LXXXVII

Входная дверь гудела под ударами молотка.

Чувствовалось: стучат давно. И с тем остервенением, которое возникает лишь в одном случае: когда гости убеждены в присутствии хозяина дома. «Да что они, оглохли?!» — подумал мейстер Филипп, имея в виду Птицу Рох и кухарку. Раздражение, копившееся в сердце, бунтовало, ища повод для ярости. Минуту назад, выйдя из портала у себя в кабинете, Душегуб меньше всего рассчитывал на случайные визиты. Хотелось сесть, собраться с мыслями...

Чертыхаясь, он шагнул в коридор.

— Эй! Куда вы все...

У лестницы лежал бесчувственный Птица.

Видимо, слуга выполз из отведенной ему каморки, пытаясь добраться до входа. Но силы отказали. Пальцы вцепились в перила, подтягивая тело к ступеням: одна нога гиганта была неестественно вывернута. Левая половина лица представляла собой сплошной кровоподтек. Мейстер Филипп замер, отказываясь верить собственным глазам.

Дверной молоток продолжал неистовствовать. Слуга шевельнулся.

— Х-х-х... — дрогнула живая рана рта. — Х'зя... ин-н...

— Лежи, лежи! Я сейчас...

На ходу собирая остатки бывшего спокойствия, Филипп ван Асхе сбежал по лестнице. Едва не упал сам: годы, проклятые годы! Распахнул входную дверь.

— Я имею удовольствие говорить с хенингским представителем Гильдии?

Молодой мужчина, носящий цвета графства Рейвиш, казался знакомым. Рядом скучали двое охранных. Видимо, один из них и орудовал молотком. Душегуб пригляделся. На плечах гостя красовалась мантия герольда.

Оружья он не имел: герольд при исполнении олицетворяет господина.

— Вы, возможно, помните меня, мейстер, — гость смутился, став совсем юным. — Я Ламберт, поводырь Эразма ван Хайлендера. *Бывший* поводырь. Сейчас — герольд графа цу Рейвиш. Я-то вас хорошо помню: мало людей, столь щедрых на милостыню...

— Р-рад... душевно рад... Как поживает ваш досточтимый учитель?

— Спасибо, прекрасно. У меня к вам поручение, мейстер...

Вскоре, прощаясь с герольдом, Душегуб тщетно пытался скрыть бледность. Хорошо, что удалось отговориться легким недомоганием. Ламберт, наивная душа, поверил. Даже предложил по дороге вызвать лекаря. Да, кивнул мейстер Филипп. Лекарь Карлайль живет двумя кварталами выше: скажите ему, пусть зайдет. Прямо сейчас, если можно.

В услугах врача нуждался верный Птица.

Сам же мейстер Филипп нуждался разве что в услугах Провиденья.

Граф цу Рейвиш сообщал хенингскому Душегубу, что через месяц в родовом замке состоится Обряд над неким Витольдом, «весьма дорогим графскому сердцу». Соответственно, уважаемого Филиппа ван Асхе ждут в замке не позднее чем в течение десяти дней, считая со дня извещения. Отказаться Душегуб не мог, даже под предлогом возможной неудачи Обряда. Семьи, в гербе коих красуется знак Ответчика, не знают отказа.

Но и согласиться он тоже не мог.

Поддельных Обрядов не бывает. Как нельзя долго делать вид, что не дышишь. Минута, другая, — и грудь сама сделает вдох. Начни мейстер Филипп церемонию — Обряд обязательно пойдет по накатанной колее. Вне желания его участников. Тайное же знание, клеймом впечатанное в рассудок, предупреждало: смерть. Смерть Витольду, смерть Матильде; смерть дерзкому Душегубу. А также сокрушительный удар по репутации всей Гильдии. Напрасно спрашивать: откуда ты это знаешь? Знаешь, и все. Как знаешь, что подброшенный камень рано или поздно упадет.

Что делать?!

Пытаясь укротить панику, мейстер Филипп вернулся к избитому Птице.

— Потерпи!.. Скоро придет лекарь. Кто это тебя?

— Х'зяин... они... на р-ры... нке!.. Я не...

Слуга охнул и вновь потерял сознание. О случившемся Душегуб узнал уже от лекаря Карлайля, чьи ученики перенесли Птицу Рох в каморку. По счастливой случайности лекарь сегодня посещал Кружной рынок, где оказался свидетелем драки. Сперва раздался вопль: «Держи вора!» Зеваки утверждали, что Птица в этот момент стоял, тупо разглядывая кошель, возникший в его лапе. Затем громила, известный хенингцам как Добряк Магнус, огрел Птицу доской по затылку — и завертелось. Даже оглушенный, слуга успел завалить двоих-троих нападавших, но силы оказались неравны. Били ногами. Долго. Но опытный глаз лекаря сразу подметил: убивать не хотели. Так, для острстки. Чтоб надолго запомнил.

Позже драчуны сами наняли телегу: отвезти пострадавшего домой.

Мейстер Филипп слушал молча. Все становилось на свои места. Утро прошло, и братья Втыки взялись напоминать. Жаловаться некуда, некому и не на кого. Наверняка мигом отыщется нужный человек, подтверждая, что именно слуга Душегуба украл у него кошелек. Да и кухарка вряд ли вернется. Похоже, некоторое время придется обходиться без прислуги. А затем навсегда покинуть Хенинг. Ибо он теперь не сможет выполнить обещание — вернуть девицу.

Братья Втыки умеют быть убедительными.

Надо торопиться.

Проклятье!.. надо, но торопливость — враг обдуманности!..

— Знаете, мейстер, — на прощанье сказал лекарь Карлайль, с поклоном принимая плату. — Это не мое дело... Но я счел нужным вас предупредить. Перчаточник Свейден с утра кричит, будто вы обесчестили его дочь. Дескать, обещали жениться. Я, конечно, не поверил горлопану... но люди...

сплетни... Репутация, наконец! Вы меня понимаете, мейстер Филипп?

— Да. Я понимаю вас. Скажите: можно ли на время перевезти моего слугу к вам? Для ухода. За деньгами дело не станет...

— Почту за честь, мейстер! Только, если вы не против, мы перевезем его к моей двоюродной тетушке. Так сказать, во избежание... Вы понимаете меня?

— Да. Понимаю. Как сочтете лучшим.

Через час Филипп ван Асхе, наняв носильщиков с крытым портшезом¹, ехал по направлению к монастырю цистерцианцев.

LXXXVIII

«...Да пьяный он был, Крючок! Молол незнамо что...»

Вит в сотый раз пытался убедить себя: глупо верить Крючкову пустозвонству. Получалось плохо. С одной стороны, граф цу Рейвиш, рыцарь до самых печенок, — душит мамку? Чепуха. А с другой стороны, Крючок — он ушлый. Всякое знает, чего вроде и знать не должен. Может, и впрямь спьяну языком молол. А может, молол-молол, да и намо-лол...

«Эй, парень! Окстись! — насмешливо шепнул внутри чей-то голос. Похожий на бас мельника Штефана. — Твой батька-граф твою мамку-баронессу хочет жизни лишить? На кой ляд?»

Вит пожал плечами. На кой? Наверное, боится.

«Граф? боится?! Кого, дурья твоя башка?!»

Ну... Жену свою боится. Теперешнюю. Все мужья жен страсть как боятся. Вот и граф. Графинька

¹ Портшез — разновидность паланкина, специальные носилки для передвижения.

небось браниться станет, а то и ухватом навернет... Только не душить же мамку из-за этого!

«Дык я тебе о чем?!»

Может, наследство какое?

«Ох, лоботряс... При чем тут мамка-то? Ежели наследство — оно тебе, дурила...»

Что там еще Крючок нес? Мамку этой обозвал... шляпницей! А в придачу — «кобылой». Железной. Надо было гаду по шее дать. Жаль, не успел. А теперь поздно. Ну и шут с ним, с Крючком. Главное — мамка. Ежели она и вправду не баронесса, выходит, граф соврал?

«Ох... Пораскинь умишком: станет граф сыну брехать?»

Юноша не находил себе места. Бродил по дому, избегая надоеду-Камердинера. Трижды спускался во двор. Мерил шагами дорожки парка — черного, мерзлого. Обошел вокруг дома. Мощеные аллеи, фонтаны в виде диковинных чудищ. В другое время небось стоял бы, разинув рот. Однако сейчас красоты дома Дегю скользили мимо внимания.

Надо что-то делать! Иначе он никогда не простит себе, если с мамкой случится беда, а он и пальцем не пошевелит. Пойти к новообретенному отцу? Напрямик спросить: не собирается ли добрый рыцарь убить мамку? Обидится отец. Вожжами выпорет. Или решит: рехнулся парнишка. Еще прогонит, чего доброго. На что ему сын, у которого башка набекрень, как у дурачка Лобаша? Который любящего папеньку вместо благодарности невесть в чем подозревает?!

Нет, к отцу нельзя... Да и уехал отец куда-то, по делам. Сказал: вернется поздно.

Что же делать?!

Вит метался по дому и саду, как загнанный зверь.

А что, если... Точно! Как он сразу не додумался?! Отец ведь все равно мамку в город забрать хотел.

Так, может, самому расстаться? Явиться в Запруды, забрать мамку, поселить в городе... Где? Да хоть бы и на Дне, у друзей! А тем временем граф ей дом присмотрит. Опять же, получится: это он, Вит, мамку в город привел, а не граф. Графинька на мужа злится, а муж ей кукиш под нос: накось-выкуси! Мой замок с краю!

Вит был уверен: в Хенинге (в особенности — на Дне!) матери ничто не угрожает. Видимо, сказывался памятный кошмар: лиходеystво творилось в Запрудах, на берегу Вешенки. А на Дне лиходеев живо отвадят! Там и Юлих, и Магнус, и Дублон, и Гейнц с Ульрихом... Живи, мамка, припеваючи. Ничего не бойся. Решено! Он так и сделает. Одолжит у дядьки Штефана телегу: мамку в город отвезти. Не пешком же ей ноги бить! Особенно если она и взаправду баронесса. А хоть бы и нет — все одно. Денег у него теперь уйма: надолго хватит. А там отец мамке дом купит, сам Вит Матильду из богадельни заберет, поженятся они и заживут в замке! Мамку навещать будут, гостинцы привозить...

Деятельная натура требовала бежать в Запруды немедленно. Чтоб на завтра мамка уже в городе была. Отца бы предупредить... Еще решит: сбежал сынок-то. Нехорошо выйдет. Дядька Штефан, к примеру, за такое по головке не погладил бы. А граф — и подавно. Как только его предупредить, ежели вернется поздно? Возьмет и не отпустит!..

Выход нашелся неожиданный и совершенно блестящий. Не зря умные люди в богадельне его грамоте учили! Вит затребовал перо, чернильницу и пару листов пергамента. Камердинер, который меньше всего предполагал грамотность в «бульварном fils du comte», едва не прослезился от умиления. Галопом умчался: исполнять. Уединившись в спальне, Вит долго и старательно пятнал чернилами пальцы. Один лист в итоге пришлось скомкать и

выбросить. Но предусмотрительный юноша не зря велел принести два! На втором, в обрамлении красивых клякс, юному бастарду наконец удалось начертать следующее:

«Пап я ушел за мамкай кзавтраму вернус Ветольт»

Свернутая в трубку записка была вручена Камердинеру. С наказом: передать графу, едва тот возвратится. После чего Вит, донельзя гордый собой, проверив на поясе кошель с деньгами, направился к воротам.

— Куда вы, *fils du comte*?

— Гулять!

Камердинер в полной растерянности остался стоять посреди двора.

Вертя в руках записку и не решаясь ее развернуть.

LXXXIX

Хор вечерни торжественно плыл над монастырем.

Отпустив портшез — носильщики мигом направились в сторону ближайшей харчевни, — мейстер Филипп затоптался у ворот. Во время поездки его слегка укачало, но зато удалось успокоиться. Четкий план, как уговаривать упрямого фратера Августина, отсутствовал, приходилось возлагать надежды на импровизацию. Брюхатые тучи нависли над холмами, от кузнечных предместий несло гарью. Ветер бесстыже шарил под одеждой наглыми пальцами. Длинная роба, пусть даже отделанная мехом, грела плохо, и мейстер Филипп пожалел, что в спешке не поменял ее на более теплый плащ.

Зябко передернувшись, он стал ждать конца службы.

Я совершил ошибку, думал Душегуб. Я совер-

шил страшную, возможно, роковую ошибку. И я знаю, в чем она заключалась. В стремлении к лучшему. Как жаль, что я лишен веры в Бога. Самое время каяться. Бить себя в грудь, восклицая «Mea culpa!». Не умею каяться; не вижу, перед кем каяться. Вот он, первородный грех: лучше! еще лучше! Пытаюсь улучшить, мы начинаем понимать. Понимая, мы начинаем дробить целое на части. Раздробив, удивляемся: почему такие прекрасные, идеальные, замечательные части не хотят жить? Почему целое умерло? Почему рухнул несокрушимый снаружи Столп? — стремление к лучшему опрокинуло его изнутри.

Нельзя было проводить двойной Обряд. Нельзя было творить его в стенах богадельни.

Я привел в рай юных мужчину и женщину.

Двое невинных и один умудренный разрушили рай.

Без видимых причин окошко в боковой калитке открылось. Возможно, привратник с самого начала наблюдал за поздним гостем в щель.

— Кто нарушает мирный покой обители?

— Прошу прощения, святой отец! Я Филипп ван Асхе, смиренный...

Договорить мейстер Филипп не успел. Стукнула щеколда, калитка распахнулась.

— Вы — хенингский представитель Гильдии, — сказал привратник, выходя наружу. В голосе его, даже не очень прячась, пело удовлетворение. — Я ждал вас.

Душегуб не ответил. Без улыбки его лицо казалось неприлично голым. Молча, поджав губы, мейстер Филипп смотрел на босые ноги, на коричневую рясу кармелита. Во взгляде Душегуба крылось что-то от волка, загнавшего добычу и обнаружившего над еще теплым трупом — соперника. Но не собрата-волка.

Дракона.

Привратник встретил этот взгляд спокойно.

— Вы все правильно поняли, мейстер. Я — фратер Гонорий, смиренный инок братства кармелитов. И, волей Господа нашего, декан Белого капитула. Повторяю: я ждал вас.

Мейстер Филипп наскоро огляделся. Ни одной двери. Ни единой. Калитка не годится. Ворота заперты, но ворота не годятся тоже.

Западня.

Странно: вместе с обреченностью вернулось спокойствие.

— Вы собираетесь похитить меня? Как *тех* гильдейцев?

— Вы удивляете меня, мейстер, — фратер Гонорий переступил с ноги на ногу. Но не от холода, а просто так. — Похитить вас? Но вы же сами явились сюда? Добровольно? И уйдете добровольно, заверяю вас. Насилие больше не входит в мои планы. Кстати: каким образом вы намеревались добиться у приора встречи с известным нам обоим монахом?

— Честность — лучший щит? Да, святой отец?

— Полагаю, что да.

— Я намеревался сказать, что собираюсь учредить в приюте Всех Мучеников школу для сирот. На свои средства. И не знаю лучшего куратора для школы, чем фратер Августин.

— Ясно, ясно, — закивал кармелит. — Хорошая идея. Приор Бонифаций человек праведный, но скупой. Пообещай вы в придачу отчисления на обитель...

Сперва мейстер Филипп не понял, что произошло. Почему так тихо.

А-а... кончилась вечерня.

— Вам повезло, досточтимый мейстер, что вы встретились со мной. Я искренне рассчитываю на взаимопонимание. Ценю вашу откровенность. И готов устроить вам встречу с фратером Августи-

ном. Более того, я даже готов поспособствовать, дабы он внял вашим просьбам. В обмен на одну безделицу...

Фратер Гонорий наклонился вперед.

— Вы возьмете меня с собой. В место, именуемое богадельней. Я хочу увидеть все своими глазами, мой милый мейстер. Договорились?

— Мне надо подумать.

— Думайте. Вернетесь думать в город? Или зайдем в обитель? Но учтите: без моей помощи вам не уговорить фратера Августина. Как только что сказали вы сами, честность — лучший щит. А честность сего брата — высшей пробы. Честность и стойкость.

— Вы знаете, что он был отравителем у Фернандо Кастильского?

— Мы говорим не о мирянине Мануэле, а о монахе Августине. Мы...

Кармелит замолчал. Некоторое время стоял без движения. Червь снова взялся за привычную работу. Надо ждать. Ждать. Сейчас червь насытится. Уползет в нору.

Сейчас...

Мейстер Филипп (...ломкие стручки акации: засуха...) внимательно следил за деканом Белого капитула. Мурлыча под нос некую мелодию.

— Вы скоро умрете, святой отец, — сказал Душегуб, дождавшись, пока черты кармелита утратят твердость металла. Декан вызывал в памяти странное сходство с монетой. Но трудно было сообразить: с какой именно. — Я восхищаюсь вашей выдержкой. Скажите: вы не боитесь, что я соглашусь на ваше предложение? Отведу вас в тайное место? И вам выпадет честь умереть раньше отведенного небом срока? Не только ваши... м-м-м... ваши исследователи умеют пытаться. Это искусство общедоступно.

Улыбке фратера Гонория мог позавидовать любой член Гильдии.

— Нет, не боюсь. Для этого вы слишком умны, милый мейстер. Белый капитул не хотел бы идти на открытое столкновение. Во всяком случае, сейчас. Слишком сильна зависимость многих сильных мира сего от Обрядов. Но если я... если я не вернусь из вашей богадельни... Белый капитул передумает. И рискнет. Вы получите армию босых странствующих врагов. На всех углах станут кричать, что проклятые Душегубы — еретики и схизматики. Слуги Сатаны. Что любой, прибегший к их услугам, обречен на вечный ад. Народ очень легко качнуть в ту или иную сторону, мой милый мейстер. Воцарится хаос. Вы хотите хаоса?

— Нет. Не хочу. Проведите меня к фратеру Августину.

— Вы возьмете меня с собой?

— Да. Возьму. И будь что будет.

ХС

Трое всадников двигались по Окружной на северо-запад.

Пожилого бюргера, тихо ехавшего за двумя громилами, можно было принять за судейского или синдика ремесленного цеха. Войлочная шляпа. Верхняя одежда на куньем меху. Шалевый воротник. По крупу лохматого конька хлопает уродливый клинок: длинный, с гнутой рукоятью. Лицо утонуло в воротнике, наружу торчит один нос. На кончике — капля. Вот-вот упадет.

Главный эшевен Хенинга, Максимилиан ап Нанис по прозвищу Ловчий, думал.

Больше всего на свете он любил это занятие: думать.

Потомственный дворянин, чей дед получил дворянство из рук Альбрехта Кроткого, Ловчий не стеснялся, когда надо, марать руки позором оружия.

Например, сейчас. Тайное поручение графа цу Рей-виш требовало не выпячивать свою знатность. Цеховой синдик в сопровождении телохранителей едет по делам. Скучно, уныло. Дела будут сделаны, а в глухих Запрудах на погосте тихо-мирно упокоится некая Жюстина, жертва несчастного случая.

Это важно: несчастный случай по имени «концы-в-воду».

Слухи и сплетни ни к чему.

Утром, пообещав Жерару-Хагену незамедлительное исполнение, Ловчий сразу отправился на Шорный спуск. В дом братьев ван Раух, которых он никогда не именовал братьями Втыками. Ни в глаза, ни за глаза. Должность главного эшевена требует рассудительности. Умения ладить с людьми. Со *всякими* людьми. Братья ван Раух это понимали. И с должным вниманием отнеслись к сделке с Макси-милианом ап Нанис. Сделка заключалась в следующем: братья предоставляют в распоряжение Ловчего двух подонков, расторопных в темных делах, а главный эшевен Хенинга озаботится, чтобы никто не вспомнил об участии братьев в одной истории.

Все поняли?

Все поняли.

Конечно, Ловчий мог взять в Запруды парочку сыскарей. Переодетых кем угодно. Но подонки, как это ни странно, умеют молчать лучше сыскарей. А если нет, то разговорчивых подонков куда легче сделать немыми, чем собственных подчиненных. Последних, кстати, еще и очень жалко терять. Поэтому Ловчий вполне удовлетворился, заполучив в спутники Добряка Магнуса и Юлиха-Молчуна. Эти двое, выслушав суть задания, только кивнули, не задавая вопросов.

Какая-то селянка зажила на свете?

Ладно.

— Через час выезжаем, — шепнул в ответ Ловчий.

Искалеченным горлом он втайне гордился, как иные гордятся титулами. Еще в самом начале карьеры, за малую, едва заметную оплошность нынешний герцог изволил собственноручно выразить Максимилиану свое неудовольствие. Это был даже не удар. Густав Быстрый просто брезгливо взмахнул рукой, и кончики пальцев чиркнули по кадыку эшевена. С тех пор крик или вопль — да что там, просто громкая речь стала недоступна Ловчему. В его семье ни разу не проводились Обряды, хотя письма в Гильдию слались регулярно. Ответ не отличался разнообразием: в Обряде отказано. По причине большой вероятности смерти юного отпрыска рода ап Нанис. Возможно, именно поэтому Ловчий гордился своим шепотом. Сам Густав Быстрый... многие ли могут похвастаться, что до них снизошли?..

Хлопья снега срывались с неба, чтобы мигом растаять.

Капля качалась на носу.

Главный эшевен думал.

Он думал о чем угодно, совершенно не пытаясь составить план или заранее прикинуть будущие действия. Планы составляют глупцы. Заранее прикидывают безумцы. А потом жизнь поворачивается к ним неожиданным боком, планы рушатся, нити замысла путаются, а глупцы с безумцами удивляются: «Почему? Мы ведь так тщательно!.. так хорошо...» Настоящий мастер своего дела просто ждет, занятый размышлениями без цели и надежды. Тогда любой поворот выводит его к искомому. Так яблоко падает на землю: не особо стремясь. Просто не оставив себе иного выбора.

Добравшись до харчевни Старины Пьеркина, Ловчий позволил спутникам час тепла и покоя.

Сам он не нуждался ни в первом, ни во втором.

Ему хватало главного: думать.

На развилке, левым рукавом уходящей на Хмыровцы, всадники догнали толпу богомольцев. Те, кто побогаче, ехали на повозках, большинство же

тащилось пешком. Оставляя за собой раскисшую грязь, толпа двигалась в сторону Запруд. Добряк Магнус хотел было отпустить соленую шуточку, но Ловчий жестом остановил Добряка.

— Они идут к гробнице святого Ремакля, — шепнул главный эшевен.

И поднес палец к губам: молчи!

Планы составляют глупцы. Умные люди ждут. Вот она, удача. Вскоре к богомольцам добавились еще трое: пожилой бюргер ехал просить святого, дабы жена удачно разрешилась от бремени. Двое племянников сопровождали дядюшку в трудном пути. Зима — не лучшее время для богомолья, но если тетушке, молодой до неприличия, приспичило рожать именно сейчас...

Ночевать паломники остановились лагерем в излучине Вешенки.

Но за полчаса до этого у пожилого бюргера случилась почечная колика.

ХСІ

Закрепленный Обрядом талант редко подводил фратера Гонория.

Кармелит был уверен, что логика с наблюдательностью верны хозяину и сейчас.

Не единожды за последний месяц, пока Гонорий ждал фратера Августина, ему доводилось видеть странное поведение монахов. Шел себе брат, шел и вдруг застыл столбом. Эдаким маленьким Вавилонским Столпом, готовым рухнуть. Миг, другой... Наконец, словно очнувшись, несчастный ошарашенно моргал, осенял себя Святым Круженьем и спешил дальше. Разумеется, декан Белого капитула не преминул поговорить с местным клиром¹ и вскоре уже достоверно знал: людям видится одно и то же.

¹ К ли р — община монахов (отсюда: клирик).

Плоский мир-картина, грозящий осыпаться ничемной мишурой, обнажая тайное, небывалое...

...Кукла!.. хочу!..

Дальше — больше. Крестьяне окрестных сел, собравшись вскладчину, заказали в обители молебен против «бесовского искуса». Обеспокоенная братия, не требуя доплаты, отслужила целых три молебна. Молились истово, с душой — однако наваждение и не думало исчезать, исподтишка терзая своих жертв. Дважды «бесовский искус» настигал самого Гонория. И оба раза, очнувшись, он задавался вопросом: что же готово проступить из-под сыпи красок? Этот, в сущности, глупый вопрос все более занимал декана. Где исток видений? Что кроется за этим? Знамение, ниспосланное свыше? Козни Врага рода человеческого? Или... или нечто иное, вполне земное, чему пытливый ум рано или поздно сумеет найти разгадку?

«Поздно» кармелита не устраивало.

Его время было на исходе.

Вскоре в обитель зачастили собратья Гонория по обету странствий. Нищенствующие монахи принадлежали к разным орденам, но у каждого находилась пара слов для босого привратника. К моменту появления Душегуба Гонорий был осведомлен о многом. В том числе и о неудачных Обрядах. Звенья срастались в цепь. Нити свивались в клубок. И растерянность мастера Филиппа, его согласие провести кармелита в богадельню стали новым фрагментом, дополняющим общую картину.

«Бесовский искус» и провалы Обрядов — взаимосвязаны.

Возможно (хотя и не обязательно!), Гильдии известна причина. Зрел гнойный нарыв. Не суля ничего хорошего, вызывая беспокойство гильдейцев. Заставляя их идти на риск, любой ценой восстанавливая status quo¹. Такой случай грешно упускать. Не

¹ Исходное положение, постоянство (лат.).

исключено, что под давлением сложившихся обстоятельств Гильдия наконец пойдет на сотрудничество, от которого до сих пор умело уклонялась, не желая делиться влиянием.

Что ж, декан Белого капитула готов сделать первый шаг навстречу. Шаг в дверь, ведущую в святая святых Гильдии.

В богадельню.

— ...К вам гость, брат Августин.

От гостя брат Августин шарахнулся, как Сатана от причастия. Или как праведник от Искушителя — что, пожалуй, являлось более точным сравнением. Кармелит на всякий случай занял позицию у двери кельи. Он вполне допускал, что мейстер Филипп может попытаться увильнуть от выполнения обещания. Значит, стоит перекрыть путь к бегству. Однако Филипп ван Асхе даже не обратил на (*...треск сушьев; летят искры в ночное небо...*) это внимания.

— Благословите, святой отец, ибо изумлен. Не ожидал, что вам удастся самостоятельно оставить наш маленький рай. Ей-богу, не ожидал. Вы снова меня удивили.

На этот раз у Душегуба нашлись силы выдавить из себя улыбку. Однако выглядела она не лучшим образом, отдавая кисловатой фальшью.

— Что вам от меня нужно?

— Отец Гонорий любезно согласился провести меня к вам. И даже пообещал разрешить вам покинуть стены сей обители. В обмен на услугу с моей стороны.

Босой кармелит кивнул:

— Помните, брат Августин: мы с вами говорили о возможности совместного посещения богадельни? Считайте, что ваши сомнения разрешились наилучшим образом. Мейстер Филипп любезно согласился взять меня с собой. Но наш милый мейстер настаивает, чтобы вы были нашим третьим попутчиком.

Не беспокойтесь, дозволением приора Бонифация я уже озаботился.

Целая буря чувств отразилась на лице фратера Августина, когда он брал записку приора. Ему было страшно возвращаться в стены богадельни. Он верил мертвому Бурзою. Однажды ночью все случится на самом деле. Однажды цистерцианец проснется, твердо убежденный в том, что до сих пор отказывалась принимать его душа. Проснется другим человеком. Что в нем останется от теперешнего монаха? Останется ли хоть что-нибудь?

Узнать это можно было только одним способом.

Но тогда поздно будет каяться.

Запертый в стенах кельи, отец-квестарь испытывал все возрастающее томление духа и плоти. Тайный недуг снедал его изнутри, подтачивая волю и жизненные силы. Монах знал, как избавиться от недуга. Надо сделать один шаг. Просто шаг. Войти в библиотеку...

Нет!..

Но вновь ступить под своды богадельни, опуститься на колени у алтаря в базилике, заново ощутив тихую радость и покой! О, как хочется!.. Господи, спаси и сохрани!..

Строки, начертанные рукой приора, плясали перед глазами.

«...вверяю вас досточтимому брату Гонорию... запрет покидать вашу келью... снимаю... следуйте за ним, куда...»

Вздых облегчения непроизвольно вырвался из уст. Декану Белого капитула виднее, что надлежит сделать на благо Церкви и во славу Господа! Больше никаких сомнений, никаких терзаний: всю ответственность берет на себя босоногий кармелит. Теперь можно с чистым сердцем... с ясной душой... можно...

Когда цистерцианец поднял взгляд от (...размешистый мазок кисти: охра заката...) записки приора, в глазах его плавилась смесь стыда и облегче-

ния. Впервые он проявил малодушие. Переложил на другого бремя принимать решения и держать за них ответ. Надо бы отказаться, но — силы на исходе. Последний формальный запрет рухнул, а железная воля изъедена ржавчиной!..

— Я в вашем распоряжении, брат Гонорий.

На Душегуба монах старался не смотреть.

ХСII

На залу пала тишина, едва они переступили порог. А мейстер Энгельберт, занявший после ухода Матильды место настоятеля, поперхнулся любимым «э-э-э...».

— У нас гости, господа. Святые отцы Августин и Гонорий. О первом вы более чем наслышаны. Что касается второго... Надеюсь, он сам представится более подробно.

Филипп ван Асхе устало опустил на скамью в первом ряду амфитеатра. Смежил веки. За последние сутки он сильно сдал: холеное раньше лицо осунулось, щеки запали. Возраст и утомление — плохие помощники. Хенингский Душегуб знал: сейчас обойдутся без него. Он не ошибся. Фратер Гонорий окинул залу цепким, оценивающим взглядом и, безошибочно определив, кто здесь главный, направился к мейстеру Энгельберту.

— Мир вам, дети мои. Надеюсь, вы простите мне столь вольное обращение. Для служителя церкви все миряне — дети его...

Легкий шум в зале.

— Успокойтесь. Я не собираюсь читать вам проповедь. Я намерен объявить всего два тезиса, которые сильно облегчат дальнейший диспут. Тезис первый: я — декан известного вам Белого капитула. Тезис второй: ваша Гильдия сейчас переживает не лучшие времена...

— Первый тезис... э-э-э... весок и убедителен, — успев прийти в себя, прервал кармелита (...журавлиный клин в вышине: возвращайтесь!..) новоявленный ректор Совета. — Что же касается второго... Почему вы пришли к такому... э-э-э... выводу, отец Гонорий?

— Это оказалось просто, милейший мейстер...

— Энгельберт. Если хотите, можете звать меня: «сын мой».

— ...мейстер Энгельберт. Неужели вы полагаете, что Белый капитул не осведомлен о провалах части Обрядов? О наваждении, именуемом чернью «бесовским искусом»? О ряде других событий? Или вы надеялись...

Кармелит внезапно умолк. Лицо его окаменело, став барельефом на склепе короля Фернандо. Взгляд прикипел к трещинкам ближайшей стены. Но раньше чем успел подняться ропот беспокойства, кармелит вновь овладел собой. Молчи, боль. Не хочешь молчать? Тогда я буду терпеть. Как терплю уже давно. Мой час еще не пробил. Время есть.

Немного — но есть.

— ...вы надеялись, что трудно будет проследить связь всех этих событий с деятельностью Гильдии?

Голос Гонория был таким же ровным, как и до приступа. В конце следовало бы язвительно усмехнуться, но декан не стал этого делать.

— Вы умеете не только смотреть, отец мой, — мейстер Энгельберт разом перестал быть добродушным толстячком. — Вы умеете видеть. Перейдем к делу. Чего вы хотите?

— Я хочу понять. И, может быть, помочь.

В ответ — лучшая улыбка мейстера Энгельберта.

— Вы не ослышались. Сейчас Белый капитул способен раздавить Гильдию. Провалы Обрядов, «бесовский искус»... Подать это черни в нужном виде — и вас уже ничто не спасет. Но зачем? Кому, кроме Лукавого, нужен хаос?! А мы с вами нуждаем-

ся в порядке. В незыблемом, стройном, несокрушимом порядке. Цель оправдывает средства. Мы расходимся лишь во мнении касательно монополии на эти средства. Думаю, сегодня есть возможность найти общий язык.

«Общий язык...» — на лицах членов Совета появилось одинаковое выражение. Декан знает? Или просто фигура речи?!

— За помощь Белый капитул потребует платы? — Ректор Совета (...*рябь на воде: золото бликов...*) излучал скепсис.

— Не без того, дорогой мейстер. Не без того. Приятно говорить с понимающим человеком. Однако, пойдя Гильдия нам навстречу, она потеряет весьма мало. Приобретя взамен — многое.

Кивнув монаху, мейстер Энгельберт обернулся к Совету.

— Уважаемые коллеги! Мне кажется, нам надо со всяческим вниманием отнестись к предложениям отца Гонория. А также выразить благодарность мейстеру Филиппу, приведшему к нам такого... э-э-э... гостя. Я уже начинаю жалеть, что сия встреча не состоялась ранее. Тогда мы могли бы... э-э-э... избежать...

Недослушав, мейстер Филипп с усилием поднялся.

— Прошу прощения, господа. Я умираю от усталости. Позвольте вас оставить.

У выхода он едва не наткнулся на забытого всеми фратера Августина: цистерцианец ждал возле двери, наблюдая за происходящим. «Домой... спать...» — бормотал Филипп ван Асхе, шагая мимо посторонившегося монаха в открывающийся портал.

...Навстречу ударило гудящее пламя. Его дом, где он надеялся наконец отоспаться, пылал. Снаружи долетали приглушенные вопли, а здесь, внутри, с треском рушились балки, бушевал огонь. Душегуб

закашлялся от дыма. Глаза налились кровью, сознание помутилось.

— Птица Рох! Где ты, Птица?! Сгоришь, дурак!..

Половицы дымились под ногами. Из щелей выстреливали острые, колючие язычки пламени. Мысли путались, от едкой гари саднило горло. Чувствуя себя глубоким стариком, мейстер Филипп прямо ковылял вперед: спасти! спасти единственного человека, который любил Душегуба просто так!.. Уже у лестницы он все-таки вспомнил: Птицы в доме нет. Его увез лекарь Карлайль. А братья Втыки работают чисто, можно сказать, ювелирно. Ничего непоправимого. Ну, сгорел дом у хенингского Душегуба. Бывает. Небось из печи угли просыпались... У скряги денег много — новый постройт. А из людей никто не пострадал, все живы. Иди жалуйся! Кому? На кого?..

Возвращаться оказалось вдвое труднее. Донимал жар, дым раздирал легкие. Дыхание пенилось хриплым кашлем. С трудом нащупав дверь кабинета, мейстер Филипп буквально выпал в открывшийся портал. В таком виде он и предстал перед Советом: закопченный, с дымящимися подошвами и обшлагами рукавов, выхаркивая дым.

— Пожар!..

Гильдейцы смотрели на него, как на умалишенного.

— Пожар... там, у меня... Напоминают!.. Ничего, я пойду... посплю...

Не забываясь о том, что поняли коллеги из его бессвязной речи, мейстер Филипп вновь покинул залу. Лишь дойдя до середины дворика, заметил: фратер Августин следует за ним.

— Не хочу их слушать, — ответил цистерцианец на безмолвный вопрос. — Душно там. Воздух. Слова. Не могу больше. Здесь хорошо.

Похоже, монах был изрядно не в себе: никогда раньше он не говорил столь отрывисто и бессвязно.

Два начала боролись, сражаясь за разум и душу. Ослабленная, но все еще сопротивляющаяся воля — и властный зов праязыка, который стремился окончательно войти в плоть и кровь, перекроить монаха под себя. Все силы уходили на эту борьбу. На связную речь их уже не оставалось.

«День-два — и он проснется новым гильдейцем», — подумал Филипп ван Асхе. Удивительно: эта мысль не доставила удовлетворения. Наоборот: хенингский Душегуб ощутил странную горечь. У него на глазах великая, но слепая сила ломала упрямого человека. Человек еще сопротивлялся — но надолго его не хватит.

— Пожалуй, я тоже пройду. Отдышусь.

Они молча миновали двор.

Вышли за ворота.

Солнце наполовину скрылось за горизонтом. По морю к богадельне тянулась дорожка расплавленного золота. Когда они покидали обитель цистерцианцев, там тоже полыхал закат, хотя багровое солнце выглядело совсем иначе, чем здесь. Но ведь время в богадельне течет по-другому, нежели в Хенинге! — дошло вдруг до мастера Филиппа. Сейчас здесь должна быть ночь! утро! что угодно, но только не закат!!!

Мир качнулся, делаясь плоским. Солнце рывком приблизилось, по половинке диска, исчезающего за морем, ринулись тонкие трещинки. Воздух стал колючим, холодным, состоящим из бесчисленного множества хрупких иголок льда. Тронь, вздохни — осыплется сверканием осколков...

...Кукла!.. хочу!..

Все вернулось на круги свои. Закат. Море. Тишина.

— Вы видели?!

— Видел.

— Интересно, что там? По другую сторону?

В голосе цистерцианца не было страха. Зато

было любопытство ученого. Прежнего Мануэля де ла Ита.

— Не знаю. Хотя иногда мне кажется: ответ прост. — Филипп ван Асхе вдруг понял по-настоящему, что испытывают люди на исповеди. — У нас... у гильдейцев время от времени случаются некие проблески. Мгновенные ощущения, не имеющие касательства к окружающему. Звуки. Краски. Запахи. Обрывки каких-то картин... Мне вдруг пришло в голову: что, если это — фрагменты иного бытия, спрятанного за гранью? Желającego прорваться к нам? Жизнь, которая могла бы быть. Которая есть — но не здесь. Не сейчас. Я не знаю, так ли это...

— И я не знаю, — кивнул (*...звук дождя похож на овацию...*) монах.

Они стояли, глядя на закат. Потом мейстер Филипп глубоко вздохнул, повернулся — и застыл. На фоне лилового бархата неба, изломанного окружающими богадельню горами, четко вырисовывались силуэты верблюдов. Погонщики мерно качались в седлах. Грузно висели тюки.

Караван.

Филипп ван Асхе протер глаза.

Караван. Удаляется... исчез.

Никогда, никогда раньше в окрестностях богадельни не видели посторонних! Почему-то явление каравана взволновало больше шуток времени, отказавшегося идти по-разному, больше осыпи бытия и провала Обрядов. Спать. Скорее спать. Пока рассудок, надежный и уверенный поводырь, не упал, задыхаясь.

Спать...

Добравшись до первой попавшейся кельи, он рухнул на жесткое ложе. Провалился в черный омут сна без сновидений.

Казалось, прошло лишь мгновенье, когда его разбудил отчаянный крик:

— Мейстер Филипп, скорее! Он там! В Запрудах!
Да просыпайтесь же, мейстер!..
Кричала Матильда.

ХСІІІ

Когда мельника Штефана отрывали от ужина, он начинал звереть.

— Лю-у-у-у-ди! Люди-и-и-и добры-ы-ые!

Славный шмат окорока — ах, хряк Барбаросса, вечная тебе память! — застрял в горле. Пришлось залить сверху пивом. Увы, внутрь окорок пошел уже безо всякого удовольствия. Подмастерья живо заработали ложками. Сейчас мельник погонит на мороз, к воротам, а когда вернешься, каши в горшке останется на донышке. Давись тогда завидками.

Захлопал коровьими ресницами дурачок Лобаш, сын любимый.

— Лю-у-у-у!.. ди-и-и! Откройте!

Грохнув кружкой о столешницу, Штефан встал. Грузный, косматый. Мишкой-шатуном качнулся из горницы к сениям. Посылать других — только зло копить. Сейчас обложу незваных гостей тройным окладом, и сразу полегчает. Сердце толкнулось в грудь. Напомнило о себе злым вкусом. В последнее время сердце кусалось часто. Штефан дивился: вместе с болью всегда являлась память о байстрюке Вите. Дурная память, дурные мысли. Вот помру, значит, кому мельницу оставляю? Лобашу? Дурачок живо колеса в обратную сторону завертит... Старшему сыну? Горький пьяница и баламут, старший жил с супругой в Хмыровцах, у жениных родителей. Когда Штефан представлял его хозяином мельницы... Уж лучше спалить самому. Дотла. Вот и вспоминался байстрюк. Жаль, батя Юзеф, кремьень-старик, так и не признался, кто Жеське дите сделал.

Оставлю ему мельницу. Пускай судачат. Небось поживу еще... про мытаря забудут...

И Лобаш при парне не пропадет.

Крыльцо отозвалось всхлипами. Надрывался кобель Хорт, звеня цепью. Визгливо вторила Жучка. В ворота колотили крепко, с душой. Плотней кутаясь в кожух, мельник пытался совладать с кусачим сердцем. Странно: злость на чужаков не росла, а угасала. Двор сделался плоским, рисованным, грозя осыпаться в пекло. Штефан тряхнул головой, гоня наваждение прочь. Надо было взять шапку. Башка мерзнет, вот и мерещится.

— Кого черти несут?

— Хозяин! Хозяин! Богомольцы мы, из Хенинга! Хозяин, тут человек помирает...

Засов обжег руки.

— Помирает? Или помер? Если помер, несите куда подальше!..

— Не-а! Живой покамест! Брюхо ему пучит... отлежаться бы...

И надрывно, еле слышным шепотом:

— Прошу вас... денег дам!.. вот кошель...

В черном провале ворот объявился рослый детина. Протянул руку: на ладони блеснули монеты. За детской маячили еще две тени. Та, что поменьше, корчилась. Охала.

Еще дальше фыркали лошади.

— Хозяин! Пусты переночевать!

— Всех, что ли? Сколько вас там, богомольцев?

— Не надо всех! Болящегопусти! Очухается, догонит... мы ему кобылу оставим!..

— К святому Ремаклю шли?

— Ага! Шли, да не дошли. Дядьку скрючило... У него женка на сносях! Просить ехал, святого-то...

— Ладно. Несите в дом.

Больной едва переставлял ноги. Глядя, как он висит на плечах спутников, мельник Штефан ощу-

тил некое томление души. Вот, человек помирает. Может, совсем помрет. И он, мельник, тоже помрет. Рано или поздно. И герцог наш помрет. И все помрем. Однажды. Добрее надо быть. Добрее. Правы монахи: добро — оно...

В смысле всегда зачтется.

Ишь бедолага: шкандыбает...

Не забывая охать, бедолага Максимилиан ап Нанис внимательно присматривался к хозяину. К женщине на крыльце. Крупной, костистой. К дому. К верхним окнам. Ловчий собирался выпросить каморку на втором этаже. Откуда так удобно подать сигнал горящей свечой. Добряк Магнус с Юлихом обещали караулить на берегу. В очередь: пока один бегают в лагерь богомольцев греться, второй ждет знака. О значении разных сигналов договорились заранее.

Утром мельник с подмастерьями уйдет на работу.

Скоро утро.

Поднимаясь на крыльцо, главный эшевен Хеннинга старался не взглянуть в лицо женщине. Маленькое, простительное суеверие. Смерть — она без лица. А значит, без лишних воспоминаний.

— Тащите его в хату, — с состраданием в голосе сказала Жюстина. — Я отвар согрею...

XCIV

Городские ворота Вит миновал на закате. Солнце как раз краснело от стыда, больше всего желая спрятаться от постылого мира с его мышиною возней. По пути от дома Дегю никому и в голову не пришло остановить безоружного. Заговорить? Проверить наличие сословной грамотки? Наряд Вита кричал во всеуслышанье: «Юный дворянин озабочен своими делами! Юный дворянин очень спешит! Прочь!...»



Прочь так прочь. Если костюм можно купить в лавке, прикинувшись знатью, то подделать стремительность походки... Стража в воротах лишь проводила путника взглядами: куда собрался на ночь глядя благородный отпрыск? Впрочем, это его дело. Короче нос, длиннее жизнь.

Не суй, не прищелят.

Оставив башни Хенинга за спиной, Вит припустил быстрее. Смутное беспокойство подталкивало в спину, заставляя спешить. Ничего; к рассвету он непременно доберется до Запруд. Он сильный. Он быстрый. То-то мамка обрадуется, увидев сына в таком наряде! Вит тебе, мамка, все расскажет. Все-все. Плюнешь в глаза сельским кумушкам, а те утрутся да в ножки! в ножки падут!.. А обратно мы уже поедем на телеге. Даст мельник телегу, никуда не денется! А Вит ему еще и денег отвалит... Лобаш с Пузатым Кристом вообще от зависти лопнут. Надо будет их потом тоже в город забрать. Службу обоим придумать. Чтобы дел — с гулькин нос, а звон лопатой грести! Витольд друзей не забывает. Дразнились «байстрюком»?! А я вам звону, одежду новую... хоромы поставлю!..

Быстро темнело. Но сумерки отнюдь не мешали юноше прекрасно видеть дорогу. Наддай! еще! Где ты, «курий слепень»? А-у-у! Сгинул. Больше не вернется. Ну и слава богу!

Новые башмаки с бантами (ушлый Камердинер звал их чудным словом «туфли») мягко толкались в подмерзшую глину тракта. Виту казалось: он летит на крыльях. Бежалось легко, в охотку. Только когда попадались участки вязкой грязи и башмаки-туфли начинали противно чавкать, приходилось замедлять бег. Такие места юноша преодолевал с упрямой ожесточенностью. Зато студеный воздух, холодивший лицо, был даже приятен.

Тело жило само, двигаясь, одолевая пространство.

Позволяя рассудку скатываться в нору дремы. Ниже, глубже...

...Раскисшая дорога, по обочинам — снег. Грязный, ноздреватый. Нагие пригорки. Будто плечи в обрамлении...

...мамка! мамка моя!

Неужто сон и вправду вещей?!

Вит заставил тело отдаться бегу целиком. Как отдаются только по любви. Выдираясь из липких, глинистых объятий дороги, пытавшейся удержать беглеца. Расплескивая дальний хохот кошмара: заморочу! лишу сил!.. Врешь, злой ворон! Он успеет к рассвету, он спасет мамку... все будет хорошо!.. На небо выползла луна, и теперь впереди юноши бежала длинная изломанная тень. Они мчались наперегонки: кто быстрее. Отчего-то Вит считал очень важным обогнать эту фигуру: плоская, черная, она издевательски дергалась впереди, ускользя. Ветер хлестал по лицу узловатой плеткой, глаза слезились, окружающее виделось размытым, лживым. Мир готов был вот-вот осыпаться черепками разбитого горшка. Явить свое настоящее лицо: зубастый оскал зверя, усмешку букашки-гиганта, от которой и спрячешься, да не спрячешься...

Еще дважды юноша засыпал прямо на бегу. Пейзажи, искаженные призрачным светом луны, мешались с видениями, где-то далеко были волки, вторя хохоту пугала-сна. Несколько раз Виту слышался голос Матильды. Жаль, слов не разобрать. На что жалуешься, Тильда? О чем упреждаешь? торопишь, да? Я бегу, Тильда, я спешу, как могу, как умею, спешу к тебе, к мамке, я успею... Ссохшиеся

губы шевелились, словно в бреду. Я устал. Я очень устал. Сейчас бы присесть, отдохнуть... хоть на минуточку... Нельзя! Нельзя останавливаться!

Надо бежать, бежать, бежать...

Когда Вит снова очнулся, край неба посерел. Луна исчезла, предрассветная мгла неохотно редела, а впереди, совсем рядом, лежало родное село. Добежал! успел! успел к рассвету! На негнущихся, чужих, деревянных ногах, сбросив изорванные вдрызг туфли, босой юноша двинулся по знакомой улице — вниз, под гору, к реке.

ХСV

Ночью Жюстине не спалось.

Женщина ворочалась на кровати. Дважды вставала, открывала окно. Долго вдыхала морозный воздух. Снова ложилась. Ничего не помогало. Больной паломник из Хенинга, свалившись под вечер снегом на голову, разбередил душу. Казалось бы: чужой человек. Отлежится — и съедет. Поминай как звали. Так нет же: настой от «заворота» согрела, сама наполнила, и постелью озаботилась, и щели оконные паклей заткнула — не дай бог, продует беднягу! Больной от женского внимания сильно смущался. В лицо смотреть избегал, только благодарил шепотом. А племяши-проводяты, прежде чем в лагерь уйти, расплатились щедро. За ночлег, а сверх того — за заботу о прихворнувшем дядюшке.

Что тут особенного? Ничего. В первый раз, что ли, чужие люди в доме ночуют? Однако Жюстина нет-нет, да и возвращалась мыслями к паломнику, уснувшему наконец под двумя овчинами. Вот так поедешь в чужие края, а тебя болячка по дороге — хватить! Хорошо, если люди добрые попадутся. Приютят, выйдут. А если нет? Сдохнешь в придорож-

ной канаве, и никому до тебя дела не будет... Хотя в селе, хоть в городе.

Кто ее Вита приголубит? Кто согреет?

Жюстина часто вспоминала о сыне. Но сегодня ночью от этих мыслей, как никогда, щемило в груди. Бабы сердцем думают. Едят себя поедом. И зря. Ведь приезжал осенью этот... ван Асхе? Из Гильдии. Вежливый, обходительный. Про Витольда рассказывал: мол, не беспокойтесь. Хороший парнишка. Опеку над мальцом взял: Жюстина грамоту нужную с грехом пополам прочла, расписалась. Денег оставил — Штефан от счастья два дня пил. Рад был мельник: и деньгам, и за мальчика. Обещал Душегуб пристроить Витольда на хорошую службу. Не сохрал, похоже. Пристроил. Позже еще двое заезжали. Рыцари. Тоже сыном интересовались. Видать, сынок в услуженье к этим господам попал. Чего ж еще желать? От Бога дулю? Про мытаря-то убитого все небось давно позабыли...

Что ты места себе не находишь, дура-баба?!

Все разумные доводы, призванные унять растревоженную душу, пропадали втуне. Сон бежал женщины. Временами Жюстине вообще мерещилась чертовщина: стены комнаты вытягивались в одну линию, начинали трескаться, осыпаться древесной трухой. Тьма за окошком редела, шла клочьями... Хоть бы с сыном повидаться! Обнять, приласкать... Парой слов перекинуться: про житье-бытье. Тогда б она спокойна была, и грудь ныть перестала бы. Может, и впрямь пасть в ножки Штефану — отпустить в город! Хоть на денечек! Найду Душегуба, спрошу: как там мой Витанечка?

Вставали в доме мельника рано. Вон уже слышать, как топают внизу проснувшиеся мужики. Не зажигая свечу, Жюстина спустилась вниз по скрипучей лестнице. Молча занялась завтраком. С утра наедаться — день портить. Подала хлеб с сыром,

кувшин молока. Заглянув в бочку с водой, собралась было отправить Лобаша с ведрами к Вешенке (благо недалеко).

Но вмешался Штефан:

— Сама сходишь. Мне Лобаш на мельнице нужен. Колесо перекосило. А нам еще молоть сегодня.

Пока мужчины одевались, Жюстина успела прибрать со стола. Ополоснула в корыте посуду — бочка совсем опустела. «Как бы постоялец болящий не проснулся. Ему ведь тоже завтрак нужен...» Женщина прислушалась. Нет, тихо наверху. Ничего, успею.

Подвесив ведра на коромысло, она вышла из дому. Дорога, сползая в приречную низину, совсем раскисла. Занимался рассвет — хмурый, зябкий. Жюстина поежилась на ходу. Поскользнулась, едва не упав. Зачем-то оглянулась. В окне второго этажа, где поселили богомольца, ей почудился огонек. Наверное, встал уже. Свечку запалил. Вернусь, спрошу: может, горяченького?

Вот и берег. Корка ноздреватого, подмытого течением льда. Дотянуться бы до воды — не ровен час, оступишься. Жюстина сняла коромысло. Примерилась: как бы половчее зачерпнуть воды ведром...

Чья-то крепкая широкая ладонь зажала ей рот.

Издалека донеслось:

— Мамка! Не тро...

Небо упало на затылок.

«Теперь отосплюсь», — последняя мысль, прежде чем вернулась ночь.

ХСVI

— Мамка!

Слякоть, усталость, боль в ногах — все разом потеряло значение.



— Не трожьте ее!! Не сме-е-ейте-е!!!

Озноб. Вихрь. Зимний буран сил, вернувшихся по первому зову. Горячо и мощно ударило в руки, в ноги; безумная, жаркая легкость плеснула изнутри, наполняя тело упругой мощностью, делая его звонким, как струна. Защитить! Спасти! Успеть!

Букашка послушно ринулась наружу. На миг замерла, осматриваясь. Повела усиками. Взгляд ледяных от ненависти глаз впился в спины двоих лиходеев, застывших за мамкиной спиной. Берег реки встал девятым валом, рушась навстречу. Медленно, словно нехотя, вздымается тяжелый кулак. Быстрее! еще быстрее! Смазанная, синяя, стальная тень распласталась в морозном воздухе, пожирая расстояние. Кувалда кулака плывет вниз. Опускается на мамкин затылок...

Гады! Убью!..

Жесткие, зазубренные лапы не ударяют — вонзаются в ближайшего врага. Раздирая глотку: кровавые ошметки брызжут в стороны. Хрустит, ломаясь, шея. Бульканье... тишина. Второй успевает обернуться — чтобы утонуть в убийственной синеве теней. Катится, кувиркается тело... Корчится в сугробе.

— Мамка!

Она жива! жива! По-другому просто не может быть! Ухо — к груди. Грудь у мамки большая, мягкая. Как у Матильды. Долгая, жуткая тишина. Глухо: толчок. Еще один. Вздых. Жива! Ладони плещут в лицо ледяной водой.

— Мамка, очнись! Это я, Вит! Ну очнись же!..

Дрогнули веки. Взгляд — мутный, бессмысленный. Потом Жюстина моргнула: раз, другой. Тихо охнула:

— Виталя? Сыночек...Ты?!

Обнять. Ткнуться лицом в мягкое, родное.

Ощутить на волосах ладонь: будто нимб Господень. Свет и тепло.

— Витанечка! Живой... А мне... мне такое привиделось!.. Ох, голова!... плохо мне...

Гладившая Вита по волосам рука опадает бесильной плетью.

— Погоди, сыночек... я сейчас...

Опять мамка чувств лишилась. Ничего, главное — жива. Теперь все хорошо будет. Теперь все...

Вит ухватил мать под мышки, оттащил к росшей неподалеку ольхе. Усадил, прислонив спиной к стволу. Здесь посуше будет. Ты, мам, сиди пока тут. Я скоро. С пугающей легкостью перевернул труп. Горло — в клочья. Лицо. Синее* лицо. Знакомое лицо. Юлих?! Почему? Откуда ты, Молчун?..

По правую руку стонал сугроб.

— Магнус?! Что ж вы, гады...

Он едва удержался, чтобы не добить проклятого Добряка. Нет, пусть сначала скажет. Захочет — скажет. Не захочет — все равно скажет.

— Кх... кхто... ты? — Магнус выдавливал слова через силу, с надсадным хрипом, морщась при каждом вздохе. Правая рука онемела. В боку кричали осколки ребер, моля о пощаде.

— Забыл? — нехорошо прищурился Вит.

— Ба-а-а... Бацарь?!

— Узнал, падаль. За что мамку мою порешить хотели?

— Мамку... твою? Мы не... не знали мы... Велели нам, Бацарь. Баба, зна-а... значит. Надо... По-тихо-му. Мы ее и не видели никогда...

— Кто велел?

Магнус умолк. С трудом повернул голову. Отважился взглянуть Виту в глаза. И понял: ему больше не надо бояться братьев Втыков. Им не успеть добраться до Добряка Магнуса. Потому что Добряк умрет значительно раньше.

Здесь и сейчас.

— Вты... Втыки. С нами еще один... был... Ловчий. Он — главный... Знак подал...

— За что? Говори!

— Не знаю... Правда, не знаю. Велели нам...

Юноша медленно отвернулся. Очень трудно удерживать букашку. Очень.

В спину толкнуло, задыхаясь:

— Добей... Слышишь? Добей, Бацарь!.. Все одно помру... Сил нет: больно...

— Сам сдохнешь, — ответила букашка, прячась.

Забыв о Магнусе, Вит заторопился к матери.

— Как ты, мам?

— Хорошо, сынок... хорошо мне... Голова только... кружится. Ты-то как? Откуда?

— Из города. К тебе спешил. Пошли в дом, мам, простынешь тут...

— Я... сейчас... ведра забрать надо... Штефан заругается!..

— Да я после сбегая, заберу. Идем, мам!

Не хотелось, чтобы мамка видела подонков. Убитого и умирающего. И так все знают, кто мытаря жизни лишил, — а тут еще двое! Испугается мамка, а ей нельзя пугаться; вон — еле ноги волочит. Вит подставил матери плечо, помог подняться. Мягко, но настойчиво развернул в сторону дороги, прочь от двух тел у воды.

Шли медленно, с трудом, то и дело оскальзываясь. Жюстина обвисла на плече сына — Витольд будто не чувствовал тяжести. Могли бы и быстрее идти. Жаль, мамка совсем хвора. Ничего, до дому рукой подать. Сейчас дотопаем...

Паутина!

Чувство опасности иглой кольнуло в сердце. Заставило обернуться.

Всадники. Еще далеко, но скачут сюда. Витольд сдвинул брови, вглядываясь. Знакомые цвета одежд.

Влитые в седла фигуры. Граф! И с ним этот... Дегю. Двое. Без спутников.

Без свидетелей.

«...только мамаша здесь совсем некстати... удавить «баронессу»... концы в воду...»

Если бы Жерар-Хаген сейчас увидел юношу — обрадовался бы. Сын был очень похож на отца. На деда. На весь Хенингский Дом, не умеющий прощать.

— Мам, скорее!

— Не могу... сынок, беги сам!..

Вит видел: и вправду не может. Подхватив мать на руки, он рванул вверх по склону. Со стороны это, наверное, выглядело жутко: щуплый босой парнишка, неся грузную женщину, спешит вверх по раскисшей грязи. И не просто спешит — взлетает, как на крыльях. Будто женщина — пушинка.

Сама Жюстина удивиться не успела, вновь потеряв сознание.

Умел бить Молчун Юлих, земля ему пухом.

Поет дорога. Кричит дорога. Предупреждает топотом: беги! Хорошо, дом рядом. Ворота. Двор. На крыльце — чужой человек. Тот самый, которого Вит видел в доме Дегю, вместе с графом. Он еще на Крючка шипел. Все сходится. Это отец его нанял.

Неохота благородные руки марать?!

А топот за спиной растет. Падает обвалом. Ловчего Вит убьет легко. А два рыцаря легко убьют его, Вита.

Значит, конец?

Значит, зря?!

ХСVII

Ловчий умел делать выводы очень быстро.

Время умирать. Выстоять в схватке с юношей? спастись бегством?! — смешно и думать о таком.

Максимилиан ап Нанис прекрасно представлял себе, на что способен Витольд. Пускай на руках у юноши потерявшая сознание женщина. Пускай.

Это ничего не меняло.

Но главный эшевен Хенинга не думал о смерти. Дело не в храбрости. Умирать страшно всем: и трусам, и храбрецам. Он смотрел на юного мстителя и видел в нем... Да, сомнений больше не осталось.

Перед Ловчим стоял молодой Густав Быстрый!

...человек, навсегда оставивший фамильное клеймо на горле Максимилиана.

...человек, бывший для Ловчего всем. Воплощением мечты. Идеалом.

Государем.

...человек, которому следовало беспрекословно повиноваться.

И неважно, что юношу звали Витольдом, а не Густавом. Неважно, что судьба дышит в затылок. Несчастен тот, кто не способен понять: это радость — выполнить приказ государя! Приказ существа, значащего для тебя больше, чем просто человек! Приказ живого бога.

Максимилиан ап Нанис больше никогда не огорчит хозяина оплошностью!

— Прикажете умереть, мессир?

Эшевен низко склонил голову. Ожидая последнего удара, как последней милости.

— Успеешь! Запри ворота, болван!

И Ловчий радостно бросился к воротам: задвигать тяжелый засов. Он еще нужен! Он еще может послужить хозяину!

Вит с Жюстиной на руках сделал два шага к дому. Навстречу им, болезненно скрипнув, открылась дверь. На пороге стоял Филипп ван Асхе: мятое лицо, синие мешки под глазами. А за Душегубом радужным сиянием переливался портал! Двери, двери, двери... бесчисленный коридор чудо-дверей.

— Скорее, Витольд! Сюда!

Топот копыт за забором нарастал грохочущим крещендо. Душегуб ждал, держа портал открытым. Протягивая Виту руку: ну же! давай! Так добрые волшебники в сказках всегда в последний момент приходят на помощь смельчакам, попавшим в беду. Но Вит больше не верил в добрых волшебников. В сказки. В смельчаков. Он просто бежал. С матерью на руках. Он никогда еще так не бегал. Даже падая со склона на спины убийц.

Никогда.

— Мейстер Филипп! Я... я уже!..

Кричал ли он в самом деле? Или только думал, что кричит?

Какая разница...

Две живые молнии взлетели над забором. Вдогонку. Вслед. Эгмонт Дегю и Жерар-Хаген, не спешиваясь, послали свои тела в полет прямо с седел. Однако Эгмонт, забыв о приличиях, все же опередил на краткий миг сюзерена: в конном бою семья Дегю не знала себе равных.

И, падая в портал, Вит ощутил, что значит хватка себе подобных.

ХСVIII

Совет продолжал заседать.

Чудеса! — У гильдейцев с деканом Белого капитула нашлась уйма тем для разговора. Очень важных. Очень нужных. Никто из собравшихся не замечал, что ночь на исходе. Серая, мутная вода, качая ожидание зари, робкими струйками затекала под своды капитула, еще бессильная соперничать с огоньками свечей. Жутковатый налет inferнальности: мерцанье пламени выхватывает из темноты лица, словно разыскивая одно-единственное, нужное позарез. Колеблются тени на стенах: сойти? ос-

таться?! Невидимый, но ощутимо давящий купол над головами, куда не в силах добраться жирные, масляные отблески. Сизые пряди ползают по полу. И — уверенные слова ораторов: свет грядущего, величие его, опоры и фундамент Столпа...

Трагедия?

Фарс?!

Действо слегка напоминало «Тайную вечерю» безумного живописца Фонтанальи, изобразившего вокруг Первоответчика с учениками толпу бюргеров — тупые, самодовольные, с вилками и ложками в руках, они меньше всего внимали печальной мудрости, но, боясь кинуться в открытую, тайком жаждали объедков со стола...

Незванные гости с разгону влетели прямо в пляску огней, теней и слов. О нет, не трусливые бюргеры! нет! Словно сам Ад изверг из недр клубок сцепившихся демонов. Как ни странно, на ногах удержался только Филипп ван Асхе — последнего Вит отпустил, уже вываливаясь из портала в залу. Остальные кубарем покатались по полу, но почти сразу клубок распался. «Тайная вечеря» стала «Битвой в саду». Витольд закрыл телом бесчувственную мать — хищник, сын хищника, готовый к последней, отчаянной и безнадежной схватке. Двое рыцарей, обманчиво-неподвижных: мрамор статуй грозит в любой миг обратиться вихрем смерти. И между яростью и отчаянием — разводит руками мейстер (...*капли дождя на голых ветвях ясеня...*) Филипп. Говоря всем своим видом: «Я сделал, что мог, коллеги. Как вам результат?»

— Господа! Позвольте представить вам благородного графа цу Рейвиш!

Улыбка Душегуба могла остановить льва.

Одна из статуй ожила. Быстрее, чем способно уследить зрение человека, шагнула к Совету, обретая стать вельможи, привыкшего повелевать.

— Я требую объяснений! Что это за сатанинское собрание? Кто эти люди? Что здесь вообще происходит?

Первым успел фратер Гонорий. Декан выступил вперед, оказавшись в круге света от ближайшего шандала. Он действовал наверняка: так гости сразу видели, кто с ними говорит.

— *In nomine suo benedico vos!*¹ Мейстер Филипп вполне способен сам дать необходимые разъяснения, но... Я лелею надежду, что господин граф скорее поверит лицу духовному. Ваша светлость, я — брат Гонорий, скромный инок ордена кармелитов. И заверяю вас: здесь нет козней Сатаны. Это не шабаш, это собрание Совета Гильдии. Пусть мое присутствие послужит залогом того, что никакие богопротивные или противозаконные действия не могут иметь места в сем здании.

Жерар-Хаген оценивающе смотрел на кармелита. Лжет «босьяк»? Не похоже... Впрочем, сейчас это не имеет значения. Как не имеет значения и то, каким поистине дьявольским способом они попали сюда, влетев в дверь сельского дома. Отношения Душегубов с адом, раем и святой церковью — их личное дело.

Сейчас графа беспокоило совсем другое.

Его тревожил Витольд. Взгляд сына, устремленный на отца, был красноречивей всяких слов. Мальчик умен. Быстро соображает. Это хорошо. Сейчас он ненавидит родителя фамильной ненавистью Хенингского Дома: пенной и яростной, как клокочущий поток в горах. Это плохо. Некстати. В любом случае мальчика следует немедленно забирать отсюда. А там... Выход всегда найдется. Можно будет пожертвовать Ловчим, списав все на своеволие эшевена...

¹ Благословляю вас Его именем! (*лат.*).

Но это — позже.

— Я верю вам, святой отец. И до поры воздержусь от лишних вопросов, — взгляд графа плетью ожег лицо хенингского Душегуба. — Мейстер Филипп, потрудитесь указать нам обратную дорогу! А затем в течение недели я жду вас в замке Рейвиш для проведения Обряда, о котором вам известно. После чего я, возможно, задумаюсь о снисхождении.

— Шиш тебе! Никуда я не пойду! — Вит осторожно усадил Жюстину, начавшую приходить в себя, на угловую скамью. Выпрямился в полный рост.

— Не пристало сыну столь вульгарно пререкаться с отцом! Да еще при посторонних, — Жерар-Хаген старался говорить холодно и твердо. Получилась холодная и твердая фальшь. — Мы переговорим наедине, как подобает благородным людям. А эту... эту женщину оставь здесь, на попечение святого отца.

— Не пойду!

— Ваша светлость! Совет Гильдии счастлив!.. э-э-э... Однако некое затруднение... — Мейстер Энгельберт наконец оправился от растерянности.

Граф с трудом сдержался, чтоб не пришибить наглого старикашку.

— Какое еще «затруднение»?!

— О, все мы — преданные слуги вашей светлости! Господина графа проводят прямо в его замок! А мы готовы заботиться об этой женщине до конца ее дней. Трудности возникнут... э-э-э... с Обрядом для вашего сына...

— Я не ослышался? — Жерар-Хаген сдвинул брови. — Трудности с Обрядом в роду Ответчика?

— Молю вашу светлость не гневаться! Однако Обряд над вашим сыном... э-э-э... так сказать, уже... Господин граф понимает меня?

— Уже? Обряд без отцовского соизволения? Без моего соизволения?!

Очень тихо говорил сын Густава Быстрого.

Леденящее эхо смертного приговора пошло бродить меж скамьями.

— Ваша светлость! У нас не было выбора! — отчаянно заторопился ректор Совета, чувствуя, что балансирует на грани. — Ведь факт вашего отцовства тщательно скрывался! А мальчик... учитывая его... э-э-э... не вполне обычное происхождение...

— Что вы этим хотите сказать?

Шелест крыльев Ангеля Смерти стал явственно ощутим.

— Ничего, господин мой! Ни-че-го! Ровным счетом! Просто здоровье этого прелестного отрока... э-э-э... внушало серьезнейшие опасения! Промедление было гибельным! И Совет Гильдии... э-э-э... взял на себя смелость поручить мейстеру Филиппу... Зато теперь Витольд совершенно здоров! Совершенно! Нижайше прошу не гневаться... мы спасли вашего сына!..

Мгновение граф цу Рейвиш размышлял. Становилось ясно, почему Витольд не по возрасту силен и вынослив в бою. Обряд объяснял все. Старикашка прав: это создает дополнительные трудности. Надо будет крепко подумать, как подать проведение Обряда без соизволения отца. Впрочем... Кто сказал, что соизволения не было? Просто Обряд вершился строго в семейном кругу, без вассалов... Потом! Все потом. Объяснение найдется, и достаточно убедительное.

А через пару лет об этом вообще забудут.

— Я не гневаюсь. Напротив, мейстер Филипп получит достойное вознаграждение за участие в судьбе моего сына. Вы слышите меня, мейстер?! Потрудитесь указать нам обратный путь.

Волна беспокойства прокатилась по зале капиту-

ла. Все планы рушились! Сейчас граф заберет сына — и до мальчика больше не дотянуться. Никогда! А значит, не удастся вернуть все на круги своя, восстановить неизбежность Обрядов, их однозначность и предсказуемость!

— Коллеги! Смотрите! Это... это чудовищно! Около половины Обрядов не дают результата! Катастрофа!

— Кажется, у Гильдии какие-то неприятности? — Граф позволил себе едва заметно усмехнуться. — Сочувствую. Тем более не хочу вам мешать.

И повелительно, с недвусмысленным оттенком угрозы:

— Мейстер Филипп! Вы заставляете нас ждать.

Любой другой на месте хенингского Душегуба, услышав такие слова, а главное — тон, которым они были произнесены, побелел бы как полотно. Кинулся бы исполнять: стремглав, сломя голову.

Однако Филипп ван Асхе остался на (...*трещины змеятся по глыбе гранита...*) месте.

— Увы, ваша светлость, не все так просто. Прошу выслушать меня. Как уже говорил мейстер Энгельберт, Гильдия взяла на себя смелость провести Обряд над мальчиком. Ради спасения его жизни. Однако с того самого момента и начались неприятности, упомянутые вашей светлостью. Возможно, господину графу еще неизвестно, что все большее количество Обрядов стало заканчиваться неудачей! Знатные родители в гневе, устои общества трещат...

— При чем тут мой сын?!

— Вот это мы и хотели бы выяснить. Пока нам ясно одно: день начала неудач с Обрядами. Сей факт держится в тайне. Но если тайна станет доступна... если об этом заговорят... Господин граф понимает меня?

Жерар-Хаген умел держать удар. Он не сказал ничего. И ничего не сделал. Лишь стремительно

обернулся к Дегю. Обменялся взглядами. Рыцари прекрасно поняли друг друга. Если причиной провалов Обрядов сделают дворянина из Хенингского Дома... Тогда останется лишь с честью пасть в бою.

Хенинг против всех.

Даже вассалы предадут... даже самые верные...

— Я понял вас. — Голос Жерара-Хагена сделался похожим на сломанный меч в реликварии. Позор, обращенный в рыцарское достоинство. — Вы помогли моему сыну, и теперь я, некоторым образом, в долгу перед Гильдией. Граф цу Рейвиш привык платить свои долги. Поэтому я остаюсь здесь. Итак, повелеваю: продолжить заседание Совета!

Граф величественно прошествовал к месту настоятеля. Опустился на жесткий стул — как на трон. Эгмонт Дегю занял позицию за спиной сюзерена. Милостивый взмах рукой: начинайте! Однако гильдейцы растерянно моргали — такого поворота событий не ожидал никто!

Лишь один человек в зале выглядел спокойным.

Фратер Гонорий имел вид гончей, наконец-то взявшей свежий след.

— С позволения его светлости, я начну. Искренне надеюсь, что сообщая мы завершим дело к общему удовлетворению и вящей славе Господа! Для начала хотелось бы выяснить: имел ли Обряд, проведенный с сыном его светлости, какие-либо отличия от остальных Обрядов? Ибо трудно предположить, что обычный, ничем не примечательный Обряд, коих творится десятки и сотни, мог возыметь столь ошеломляющее действие! Итак, дети мои: были ли отличия?

— Да. Были.

Мейстер Филипп смотрел прямо перед собой.

— Я так и знал! — Гонорий не сдержался и азартно потер руки. — Какие же именно, мой милый мейстер?

— Обряд впервые проводился в стенах богадельни.

— Ах, значит... Ладно, об этом позже. Были ли еще отличия?

— Да.

— Назовите их, пожалуйста.

— Боюсь, перечисление *всех* отличий займет слишком много времени, святой отец. И мы уподобимся ловцу жемчуга, в поисках раковины решившему выпить море.

— Вы правы, милейший мейстер. Вполне возможно...

Кармелит прошелся по зале, задумчиво поглаживая пальцем подбородок.

— Я предлагаю другой способ добраться до истины! Мы проведем следственный опыт... Ваша светлость, не против?

— Говорите, святой отец, — милостиво кивнул монаху Жерар-Хаген, заинтересованный и мало что понимающий.

— Мы воспроизведем Обряд над юношей! Во всех подробностях! А лица незаинтересованные станут подмечать отклонения и делать выводы!..

— Но...

— Повторный Обряд? Чушь!

— Это опасно!

— Молчать! — Приказ Жерара-Хагена оборвал возникший в зале шум. — Пусть говорит отец Гонорий!

— Благодарю вас, ваша светлость. Я понимаю вас, дети мои...

— Нет, вы таки не понимаете! — не выдержал мейстер (...уханье *филина*...) Шолом-Бер. — Нельзя провести Обряд дважды над одним и тем же человеком! Или вы хотите, чтоб мальчик умер? И чтоб его светлость выпустил за это кишки всем нам?

На миг кармелит задумался. Но только на миг.

— Разумеется, я этого не хочу. И потому предла-

гаю убрать центральный элемент Обряда, оставив нетронутой общую картину. Насколько мне известно, для Обряда над дворянином требуется золотая статуэтка, изготовленная гильдейцем. Я не ошибаюсь?

— Не ошибаетесь.

— Без нее Обряд не будет иметь обычного действия?

— Нет...

— Не будет...

— Скорее всего — нет. Хотя лично я бы не рекомендовал...

— Итак, ваша светлость! Вы разрешаете нам провести следственный опыт?

Граф медлил. За спиной молчал Дегю. Сейчас Жерар-Хаген должен был решать сам, не полагаясь на ум юстициария.

— ...Разрешаю. Но если мой сын пострадает...

Даже стены уловили смысл графского намека. Дрогнули.

— Благодарю вас, ваша светлость. Здесь ли участники исходного Обряда?

— Здесь.

— Где именно проводился Обряд?

— В базилике.

— В таком случае, идемте туда. Готовьте все необходимое. Насколько я понимаю, нам следует поспешить.

XCIX

Стук в дверь.

— Заходите, — с раздражением, удивившим его самого, крикнул фратер Августин.

Он сидел в келье больше часа. Тупо глядя в стену. Это Гонорий предложил: для пущей чистоты «следственного опыта». Чтоб все было, как тогда.

Декан Белого капитула оказался прав: не все, но многое. Например, бессонная ночь.

И смятение души на пороге неизвестности.

В низкую дверь, горбясь, протиснулся Костя Новоторжанин. В руке новгородца горел фонарь, закрытый колпаком из стекла.

— Здрав будь, отче, — начал Костя, повторяя свое прежнее приветствие. Запнулся, поймав мрачный взгляд монаха. Спрятал фонарь за спину. И закончил уж вовсе невпопад:

— Идем, поп...

Тишина богадельни сегодня тоже была похожей, но другой. Если тогда, на пороге удивительного Обряда, она соперничала с тишиной древних соборов, где веками копится благоговение паствы, — сейчас беззвучие обители скорей напоминало детскую спальню на рассвете. Запах молока. Безмятежность. Скоро войдут родители. Скоро дитя проснется, громко заявляя миру плачем или смехом: «Я здесь! Я живу!...» Но это случится позже.

Фратер Августин мотнул головой, гоня сравнение прочь.

Перевод близился к концу. Перевод «Наставления жизни человеческой». Перевод жизни человеческой через дорогу. Там, на обочине, жизнь отдохнет, чтобы вскоре двинуться дальше, иными путями. Навстречу солнцу. Вот оно, солнце: прячась за скалами, едва-едва тронуло крыши. Прозрачный воздух звенел, искрясь свежестью.

— Мне потребуется переносной горн.

— Уже озаботились.

— Мы что, продолжим ломать комедию? Говорить про уголь, крюк? Щипцы?!

— Слышь, поп... — вместо ответа пробормотал Костя. Новгородец выглядел испуганным. Бледным, суетливым. — Плохо мне. Очень плохо, поп. Смутно. Весь час мнится: это взаправду...

И добавил, комкая забытую на лице улыбку:

— Молись за мя, грешного...

Дверь открылась, впуская людей под своды базилики.

Ширма уже стояла рядом с апсидой. Совет Гильдии толпился в боковых нефах, еле слышно шепчась. Бок о бок с давно умершими гильдейцами: вон папа Иннокентий... вежливый мавр... Тихо плакала, зажимая себе рот, Жюстина: сердце матери чуяло беду. Холодно молчал граф Рейвишский. Кривил тонкие губы рыцарь Дегю. Босой кармелит задумчиво стоял у алтаря, наблюдая. «Ноев ковчег, — думал монах, приближаясь к ширме. — От всякой плоти по паре. Гильдия. Чернь. Знать. Слуги церкви. Призраки мертвых: вечная память. Скоро войдут двое невинных. Затворят дверь. И ковчег отправится по хлябям, чтобы выжить или разделить судьбу обреченных».

Сводя за собой створки ширмы, он вдруг понял, почему Совет Гильдии предпочел жаться в тесноте, но ближе к выходу. Если граф цу Рейвиш решит, что здесь творится непотребство... Ничто не помешает двоим рыцарям перебить всех. До единого. Но часть Совета ускользнет через портал. И Гильдия не будет обезглавлена.

Такая предусмотрительность внезапно развеселила монаха.

Еле-еле сдержал смех.

Нет, не сдержал. Прыснул в кулак. Потому что возле горна топтался новоявленный ректор Совета. Толстячок явно заменял собой бородача Пелгусия. И чувствовал себя в этой роли полным профаном: мялся, смотрел в пол. Виновато пожимал плечами. Монах успокаивающе махнул рукой. Полно вам, мейстер Энгельберт. Угломонитесь. Ничего особенного не происходит.

Толстячок поднял голову.

В расширенных зрачках плескался ужас.

Монах не выдержал: отвернулся. Отсюда было хорошо видно: в зале Гонорий подозвал к себе новгородца. Что-то спросил. Костя кивнул. Тогда кармелит быстро прошел за ширму.

— По-моему, брат мой, — сказал он, обращаясь к цистерцианцу, — вы здесь единственный человек, с которым можно говорить. Остальные трясутся от страха. Я задал простой вопрос: «Кто из детей вошел первым?» И знаете, что мне ответил этот русин?

Фратер Августин тронул горн. Остыл. Велеть мастеру Энгельберту разжечь огонь?..

— Знаю. Попросил молиться за него, грешного.

— Откуда вы знаете?!

— Какая разница? Первой вошла Матильда. А Костя сопровождал мальчика. Велите начинать?

— Да! Благодарю вас...

Гонорий быстро удалился: командовать. Шорох пробежал по базилике. Шорох, шепот, шуршанье. Будто тысячи крыльев мели перьями по полу. Снова коснувшись горна, монах едва не вскрикнул: почудилось, что металл раскален. Что внутри кипит золото и время сбрасывать шлак. На дитя, тихо дремлющее в нише, он старался не смотреть. Хотя взгляд мимо воли нет-нет да и скользил по хрупкой фигурке. В эти мгновения становилось не по себе. Смущение, трепет сердца. Будто ненароком проник в чужую тайну. Так и чудилось: сейчас девочка откроет глаза, взглянет на него... укоризненно качнет головой...

Трудно ли сделать Бога?

Ничуть.

...Матильда вошла первой. Платье звездно-голубого атласа. Старое вино накидки. А лицо другое. Сгинула бывалая одухотворенность, взамен нее — тревога. И еще ожидание. Дочь Гаммельнской Про-

рочицы и Пестрого Флейтиста смотрела *насквозь*, не замечая, как повторенье чуда становится глупым фарсом. Как толпа народу лезет в обмелевшую реку, умываясь песком и делая вид, что песок — это вода.

Девушка молча прошла мимо гильдейцев, исподтишка косящихся вслед. Опустилась на колени возле апсиды, скрывавшей фигурку девочки. Положила у ног цитру. Застыла вторым изваяньем.

Покой напротив тревоги.

Монах моргнул.

Он ошибся. В ложной статуе, погруженной в самодостаточность грез, больше не ощущалось покоя. Тревога сидела напротив тревоги. Обе тревоги ждали.

Впервые упала догадка: страх гильдейцев имеет под собой основания.

— Я хочу знать: что происходит?!

Если с самого начала «следственный опыт» лишь внешне напоминал прошлый Обряд, то сейчас сходство разрушилось окончательно. Гневно хмурясь, Жерар-Хаген прошел на середину базилики. Чувствовалось: граф на пороге ярости.

— Что за глумленье, будьте вы прокляты?! Зачем здесь эта девка?!

— Еще слово, и я убью тебя, — отозвалась дверь.

В проеме стоял Витольд. Обнаженный по пояс. Тени делали лицо, и без того худое, изможденным. Складки в уголках красиво, может быть, слишком красиво очерченного рта. И ночь глубоко запавших глаз. Из глазниц вчерашнего юноши глядел мужчина, готовый защищать и отстаивать.

Тишина.

Две *букашки*, большая и малая, шевельнули усиками.

— Мой сын. — Гордость звучала в голосе Жерара-Хагена. Гнев угас так же мгновенно, как и

вспыхнул. Осталась только она: гордость. — Мой. Мой... Наша кровь. Я тоже, в его годы...

Легким кивком граф указал на Жюстину, переставшую плакать. Так показывают на разрушенный дом: воспоминание, больше не пригодное для жизни. Бледность залила лицо женщины. Она узнала. Ноги отказались держать грузное тело, Жюстина повисла на руках двоих ближайших Душегубов. Но граф уже не смотрел на постаревшую любовницу. Руины не заслуживают внимания. Прошлому место в склепе. В ларце-реликварии. А будущее — вот оно. Сын. Мой сын. Мой...

Настоящий.

Лестница к трону.

— Ваша светлость! — Ректор Совета быстро просеменил к графу. Зашептал на ухо, брызжа слюной: — ...молю понять!... необычность Обряда... э-э-э... учитывая происхождение вашего.... Не считите дерзостью... э-э-э... особый, особый случай!

Жерар-Хаген, равнодушный к объяснениям, шагнул прочь. У колонны остановился:

— Делайте, как знаете.

В последний раз глянув на отца, Витольд прошел к алтарю.

Сел на пол.

Расстояние между ним и Матильдой вдруг показалось презренным. Ничтожным. Несуществующим.словно двое, разведи их хоть на разные концы света, всегда были рядом. «Тело и душа». Монах почувствовал, как в сердце разгорается огонь. Накаляется тигель. Плавится золото. Господи, почему мы умеем любить и убивать?! Почему не только — любить?! Почему ты изгнал нас из рая за различенье добра и зла, если мы их не различаем?!

Молчишь?

Солнце пятнало стены базилики веселой мозаикой лучей.

Душегуб задерживался.

Это могло показаться смешным. Обряд-фарс, дурацкая игра! К тому же вокруг полно гильдейцев, способных с успехом заменить мастера Филиппа. Но дотошный кармелит настоял на максимально точном воспроизведении. И вот — Душегуб задерживается. Время тянулось струйкой слюны из собачьей пасти. Тишина звенела от напряжения: рой голодного комарья, пыльная радуга меж колонн. Лишь кто-то из Душегубов отчаянно сопел в боковом нефе. Рядом вздыхал, потея, мастер Энгельберт.

Все так же.

Все иначе.

Над действием витал дух врача Бурзоя, лазутчика-самоубийцы, — и дерзкого опыта, совершенного Змеиным Царем восемь веков назад. Немым свидетелем дремала в апсиде девочка, превращенная отцом из ребенка в божество.

Душегуб задерживался. Куда дольше, чем в прошлый раз. Едва слышные вздохи, шушуканье. Еще минута-другая — и...

Дверь открылась. Скрип лопнувшей струной резанул по ушам: мертвая память о «*Lamento di Tristano*». Мастер Филипп (...*епископ поднял корону над головой короля...*) шел, с трудом переставляя ноги. Дряхлый старец. Смертельно уставший от жизни. Человек, раздавленный Вавилонским Столпом, нес перед собой ларец, обтянутый пергаментом с росписью. Фратер Августин едва удержался от совершенно неуместного хохота: монах знал, что в ларце.

И все это знали.

...Ничего!

Величественный спектакль близился к провалу. Гнилая брюква, летящая из зала. Свист. Публика

требуется вернуть деньги. Гонорий, хитроумный декан, что ты надеешься здесь высмотреть?! Чем испуганы вы, Душегубы? — соль земли, переводчики через дорогу... Было плохо видно, что творится в нефах, но облик стоявшего рядом мастера Энгельберта говорил сам за себя. Нет, не возможная расправа со стороны двух рыцарей страшила Совет. Крылось в этом страхе нечто запредельное, недоступное обычному человеку.

«У вас нет будущего!» — монах содрогнулся, услышав шепот Матильды.

Ф-фу, почудилось...

Шелест раздвигаемой ширмы. От мастера Филиппа кисло разит ужасом. Но он старается. Держится. По-старчески шаркая ногами, делает еще два шага. Ставит пустой ларец на (...хриплый клетот умирающего: воздуха мне, воздуха!..) подставку из камня. Дрожащие пальцы касаются ларца, и крышка открывается, являя взору бархатное нутро, где...

Пустое ложе.

Чернота вечной ночи — вместо скорлупы-голема,местилища для благородного металла души. Бездушный оттиск, издевательский намек на форму, которую никто не собирается наполнять содержанием. Не с этого ли ты начинал, великий безумец Бурзой, когда тонкий, но мертвый ритуал раз за разом отказывался давать результат? Раб безумия, ты создал божество, опору для чуда, способ вдохнуть душу в слепую потеху — но время платить по счетам. Время возвращаться вспять. Вот он, насквозь фальшивый Обряд, глумление над тем, ради чего без усталости трудились поколения гильдейцев! Марионетка, которую дергают за ниточки, пытаюсь выдать ее за живого человека! Смотри, Змеинный Царь! Смотри — и не говори, что не видел. Это представление — для тебя. Для нас с тобой. Давай же смотреть вместе — быть может, сумеем углядеть

ошибку, промах, упущение, чей призрак не дает тебе покоя и после смерти?

Давай идти вместе!

— Скиталась осень в слепом тумане —
Дождь, и град, и пуста сума...
Тропа вильнет, а судьба обманет —
Ах, в пути не сойти б с ума!..

Мейстер Энгельберт, дрожа, смотрел на цистерцианца, поющего песню бродяг.

Ректор не слышал, как пришел ответ:

«Хорошо. Давай вместе».

Тень мертвого врача встала рядом с живым монахом — а выхолощенное, насквозь искусственное действо, провал которого был для собравшихся делом решенным, шло своим чередом. Призрак глиняного голема в руках Филиппа ван Асхе. Струйка несуществующего золота ныряет в отверстие на темени. Ложь! обман, наваждение!.. Но отчего пляшут губы мейстера? Неужели он не в силах провести ложный Обряд?! Рука в небесах вне различенья лжи и правды. Даже заведомая фальшь оборачивается для чуда истиной. Нет плотского воплощения? — возникнет призрак. Поводырь, ведущий из небытия другие призраки.

Для чуда провал спектакля равен триумфу.

Так дитя укладывает спать куклу, не задумываясь: нужен ли сон тряпью и двум бусинам?!

Мейстер Филипп высоко поднял над головой пустоту, зажатую между побелевшими пальцами. Почудилось: Душегуб действительно держит фигурку с золотой сердцевинкой. Навстречу плеснули струны цитры. Матильда Швебиш еще только поднималась с колен, еще только брала в руки инструмент, и складки ее платья не успели опасть, шурша, чтобы лечь облаками звездного света, — а чарующий напев уже заполнил базилику.

Пыль замерла в лучах солнца.

Мгновение?

Вечность.

Они смотрели глаза в глаза: пророчица и... мертвый врач? Пророчица и... монах? Ясновидящая и... кто? Кто он сам? Отчего он помнит то, чего не должен помнить отец-квестарь из обители, каких двенадцать на дюжину, в миру идальго Мануэль де ла Ита, фармацевт и отравитель... Кто он? Кем был раньше? Кто сейчас? О Боже, мы так похожи... мы *слишком* похожи, это не может быть простым совпадением, не может... Девочка моя! Дым ядовитых дров в камине. Лицо Фернандо Кастильса... лицо кармелита... Цель оправдывает средства. Цель — умелый адвокат, за хорошие деньги сука-цель оправдывает кого угодно!..

Блудница Вавилонская!

Они открылись навстречу. Монах и врач, врач и монах, двое, ставшие одним, тень, обретающая плоть, и плоть, отступающая в тень. *Psyche* и *physis*, две руки, окаменевшие в рукопожатии через века, языки чело­веков, слитые в горниле праречи, — и Матильда Швебиш, читавшая сейчас душу Бурзоя (...Августина?!), как открытую книгу.

Творилось чудо. Новое. Небывалое. Призраки обретали плоть. И виденья Глазуньи открывались людям в богадельне.

Секунда, растянувшаяся на восемь веков.

Девочка на берегу моря.

Девочка во внутреннем дворике. Тонкие губы змеятся полуулыбкой. Взгляд судьбы. Покой и безмятежность. Первая могила в скалах. Вторая. Отец, сидящий у изголовья третьей, последней дочери. Тихо журчит музыка нечеловеческого языка. «Панчатантра». Часть пятая, заключительная: «Безрас­судные поступки». Басни про слонов и леопардов. Быков и щеглов. В конце каждой — мораль. Про-

стая, понятная. Камень для фундамента. Опора.
Вывод. Выход. Однозначность.

Обреченность на победу.

И наконец — безуспешная попытка коснуться
собственного ребенка, которого уже не было здесь...

— Время —
С кем тебя только не сравнивали!
Время —
Может быть, Хронос и вправду велик?!
Время —
Что для тебя люди, боги, миры?
Вредно
Знать до начала исходы игры.

Всю эту секунду по воздуху плыл, нелепо кувыркаясь, призрак глиняного голема с сердцевиной из золота. А потом вечность оборвалась криком чаек. Эхом — потрясенный вздох. Качнулись статуи святых в нефах, поражены увиденным. Что ж вы раньше молчали, праведники?

...Кукла!.. хочу!..

Сугроб у алтаря взорвался черным вихрем. Ключьями тьмы отлетел прочь тяжкий плащ. И два взгляда — Матильды и Витольда — сошлись единым копьем, ударив в мертвого врача!

«Это же были дети! Твои дети!»

Никто — даже рыцари — не смог уловить тот миг, когда юноша оказался рядом с девушкой.

— Время —
В вечном параде шагают века.
Бренность —
Не оправдание для слизняка.
Время
Экклезиаста в руинах утрат.
Вредно
Камни разбрасывать и собирать.

Двое смотрели на сидящую в апсиде девочку. У девочки дрожали веки. Сейчас она откроет глаза... Стены базилики становились прозрачными. Хрусталь змеился бесчисленными трещинками; в воздухе висел легкий и чистый звон. Рука Матильды оза-

рилась сиянием, налилась маслянистой желтизной благородного металла. И вот уже на ладони лежит фигурка, которой не должно, не могло быть в этом фальшивом Обряде.

...Кукла!.. хочу...

— Возьми, — сказал Витольд. — Возьми, пожалуйста...

Звения, рухнули стены. Вокруг было море. Море и солнце. В его лучах морская даль горела золотом. Повсюду открывались двери, порталы без числа; из них текли струи, ручьи, реки золота, вливаясь в море, — а на горизонте плавился, оседая под собственной тяжестью, Вавилонский Столп.

«Благодарю Тебя, Господи!..»

Фратер Августин улыбался, отстраненно наблюдая, как осыпается с холста старая краска.

PRELUDIUM

I

— Так вот, неужели только за поэтами надо смотреть и обязывать их либо воплощать в своих творениях нравственные образы, либо уж совсем отказаться у нас от творчества?! Разве не надо смотреть и за остальными мастерами?..

Платон. «Государство».



оре на закате было золотым.

И золотом отливал яд в чаше.

Врач Бурзой подошел к обрыву. Трава наивно путалась в ногах, желая остановиться. Глупая. Сегодня особенный вечер.

Если долго, не мигая, до рези под веками, смотреть вдаль, вскоре увидишь: да, особенный. Больше такого не будет. Просто надо смотреть. Сначала в глазах начнет роиться мошкара, легонько кусаясь. Потом, весь в слезах, рой собьется единым комом, взметнет черный смерч — и ты ослепнешь. От величия увиденного. Иногда надо сперва ослепнуть, чтобы наконец увидеть.

Столп.

Будущий Вавилонский Столп, от земли до неба.

Иногда надо умереть, чтобы ожить.

За спиной молчала *богадельня*. Там, в тишине базилики, сидела девочка на звездных облаках. Счастливая девочка. Спокойная. Безразличная к суете. Последняя дочь; первая и единственная рука в небе. Бурзой улыбнулся. Он мог себе это позволить. Сейчас у врача-лазутчика имелось много улыбок: про запас. Разных, удобных. Всяких. Но Змеиный Царь решил перед смертью улыбнуться неправильно. Так, как он улыбался жене задолго до вызова к Ануширвану Хосрою и отъезда в Индию.

В последний раз.



Пусть.

Он сделал, что мог. Что требовалось сделать. У чуда отныне есть поддержка. Теперь Обряды перестанут быть пустой шуткой. Душа и тело, *psyche* и *physis*, вечные супруги-антагонисты, — отныне они станут подвластны ланцету хирурга, лезвию праязыка. Глупцы! — вы, кто лечил тело отдельно, спасал душу отдельно... Нет ничего отдельного. Вавилонскому Столпу — быть.

Переводчик и поводырь — одного корня.

Чаша удобно легла в ладонь.

Гайо-маретан, «Смертная жизнь». Лучшая отрава из существующих. Смерть от нее легка и воздушна, будто поцелуй невесты. Ты даже не заметишь, как обрыв шагнет навстречу. Внизу — море. Оно возьмет тебя, оплетет бусами водорослей, омоет и оплачет. Пора уходить. Фундамент не должен быть виден. Пора уходить.

Издалека, смутным напевом, донеслось:

— ...я обещаю вам столбы,
Несокрушимые колонны —
Надежный выбор Вавилона,
Защиту слабых миллионов
От равнодушия судьбы...

«Что я сделал неправильно? — думал Змеиный Царь, медленно поднося чашу к губам. Не из страха. Нет. Он медлил, пытаясь понять и зная, что понять не успеет. — Что? Лучше бы она плакала. Страдания понятны. Естественны. Страдания в основе — это обычно. Раствор замешивают на крови и слезах. Но ее лицо... ее счастливое лицо!.. Что я сделал неправильно?!»

Яд в чаше отливал золотом.

Словно чья-то душа.

— Папа!

Чаша дрогнула. Золотая капля, уже добравшись до края, сорвалась. Драгоценностью упала в траву. Едва не рухнув с обрыва, Бурзой пошатнулся. На миг

показалось: море, небо, скалы, песок — все стало плоским и слегка мятым, будто холст. На котором опытная ткачиха только собирается вы ткать города и башни, лица и тела, время и пространство. Орнамент судьбы. Холст ждал, а игла медлила.

— ...да папа же!..

Он обернулся. Даже не заметив, что чаша выскользнула из пальцев. Море, смеясь, приняло ядовитый дар: гайо-марэтан, «Смертная жизнь», и соленая купель, безразличная к любой отраве, кроме времени. А врач, лазутчик, переводчик, Змеиный Царь, основатель Гильдии, у которой нет будущего, — все они, слившись в одном, как языки человека сливаются в праязыке, смотрели вниз. На тропинку, по которой бежала девочка.

И вечер стелил под ноги звездные облака.

— Папа! Кукла!

Дрогнул Столп Вавилонский. Умылся в крови заката.

— Смотри!

Чувствуя, что сходит с ума, Бурзой присел на корточки. Девочка с разбега налетела на отца, едва не опрокинув. Перед самым лицом возникла кукла: золотая статуэтка, изображавшая юношу в странной одежде. Юноша слегка напоминал кузнечика: сухой, угловатый. Бурзой смотрел, не моргая, и рой мошкары клубился под веками.

Обломки.

Осколки.

Слезы.

— Это дядя! Он едет на лошадке!

Девочка подхватила с земли продолговатый камешек. Примостила юношу сверху.

— Он едет! Скок-скок!.. вот: годик, два, три...

— Так не ездят, — сказал Бурзой. — Дороги не меряют годами.

— Какой ты глупый, папа! Ты просто ничего не

понимаешь. А мой дядя едет так. Годик, десять... сто... вон башенки... город...

И Бурзой увидел. Год, два. Десять. Сто.

Восемь раз по сто.

Город. Башни.

Пылит дорога под копытами: год, два...

— Дядя едет! Дядя едет! Папа, а когда поедем мы? Домой?!

— Завтра, — ответил Змеинный Царь. — С утра. Хорошо?

— Хорошо, — согласилась последняя дочь. — Я очень устала, папа. Звезды такие колючие...

II

— Разве можем мы так легко допустить, чтобы дети слушали и воспринимали душой какие попало мифы, выдуманные кем попало и большей частью противоречащие тем мнениям, которые, как мы считаем, должны быть у них, когда они повзрослеют?

— Мы этого ни в коем случае не допустим.

— Прежде всего нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов: если их произведение хорошо, мы допустим его, если же нет — отвергнем...

Платон. «Государство».

...пылит дорога под копытами коней.

Отряд въезжает в город.

Здравствуй, Хенинг. Герцог возвращается из похода во главе изрядно поредевшего воинства. Едва ли половина рыцарей уцелела. Но — победа. Границы остались нерушимы, а маркграфу Майнцскому пришлось выплатить изрядную контрибуцию и подписать мирный договор на едва ли не вассальных условиях. Торжествующее солнце встречает государя. Радостно сияет начищенное до блеска зеркало доспеха. Зайчики опасно скользят по рукояти фа-

мильного меча, по тяжкому яблоку наверхия. Дедовский клинок не подвел и на этот раз. Сейчас — на площадь. Дать толпе захлебнуться волной ликования. Сегодня у людей праздник. Пусть все будет, как заведено. А потом — в замок? к законной супруге?! Нет. Сперва к ней. К той, что ждет в доме на окраине, к той, которая однажды и навсегда властно вошла в его жизнь. Похитив сердце, забрав душу. Он не жалеет о случившемся. Никогда не жалел.

Никогда не пожалеет.

Витольд Бастард, XX герцог Хенингский, позволил себе улыбнуться краешком рта.

Чернь удивляется. Двор пожимает плечами. Сплетничая втихомолку. Кругом столько юных красавиц, готовых согреть ложе государя. Они и согревают: временами. Супруга не ревнует — эти мимолетные фаворитки не больше, чем бабочки-однодневки. Утеха плоти. Как не ревнует супруга и к пожилой женщине из дома на окраине. К толстой, некрасивой горожанке, которую народ вполголоса именует Хенингской Пророчицей. Разве можно ревновать к ней? Разве это не смешно?!

Витольд Бастард знает: не смешно.

А законная супруга иногда ночами плачет в подушку.

Они все не могут понять. Не смогут. Никогда. Потому что есть только один человек на свете, только одни руки, способные баюкать душу сурового герцога, как дитя баюкает заветную куклу. Правда, Матильда? Мы ведь оба знаем: пока ты жива, я бессмертен. Еще лучше это знают враги, когда в страхе бегут от «Хенингца-Саранчи», когда древний меч пляшет в руке, а смерть обходит воина стороной, стыдливо пряча косу за спину. Я бессмертен и неуязвим, потому что моя душа — в твоих руках. Однажды ты умрешь, Тильда. Думаю, скоро. Тогда умру и я. Тело мое еще поживет, еще отмерит пригоршню лет, но я никогда не назову эти годы —

жизнью. Так, существование. Ты подожди меня там, ладно? Не заходи в ворота рая, мимо строгого привратника с ключами. Подожди. Посиди на обочине, поскучай. Рядом с душой Витки из Запруд, в ожидании Витольда Бастарда.

Улыбка долго не гаснет на каменном лице государя.

Цветок на скале.

Булыжник площади Трех Гульденов притворяется колокольной. Звенит от цокота подков. В ответ плывет над городом звон настоящих колоколов. У ратуши стоит крытый возок: это приехал отец Августин, приор цистерцианской обители. Попечитель городской богадельни, открытой его стараниями вместо приюта Всех Мучеников, сгоревшего пять лет назад от удара молнии. Хенингцы полагают приора святым. Ожидают его посмертной канонизации. Вряд ли. Ватикан ревнив. Сам отец Августин только смеется, слушая подобные разговоры.

Он очень хорошо смеется, старенький приор.

Старик — как ребенок.

Герцог прищипорил коня, сворачивая к ратуше.

За спиной ликовала толпа. Летели в небо чепцы и шляпы. Сновали карманники: воришкам сегодня раздолье. Заливисто лаяли собаки. А у церкви Фомы-и-Андрея, похожей на застывший полет сокола, стоял известный всему городу сумасшедший.

Сам он звал себя «мейстером Филиппом».

Сумасшедший всегда приходил посмотреть на герцога. Худой, сутулый, он напоминал грача, высматривающего зернышко в борозде. Люди по-доброму относились к бедняге. Подкармливали. Давали монетку-другую. Хозяйки иногда брали постирать одежду. Он был очень чистоплотен, мейстер Филипп. Очень вежлив. Всегда благодарил. Дети тоже любили сумасшедшего. Сбивались в стайки, и он рассказывал им сказки. Про львов и комаров. Про шакалов и ворон. Смешные, страшные... всякие.

Дети воровали для него сладости, которые он не ел. Сразу раздавал. Но даже самый маленький неизменно спрашивал, прежде чем сунуть леденец в рот:

— Мейстер Филипп, вы правда не хотите?

Сумасшедший улыбался в ответ.

Он очень странно улыбался, этот человек.

Всегда по-разному.

Но изредка мейстер Филипп становился совсем другим. Настойчивым. Упрямым. Неотвязным. Он стучался в двери домов, предлагая родителям совершить с их детьми удивительную церемонию. Тыкал в лица големами, которых искусно лепил из глины. Требовал золота: наполнить форму. Он много чего требовал, но его никто не понимал. Тогда сумасшедший садился на землю и плакал. Пальцем чертил в пыли два слова: *psyche* и *physis*. В прошлом году отец Гонорий, заезжий проповедник-кармелит, вознамерился было обвинить беднягу в ереси и кошунстве, доведя дело до костра. В итоге еле ноги унес, ревнитель веры. На защиту безобидного «мейстера» встал весь город, а отец Августин угрозил дойти до канцелярии самого понтифика. Сказано же: хенингцы любили несчастного.

Он никому не сделал зла.

А рассудок... Можно ли зарекаться, что безумие обойдет тебя стороной?

Но каждый раз, когда по площади Трех Гульденов ехал Витольд Бастард, XX герцог Хенингский, мейстер Филипп приходил смотреть. Он стоял у ограды, морщил лоб, и лицо его без улыбки казалось неприлично голым. Сумасшедший пытался вспомнить. Еще миг, и все придет. Само. Тогда разум вернется. Форма наполнится драгоценным металлом, не обжигая рук, уверенных в своей безнаказанности. Еще чуть-чуть... сейчас холст делается выпуклым, картина оживет!.. осыпь красок взметнется смерчем, возвращаясь (...пурпур! зелень! лазурь!..) на прежнее место.

Нет.

Герцог проезжал мимо, и все.

К ночи народ, устав гулять, расходился по домам. А сумасшедший оставался возле церкви. Сидел на паперти. Молчал. Иногда насвистывал. Над головой его сияли кресты купола, соперничая со звездами. С колючими, безразличными звездами, не желавшими складываться в облака. И птицы слетали вниз, без страха садясь на плечи человека. Бродячие псы стайкой бродили поодаль. Крысы высывали из щелей острые мордочки.

Но этого уже никто не видел.

Октябрь 2000 — апрель 2001 г.



СОДЕРЖАНИЕ

PRELUDIUM	7
КНИГА ПЕРВАЯ	37
PRELUDIUM	215
КНИГА ВТОРАЯ	215
PRELUDIUM	337
КНИГА ТРЕТЬЯ	355
PRELUDIUM	467

Литературно-художественное издание

Генри Лайон Олди
БОГАДЕЛЬНЯ

Издано в авторской редакции
Художественный редактор *И. Сауков*
Художники *Алгу, А. Семякин* (иллюстрации)
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *Г. Павлова*
Корректор *М. Суховицкая*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать с готовых диапозитивов 21.08.2001.
Формат 84х108 1/32. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 25,2.

Тираж 15 000 экз. Заказ 4102133.

Отпечатано на ФГУИПП «Нижеполиграф».
603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс». Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.
125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3.

Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

Книга — почтой: Книжный клуб «ЭКСМО»
101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru

Оптовая торговля:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1
Тел./факс: (095) 932-74-71

ООО «Медиа группа «ЛОГОС». 103051, Москва, Цветной бульвар, 30, стр. 2
Единая справочная служба: (095) 974-21-31. E-mail: mgl@logosgroup.ru
contact@logosgroup.ru

ООО «КИФ «ДАКС». Губернская книжная ярмарка.
М. о. г. Люберцы, ул. Волковская, 67.
т. 554-51-51 доб. 126, 554-30-02 доб. 126.

Книжный магазин издательства «ЭКСМО»
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»)



Сеть магазинов «Книжный Клуб СНАРК» представляет
самый широкий ассортимент книг издательства «ЭКСМО».
Информация в Санкт-Петербурге по тел. 050.



Всегда в ассортименте новинки издательства «ЭКСМО-Пресс»:

ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия»,
«Московский дом книги», «Дом книги на ВДНХ»

ТОО «Дом книги в Медведково». Тел.: 476-16-90
Москва, Заревый пр-д, д. 12 (рядом с м. «Медведково»)

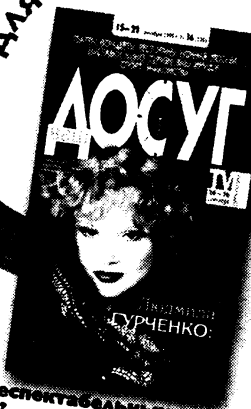
ООО «Фирма «Книинком». Тел.: 177-19-86
Москва, Волгоградский пр-т, д. 78/1 (рядом с м. «Кузьминки»)

ООО «ПРЕСБУРГ», «Магазин на Ладожской», Тел.: 267-03-01(02)
Москва, ул. Ладожская, д. 8 (рядом с м. «Бауманская»)

**ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ
об отдыхе
для всех!**

**СПРАВОЧНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК**

Ваш ДОСУГ



Ищите
справочно-информационный
еженедельник «Ваш досуг»
в газетных киосках каждую среду!
А для самых экономных - подписка!
Подписной индекс в каталоге
«Роспечать» 32855.

Предложения
по сотрудничеству принимаются
по тел. 911-20-08, ф. 911-72-17

• А для уважаемых мужчин и очаровательных дам есть?
Есть! Лучшие рестораны для деловых и романтических встреч (с детальным обсуждением меню от «Вашего досуга»), модные салоны красоты, косметологические и оздоровительные центры, школы танцев.

• А для подрастающего поколения есть?
Тем более есть! Для крутых тинейджеров - все новости аудио- и видеоряда, дискотеки и клубы.

Для остальных - детские спектакли и выставки, цирки и зверинцы, кружки и секции, игры и развлечения, книги и фильмы.

• А для русских интеллигентов?

Вне сомнения! Подробные афиши театров, концертных залов, описание музейных экспозиций, выставок и художественных галерей. Клубы авторской песни, народного творчества, чайной культуры, любителей чтения, животных и растений.

• А для любителей погорячее?

Нет проблем! Ночные клубы, казино, стриптиз, сауны, пип-шоу, пэйнтбол. А разогреться для начала можно на теннисных кортах, в фитнес-клубах, бассейнах или на стадионах.

• А для ...ленивых?

Все мы не без греха! Полная программа телевидения обеспечена (с подробными анонсами от «Вашего досуга»). Плюс игры на диване: кроссворды, ребусы, гороскопы, викторины, тесты.

• А для экономных?

И для них есть! В каждом номере «Вашего досуга» - купоны со скидкой до 50% на посещение лучших кинотеатров, ресторанов, клубов, казино, салонов красоты.

**Наш подписной
индекс — 34296**



ТОЛЬКО В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ:

Детектив-задача.

Прочтите, угадайте преступника, позвоните в редакцию, получите призы

А еще:

Новости литературы, кино, театра, музыки.

А также:

Мемуары звезд до того, как они выйдут отдельной книгой
Скандалы, тайны, сенсации прошлых лет
История знаменитых изобретений от бритвы до бутерброда

Кроме того:

Кроссворды, сканворды, неглупые игры

Любите читать?

Нет времени ходить по магазинам?

Хотите регулярно пополнять домашнюю библиотеку и при этом экономить деньги?

**Тогда каталоги Книжного клуба
“ЭКСМО” – то, что вам нужно!**



Раз в квартал вы БЕСПЛАТНО получаете каталог с более чем 200 новинками нашего издательства!

Вы найдете в нем книги для детей и взрослых: классику, поэзию, детективы, фантастику, сентиментальные романы, сказки, страшилки, обучающую литературу, книги по психологии, оздоровлению, домоводству, кулинарии и многое другое!

Чтобы получить каталог, достаточно прислать нам письмо-заявку по адресу: 101000, Москва, а/я 333.

Телефон “горячей линии” (095) 232-0018

Адрес в Интернете: <http://www.eksmo.ru>

E-mail: bookclub@eksmo.ru



ISBN 5-04-008457-9



9 785040 084579 >